Анна Бердичевская

МОЛЁНОЕ ДИТЯТКО

Лауреат международной литературной премии
имени И. Бабеля

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Когда ее арестовали, она только что забеременела. Доктор в тюрьме сказал, что поможет избавиться от ребенка: «Вы же политическая — дадут не меньше восьми лет. Когда дитятке исполнится два года — отнимут. Каково ему будет в детских домах?» Мать лишь рассмеялась в ответ. Спустя годы, полные лишений, скорби и морока, она в очередной раз спасла дочь от смерти. Видимо, благородство, закаленное в испытаниях, превращает человека в ангела. Ангела-хранителя. Рассказы, вошедшие в книгу «Молёное дитятко», писались в разные годы. Читатель будет двигаться по книге, как по шкале времени: от середины двадцатого века к году 2017-му. Эта хроника перемен, данная в лицах и судьбах, исполнена немногословно, точно и поэтично.

- Анна Бердичевская
  -
  - От автора
  - I. Якубова, на выход!
    - Неучастник
    - Страх. И что-то еще
    - Суд как театр
    - Непроливашка
    - Аккордеон
    - «Красная Москва»
  - II. «Над полями, да над чистыми…»
    - Роза, Яша и Белая Грива
    - Утопленник
    - Молёное дитятко
    - Прощай, оружие!
  - III. Птицы Грузии
    - Черный журавль и перемена жизни
    - Кошка с собакой
    - Не все дома
    - Горячая точка
    - Русский доктор
    - После войны
    - Контрабандный товар
  - IV. Все ли по-новому в новом веке?
    - Соляной столп
    - Красота
    - Дырка в заборе

        - Сарабанда
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11

Анна Бердичевская
Молёное дитятко
(сборник)

© Бердичевская А., текст, 2017
© Резо Габриадзе, иллюстрации, 2017
© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2017

* * *

От автора

Всякая книга — путешествие во времени. В любом романе, повести и рассказе, время независимо от воли автора, непременно становится одним из главных героев. Рассказы, вошедшие в книгу «Молёное дитятко», писались мною в разные времена и о разных временах. Бывало, что время написания совпадало со временем действия, а бывало, что вовсе нет. Собирая рассказы под одну обложку, я решила пометить каждый из них не годом написания, как это, в общем-то, принято, а годом (или годами), в котором происходит действие рассказа. Таким образом, читатель будет двигаться по книге, как по шкале времени, от середины двадцатого века к году 2017-му. К чему это приведет — затрудняюсь сказать. Во всяком случае надеюсь, что я, а вслед за мной читатель, вместе проживем некоторую жизнь. И вместе избежим путаницы в реалиях и контекстах, ведь дата нередко говорит сама за себя, особенно в такой стране, как Россия. У нас что ни пятилетка, что ни генсек или президент — новая эпоха, со своими, и очень противоречивыми, приметами… Были трудодни — нет трудодней, был ГУЛАГ — забыли, была перестройка — стала перестрелка, был Союз нерушимый — и где он… ну и так далее. Попробуй, попрыгай по таким кочкам! А напишешь под названием рассказа дату времени действия — и сразу понятно, на каком ты свете окажешься…

Итак, отправляю вас по следам моих героев, людей незнаменитых, далеких и от власти, и от денег, из года 1945-го (когда еще и меня не было) в год 2017-й, где я еще присутствую.

Счастливого пути!

Анна Бердичевская

I. Якубова, на выход!

Неучастник (1945)

Этого города на свете нет, но он был, и достаточно долго, чтобы попасть на розовые карты страны. Розовый — цвет Родины. Четыре черные буквы по розовому — С.С.С.Р. — они до сих пор намертво впаяны в глаза и уши миллионов людей. Державу помнят.

О городе Молотове давно не вспоминают.

Но он важен для меня, его название волнует мое сердце.

У этого города были свои обычаи, свой облик. И свои обитатели. Моя мать. Мой отец. И человек, который вполне мог стать моим отцом. Именно о нем, о человеке, чью фамилию могла бы носить, я вспоминаю чаще, чем об отце. И, честно сказать, когда-то жалела, что я не его дочь. Не так уж очень жалела… и все же.

Юрий Якубов женился на моей маме в городе Молотове, и было это в самом-самом конце Отечественной войны. В победоносную пору. Очень, впрочем, голодную. И вдвойне опасную, потому что в это время, по случаю побед на фронте, в тылу опять обострилась классовая борьба. Потому что усатый в Кремле задумался… Как все упыри он спал днем и бодрствовал ночью. А ночь — время тревожное, время опасений, страхов и мрачных прозрений. В начале войны обратился к соотечественникам: «Братья и сестры!» Нашел слова. А в конце войны стал этих сестер и братьев подозревать. Он о них задумался…

Мама работала в месте, как и положено, голодном. Но теплом. В мастерской по набивке тканей, разместившейся в большой и светлой комнате на четвертом этаже центрального универмага города Молотова. Сюда приходили дефицитные шерстяные ткани — драп и сукно. Их не отправляли со склада прямо на продажу, а разрезали на покрывала и платки, чтоб в мастерской «набивать» на них узоры масляными красками. Моя мама как раз и разрабатывала эти узоры, затем вырезала из ватмана бритвенными лезвиями сложные, трехслойные трафареты, затем пропитывала их олифой и раскладывала сушить. Затем шестнадцать женщин наносили с помощью трафаретов узоры на отрезы. Набивку делали тампонами из шерстяных обрезков и просто зубными щетками.

И все ради, как говорили, «добавочной стоимости Карла Маркса». Как глубоко, однако, проник «Капитал» в суть советской

торговли… Конечно, покупателям в универмаге нужны были не покрывала в цветочек, а теплые шерстяные костюмы, платья, пальто. Но продукцию мастерской тем не менее хорошо раскупали. Чтобы отнести домой и с помощью скипидара смыть узоры, а затем уже пошить (как тогда говорили), что требуется. Без узоров.

Так вот, производилась эта не слишком необходимая красота в райке, где вокруг царствующей посереди комнаты чугунной печки текла теплая бабья жизнь. Оказывается, и к войне можно привыкнуть. В мастерской работали эвакуированные, они постепенно отогрелись, стряхнули свои страшные воспоминания, повеселели, похорошели, стали песни петь и выпекать блинчики из мороженой картошки прямо на чугунной плите. Запах этих блинчиков — драников — волновал персонал универмага, да и покупателей… Их запретили. Но песни — украинские, молдавские, еврейские, литовские, белорусские и общие советские — запрещать не стали.

На эти песни и на морковный чай, завариваемый прямо в огромном медном чайнике, всегда стоящем на плите, стал захаживать (и все чаще) Юрий Федорович Якубов, человек обаятельный и никчемный… Правда, он знал тьму языков, а их ведь надо выучить, а потом не забыть. Но в розовой державе нашей знание языков было делом именно никчемным и даже опасным.

Впрочем, его знание языков, в том числе и древних, в глаза не бросалось. Никто в мастерской и не догадывался об этом, пока к одной из девушек-художниц не пришел папаша, эвакуированный из блокадного Ленинграда доходяга-дистрофик. Папа этот был знаменитым лингвистом, профессором Розенталем, брюзгой и ипохондриком, страдавшим более всего от скудости молотовских библиотек и от недостатка высоконаучного общения. Он и обронил фразу, что единственный собеседник у него в этом дремучем городе — Юрочка Якубов: то на фарси с ним перебросишься, то Катулла вспомнишь.

Якубов массу всего бесполезного знал. Человечного, забавного, живого… И сорил этими знаниями направо и налево. Сыпал — просто так. Иногда его остроумие носило деятельный и не совсем безобидный характер. Однажды он никого не застал в мастерской — всех мастериц отозвали к начальству на «пятиминутку». Этой самой пятиминутки Якубову вполне хватило. Когда случались перебои с тканями, художницы писали маслом всякие пейзажики на грунтованных картонах. На этот раз на мольберте стоял еще мокрый пейзаж с печальным прудом, заросшим кувшинками. Юрий Федорович вооружился лежавшей

тут же палитрой и в манере, далекой от передвижников, изобразил возле прудика колышек с плакатом, на котором написал:

Здесь утопилась Лиза,
Эрастова невеста.
Топитесь, девушки,
В пруду довольно места.

Написал стишок и ушел, очень довольный собой.

Говорят, он вообще писал стихи и прозу… Но где они, груды его рукописей?.. Он никогда не пробовал хоть что-нибудь напечатать в газетах, а в Молотовское книжное издательство заходил исключительно поболтать.

То немногое, что он читал немногим своим слушателям, говорят, было гениально. Говорят, он перевел всего Алишера Навои. Говорят, он был болен туберкулезом и практически вылечился, съев 14 собак. Говорят, он был конченый алкоголик и морфинист. И нередко лежал в психушке…

Его любили. Самые разные люди, женщины тоже. Детей, говорят, у него не было, не заводились как-то…

Говорят, говорят, говорят… Давным-давно уже и не говорит никто. Последний из тех, кто его помнил, любил и почитал за гения, — поэт Борис Ширшов, умер лет за пятнадцать до конца двадцатого века. А вот уже и двадцать первый…

Кроме обрывков всяческих и, прежде всего, маминых устных воспоминаний, мне помнится еще одно свидетельство о Якубове, впрочем, тоже обрывок. В нашем семейном альбоме хранилась его фотография — хорошая, очень качественная фотография на толстом-претолстом куске коричневатого картона, разорванного нечеловечески сильными пальцами. Как вспоминала мама, сделал это сам Якубов в приступе гнева на себя самого. Он был силен, как бывают сильны сумасшедшие, на портрете оторвал ухо с прилегающей скулой. Но светлые глаза за круглыми очками, как бы светящийся лоб прекрасной формы, большой язвительно ухмылявшийся рот — остались. Мне на память. Мне бы хотелось, чтобы у меня были его глаза и его язвительный рот… Да и мама почему-то не выбросила же единственное и покалеченное фото этого человека, с маниакальным упорством выбравшего ее для законного брака.

Поженились они так.

Якубов ходил и ходил в мастерскую. Объявил себя, между прочим, магистром международного ордена хиромантов и графологов, с центром почему-то в городе Бухаресте, и гадал

девушкам по руке. Как-то и мама моя подошла к нему со своей раскрытой левой ладошкой. Якубов взял ее руку, долго молчал, потом вскинул на маму проницательный взгляд и сказал:

— А вам, девушка, суждено выйти замуж. За меня.

Маме было за тридцать, у нее рос сын — мой старший брат Виктор, и она твердо знала про себя, что уже никогда не выйдет замуж. Потому хотя бы, что она очень любила погибшего Витиного отца. Конечно, Юрий Якубов ей нравился. Он всем нравился. Она его даже любила. Его многие любили. Он волновал ее воображение, он был единственный на весь город Молотов по-настоящему свободный человек, полный всевозможных и невероятных достоинств и недостатков. Но не замуж же выходить за такого! Да, сердце бойко подпрыгивало в груди, когда он, тощий, высокий и сутулый, с запрокинутой головой, с шарфом, похожим на веревку, закрученным вокруг шеи, в элегантном и старом как мир френче, сверкнув маленькими круглыми очками, появлялся на пороге их мастерской. Ну и что? Главным в маминой жизни был Долг — перед Витькой, перед памятью его отца, перед воюющей родиной, перед моей бабкой, разрывавшейся между двумя безмужними дочерьми и тремя внуками. Да и просто долги — не с большой буквы, обыкновенные — не отпускали ее. За квартиру, за хлебные карточки, за испорченный драп в мастерской…

Нет, я не думаю, что в те годы мама моя выглядела измученной, сломленной и так далее. Черта с два. Сколько я ее помню, она была всегда на голову выше тех обстоятельств, тех бушующих мрачных волн, в которых барахтался мир. Мир был тяжек, а мама — легка. И не то чтоб она была очень красива по меркам того века, который ей достался. Но, очевидно, Юрий Федорович Якубов знал толк в красавицах иных веков. Она была для него «девочкой от Боттичелли».

Несколько месяцев Якубов приходил в мастерскую почти ежедневно, изредка напоминая о своем непреклонном намерении жениться. Но однажды весной, в одну из первых оттепелей Юрий Федорович Якубов явился с ультиматумом: немедленно в ЗАГС. Оказывается, еще загодя он подал заявление от имени обоих брачующихся, для чего выкрал на время паспорт «невесты» и подделал ее подпись на заявлении. И вот испытательный срок истек, настала пора «расписываться».

Мама была возмущена до глубины души. И сказала: никогда!

Весь коллектив мастерской принял самое горячее участие в судьбе жениха и невесты. Все осуждали Якубова, и восхищались им, и снова осуждали. И поили чаем. И с любопытством смотрели

на маму. Юрий Федорович, сняв свой драный солдатский полушубок, сначала мирно пил морковный чай и весьма бойко препирался с мамой, приводя доводы в пользу брака как такового и особенно — с ним. Во-первых, пора менять фамилию. То, что она на «Я», будет очень полезно молодой жене и особенно детям: их будут вызывать к доске в последнюю очередь. Классы нынче большие, может, и вовсе не успеют ни разу вызвать…

Мама не сдавалась. Тогда Якубов стал буянить: скинул с верстаков все отрезы, порвал несколько старых трафаретов и, наконец, решил увести маму силой. Он схватил ее за испачканную масляной краской руку и поволок к двери. Тут уж весь женский коллектив возмутился всерьез и стал маму решительно не отдавать. Дело принимало опасный для хрупких маминых косточек оборот. И первым, надо признаться, это почувствовал буйный жених. Он внезапно отпустил руку, в результате чего весь женский батальон повалился на заляпанный красками и олифой пол, а Якубов предпринял неожиданный маневр. По случаю оттепели в мастерской была вскрыта дверь на ветхий балкон. Вот туда и устремился Юрий Федорович, вопя при этом: «Ах, вы так! Ах, значит, бунтовать! Я вам покажу бунтовать!» Как был — в кепке, в очках и длинном шарфе на жилистой шее, в белой мятой рубахе, надетой по случаю торжественного акта, — Якубов перелез через ржавые перила балкона и повис на четырехэтажной высоте, болтая длинными ногами и нагло улыбаясь. Английская кепка сорвалась с головы и полетела вниз, обозначая ужасный путь, предназначенный тощему телу Юрия Федоровича.

— Ну что, идем в ЗАГС? Идем или нет?.. — спрашивал он. — Считаю до трех!

И стал считать:

— Раз!..

Сразу несколько женских рук вцепились в ворот рубахи, в шарф-веревку, и даже в волосы бедного Якубова. Он заорал. А балкон дрогнул и издал отвратительный, предательский скрежет.

— Все назад! — скомандовала самая разумная из мастериц по набивке тканей.

Ее послушались. Почувствовав свободу, Якубов отпустил одну руку, посмотрел вниз, в глубину двора, заваленного замерзшими глыбами угля. Увидел там кепку. И снова отыскал взглядом маму. Глаза его светились детским любопытством.

— Два!.. — продолжил он отсчет последних секунд своей странной жизни.

И мама сдалась.

— Вылезайте, — сказала она. — Я согласна.

У большинства наблюдавших эту сцену возникли сомнения, вылезет ли туберкулезник Якубов без посторонней помощи. Но он, как гуттаперчевый мальчик, легко подтянулся и упруго перемахнул через ржавые перила. Десять минут спустя весь коллектив мастерской сел в трамвай и поехал в ЗАГС.

«Съезжалися к ЗАГСу трамваи…» Возможно, песня эта родилась в городе Молотове, потому что самый знаменитый городской ЗАГС именно так, в трамвайном режиме, и существовал. На трамвае приезжали сюда женихи и невесты вместе со свидетелями и гостями. ЗАГС стоял на конечной остановке под большой горой, практически — курганом, засаженным скучными одинаковыми тополями. На вершину вела лестница в 279 ступеней, сосчитанных всеми пионерами округи и многими женихами с невестами. Они поднимались туда, чтоб приносить пионерские и новобрачные клятвы главной реликвии города Молотова. Не трудно (хотя и не просто) догадаться, что это был гигантский и прославленный в местном фольклоре паровой молот. Именно не изображение, не статуя, не муляж, а попросту сам отслуживший заводской молот. Дело в том, что прямо за курганом на многие километры простирался крупнейший в СССР, а может, и в Европе, пушечно-танковый завод, на нем работала половина горожан, а в начале войны и моя мама. Этот завод был смыслом жизни города. И хотя свое новое имя Молотов получил по указу усатого вовсе не из-за парового молота, изобретенного и построенного заводом для самого себя в конце девятнадцатого века, все равно название удалось: оно рифмовалось с исторической правдой. Город Молотов, потому что Молот Молотович Молотов — самый большой из первых в Европе и даже в мире. Горожане были довольны.

Во время войны очереди в ЗАГС не было, отсутствие цветов и шампанского странным также не выглядело. Десять минут потребовалось, чтобы моя мама стала гражданкой Якубовой. Все мастерицы по набивке тканей снова сели в трамвай и в праздничном настроении поехали на работу. Мама с ними. А новобрачный Якубов в трамвай не сел, долго стоял, запрокинув свою гениальную и никчемную голову в испачканной кепке, смотрел вслед уходящему трамваю, потом повернулся и поскакал, как мальчишка, через мартовские лужи неизвестно куда.

Мамина жизнь после этого события никак не изменилась. Якубов приходил в мастерскую, но реже, чем прежде. Как-то незачем стало. Он скрылся в свою загадочную, свободную жизнь.

Может, подрабатывал корректурой в газете «Звезда и Молот». Может, писал роман. Может, переводил Навои. Может, на собак охотился, чтоб не умереть от чахотки и голода. Хотя последнее маловероятно. Собак, которых Якубов, кстати, душевно любил, в городе Молотове к концу войны практически не осталось. А с голоду Юрию Федоровичу умереть даже в самую голодную пору не давали. Где он жил? Мама не знала и не спрашивала у Якубова, а он никогда и ничего о себе не рассказывал. То есть могло прозвучать какое-то имя, иногда известное маме, иногда нет. Иногда звучали женские имена: «Утром Люська мне говорит…» или «Надо будет попросить Веру купить эту книгу…» Якубов не пытался «переехать к жене», хотя в гости, в том числе и переночевать, изредка заходил. Мой старший брат запомнил его: худой, веселый, то с яблочком придет, то с детской книжкой — заботливый. И мама о нем как-то заботилась. Были ли они близки? Вот уж вряд ли.

Мама не раздумывала о странностях брака с Якубовым. Она ведь ничего от него и не ждала… А в мае, когда кончилась война, оказалось, что вместе со всеобщим ошеломляющим счастьем победа принесла новые заботы. Очнулись от длительной заморозки болячки эвакуированных, которым предстояло ехать домой, на пепелища, к разрушенной жизни. Какая-то из женщин что-то сказала сгоряча и не подумав, какая-то сообщила куда следует… И понеслось! Зашаталась мастерская по набивке тканей, сотрудниц отправили — кого на запад, кого в другую сторону, как в песне поется… Мастерскую закрыли.

Между тем в город Молотов стали возвращаться победители. Их было так много! Но их было гораздо, гораздо меньше, чем тех, кто их ждал. Фронтовики были нарасхват.

У мамы не было братьев, ее любимый человек погиб еще до войны, и она никого с фронта не ждала. А этих двоих привел Якубов. Они были поэты. Боря Ширшов. И Валя Кайгородов, пришедший из Германии в сапогах на одну ногу… Как же они смотрели, нет, не на маму, а на Якубова! Он их заворожил. Он был для этих окопных мальчиков царь и бог, пример для подражания-обожания. Учитель. «Гигант!» — говорили они о нем. А Якубов смотрел на них с чувством, ему вообще-то не свойственным, — с грустью. Что-то в этих ребятах Юрия Федоровича трогало несказанно. Они сочиняли стишки, от которых его мутило, и он этого не скрывал. Но какие там стишки! Эти мальчики были воины. А он понимал в этом толк. Он, очкарик, туберкулезник, тоже был воин, но никто об этом не знал…

Из-за этих двух младших лейтенантов Якубов впервые

дрогнул на выбранном им пути, имя которому было — НЕУЧАСТИЕ. Он не участвовал в том мире, который построил великий строитель всех времен и народов. Этот строитель всех построил, а Якубова — не смог. Якубов вышел из строя. И даже не входил в него. Это был его беззаветный подвиг, его тайная война. Выбор был сознателен и зорок. Якубов знал, что делает, и понимал — почему. Он был умница. Пожалуй, как Чацкий, и даже умнее, потому что не учил ничему тех, кто учиться не хотел.

Чем занимался он всю жизнь? Бездельничал?

Как бы не так, он был очень занят. Он демонтировал себя. И занимался этим давно и планомерно. Отдельные блоки самого себя этот «гигант» азартно разбивал мощью собственного интеллекта на куски поменьше, чтобы никого не угробить, разбрасывая их к чертовой матери. Как же сверкали эти обломки! Он был так талантлив, так здоров душой (а на свой манер и телом), так содержателен… что на «демонтаж себя» шли годы. Якубов все никак не становился совсем никем. Его было много. Но он не сдавался и не унывал. Это сражение с самим собой он превратил в увлекательное занятие. Иногда он был почти счастлив.

Как так вышло? Когда началось? Он осиротел в девятнадцатом году при обстоятельствах, о которых никогда не говорил. Как и где он получил образование? Неизвестно. Где, с кем работал, как оказался в городе Молотове? Он не давал никому отчета. Он умудрялся в те пристальные годы быть «не сосчитанным». И самые бдительные граждане самой холодной, строгой, полуночной державы, окрашенной в целях камуфляжа в розовый цвет, — не донесли на него, не разобрались во вражеской сущности НЕУЧАСТНИКА. И маленький, хмурый, усатый Вий, не дремлющий по ночам в Кремле, в сердце государства, где обывателей и гениев сажали без разбору, но по разнарядке, не разглядел его, свободного до наглости. Потому что Якубов не смотрел в его сторону, не заглядывал в его хмурые глаза. Якубов, такой яркий, такой талантливый, такой заметный отовсюду, носил счастливую фамилию, начинавшуюся с последней буквы алфавита! Его не успевали вызвать. А когда спохватывались — звонил звонок, наступала переменка. Или война. Или он заболевал туберкулезом, или впадал в запой, или, подхваченный не страхом, но порывом, уезжал из города Калинина в город Молотов… В любой город. СССР — страна большая, карта розовая, дорога одна — на восход солнца… Перед Великой Отечественной оказался на Урале. Впереди была еще вся Сибирь. Он не скрывался. Он и вправду отсутствовал.

Много-много лет спустя, когда мамы не было уже на свете, а я была юной, но взрослой, мы познакомились с поэтом Ширшовым. Было это в Доме журналиста в связи с каким-то праздником, возможно Днем Победы. На вечере один старый дядька прочел три прекрасных стихотворения, два о любви и одно о смерти. Просто о смерти, не на войне. Прочел он свои стихи зычно и хрипло, мощно прочел. Потом оглядел притихший зал и сказал:

— Я поэт Борис Ширшов. Запомнили?! Ну и зря… Потому что эти три стихотворения — все, что я написал. Остальное — говно! Мои восемь книг нужно сжечь и пепел развеять. А меня пожалеть…

Тут он всхлипнул, и стало очевидно, что дядька изрядно пьян. Его увели к столу, где дали еще выпить, и пожалели, как он и просил.

Я тоже выступала на том вечере, в самом конце. Когда объявили мою фамилию, поэт Борис Ширшов очнулся от своих тяжких переживаний, поглядел на меня неожиданно трезвым взглядом и выкрикнул:

— Ты дочь Якубова!

На него зашикали. Я с трудом пролепетала свое коротенькое произведение, тоже про любовь и смерть, и попыталась улизнуть. Но поэт Ширшов схватил меня и поволок за свой стол.

— Ты — Якубова! Твой отец — Якубов!.. О, Якубов!.. — Он чуть не задохнулся и замолчал на некоторое время. Потом продолжал уже спокойнее: — Ты знаешь, он мой учитель… О, как мы с Валькой Кайгородовым с ним пили! Но куда нам было до Юрия Федоровича… Он пьет — и Омара Хайяма читает… По зеленым коврам харасанских полей вырастают тюльпаны из сердца царей… Вырастают фиалки из праха красавиц, из пленительных родинок между бровей… Россия… поля харасанские… представляешь?!

Я представляла.

Знала я и о том, что через два года после войны мама, наконец, нашла постоянную и хорошую работу — в клубе военно-морского училища, мирно живущем в тысячах морских миль от моря. И там в нее влюбился курсант, молодой и румяный мой папа-моряк. Якубов к этому времени, как и прежде случалось, исчез, и, похоже, навовсе…

Роман мамы и папы длился недолго, маму арестовали. Фамилия, начинающаяся на последнюю букву алфавита, не помогла — ее не вызвали, за нею пришли… передали привет от усатого. В тюрьме мама о Якубове вспомнила и о нем

позаботилась — подала на развод. Сокамерница посоветовала, рассказала, как муж от нее не отказался, а она, дура, не догадалась сама развестись… ну, его и арестовали.

Чахоточный поэт и переводчик Юрий Федорович Якубов приветов от вождя избежал, его опять не сосчитали. Он умер свободным вскоре после маминого ареста… Но умер и усатый. Держава дрогнула, кое-что осыпалось. Город Молотов, например. Городу вернули прежнее имя, под которым его заложил граф Татищев году в тысяча семьсот двадцать каком-то на месте слияния огромной холодной реки с маленькой медной жилкой.

С Борисом Ширшовым в семидесятые годы я нет-нет да и виделась. Когда Ширшов был трезв, он меня не помнил, а когда пьян — помнил и любил. Я пыталась объяснить ему, что я не дочь Юрия Федоровича, но Ширшов не обращал внимания, для него это был вопрос решенный. Последняя наша встреча случилась все в том же Доме журналиста, мы с друзьями сидели за длинным столом, и вдруг из табачного тумана выплыло темное, с голубыми мутными глазами лицо Ширшова. И он произнес зычным своим надтреснутым голосом: «Ребята, берегите Якубову!»

Вскоре его не стало.

А меня пока что берегут: и ребята — те, что живы, — и что-то еще… Может, тень Якубова, обитателя города Молотова, которого никто из ныне живущих уже не помнит.

Страх. И что-то еще (1948)

О том, как ее арестовали, мама рассказывала много раз. Интересная была история… Для разных людей по-разному интересная. А для меня — вся и всегда.

Дело было сразу после Нового года. В те послевоенные времена новогодний праздник был коротким, на один вечер, а зимы стояли морозные и длинные-предлинные. Праздновать народу было особо нечем, продуктовые карточки отменили, но продуктов-то больше не стало, и цены выросли… Так вот, ясным утром 1 января, когда солнце только успело подернуть сиянием стальные небеса, моя будущая мама бежит на работу, в то время как сын ее, будущий мой старший брат Витька, бежит по той же улице, но в другую сторону — в третий класс мужской школы (в те времена обучение мальчиков и девочек было раздельное). Оба бежали весело. Потому что с морозной улицы оба попадут в тепло. Для Витьки в школе сразу запахнет из буфета горячим какао и пончиками, жаренными в постном масле и чуть присыпанными сахарной пудрой. А у мамы на работе будет жарко пахнуть гороховым супом из курсантской столовки…

Бегут они, стало быть, в разные стороны по Куйбышева и ничего не знают. Ни на каком они свете, ни что на самом деле происходит в их судьбе. Мама понятия не имеет, что она вот уж три дня, как беременна мною. А Витька строит практические планы про пончики, про то, как полагающиеся ему два пухлых комочка теста в пудре можно обменять на буханку серого хлеба…

Далеко уже мои будущие родственники разбежались, и мама вдруг слышит, как с другой стороны узкой улицы из-за стоящего стеной сугроба ее окликает высокий мужской голос:

— Якубова! Агния Ивановна! Подождите минуточку!

У того, кто окликнул, только ушанка со звездочкой видна, и только тогда, когда он подпрыгивает. Но Агния Ивановна его узнает, это Горохов Анатолий Петрович, директор клуба Военно-морского авиационно-технического училища, сокращенно ВМАТУ. Капитан Горохов — прямой начальник художницы Якубовой, и мама ждет, когда он перевалится, как через бруствер, через свой сугроб, перебежит в скользких хромовых сапогах через проезжую часть улицы, преодолеет еще один сугроб, чтоб оказаться с нею лицом к лицу. И вот это происходит.

Все в училище: и курсанты, и педагоги — ходят в морской форме, все, кроме особистов и политработников. Особисты носят

черные кожаные куртки. Горохов — политработник, форма скучная, общеармейская. И сам он довольно-таки маленький, скучный, но не вредный. Начальник как начальник. Однако что-то он сегодня сияет необычайно, и серые его глаза поголубели… Выпил, что ли?

— Новый год, Агния Ивановна! — радостно сообщает Горохов, снимает перчатку и протягивает руку. — С Новым годом!

Снимать варежку на морозе холодно, и ноги в ботиках у мамы мерзнут. Но правда же, праздник, правда!.. И она жмет протянутую теплую руку своей холодной, и даже как-то радуется этому нежданному теплу рукопожатия. А Горохов ее руку в своей задерживает и говорит:

— Агния Ивановна, я ведь прямо сегодня уезжаю в Москву… Повышение мне вышло, еду на курсы следователей!.. — И глаза такие проникновенные, даже слеза в них, похоже, мерцает, наплывая на узкий зрачок. — Вряд ли мы с вами еще увидимся. Я очень вам за все благодарен. Прощайте!..

Он трясет руку художницы, отпускает, браво отдает освободившейся рукой честь, и — крррру-гом! — чеканит шаг к своему светлому московскому будущему.

«Что это было?..» — думает некоторое время художница, но вот уже и массивная дверь ВМАТУ туго открывается, и супом уже пахнет, не гороховым, правда, но перловым с солеными огурцами, рассольничком на бульоне пахнет, и курсанты по коридорам снуют, здороваясь, и работа Агнию Ивановну ждет срочная… И, возможно, мой тайный папа, выпускник училища, задумчивый красавец в военно-морской форме с треугольником тельняшки, выглядывающим из-под линялого синего воротника — вдруг да и заглянет в мастерскую художницы на пять минут… Не заглянул. И мама не запомнила этот день. Запомнила только утро и странную встречу с директором клуба Гороховым. Время промелькнуло незаметно.

А вечером, практически в ночь, Агнию Ивановну Якубову пришли арестовывать.

Они с Витькой уже поужинали ячневой кашей и морковным чаем, причем к чаю Витькой был припасен один из двух пончиков, которые он не стал менять на буханку серого хлеба, а, напротив, один съел после жидких обеденных щей, а второй принес домой, чтоб поделиться с мамой… Вообще благополучие дома и семейный уклад давно, с детского сада, были на нем: он и карточки отоваривал, и каши варил — мама в войну работала на заводе с восьми утра до десяти вечера, танки и самоходки камуфляжем расписывала…

Витя, уже сытый и не озабоченный, лежал в тепле на своем

узком диване, обняв старого медведя, с которым не желал расставаться, несмотря даже на свою взрослость, а мама сидела у него в ногах и читала ему страшную сказку Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик», и глаза у Витьки уже слипались. Раздались в коридоре не соседские, не шаркающие тапочками, а дробные мужские шаги, басовитые голоса… Вот уже и с дверью они поравнялись. Да и затихли на миг. И стук в дверь раздался, крепкий, но не скандальный, трехразовый.

— Не заперто! — громко сказала мама.

И вошли в комнату четверо. Вернее, трое в штатском. А четвертый, молодой, в шинели и с винтовкой, остался стоять в открытых дверях.

Витька испугался. А мама — нет. Потому и не испугалась, что Витька испугался. Надо было этот его страх своим бесстрашием немедленно прекратить.

Тот штатский, что с портфелем, ни о чем не спросил, просто сел на ее кровать и портфель рядом с собой на кровать же поставил. И сказал двоим штатским, не глянув на них:

— Приступайте.

Он как будто знал, что Якубова все сама знает — кто они и зачем здесь. А сам он был следователь. Она же и правда знала, не все, но главное: ее пришли арестовывать. Известно: «У нас зря не сажают»; и еще поговорка частенько тогда в разговорах мелькала: «Стреляй по кусту, виноватый отыщется». Все, каждый был в чем-нибудь да виноват.

Но все-таки — за что?

Ну, например, лично она, Агния Ивановна Якубова, мало того, что выросла в семье ссыльного меньшевика, так еще и страшно задолжала за жилплощадь, вот уже за год, и долг растет каждый месяц… Настолько это последнее обстоятельство было безнадежно, что она и думать об этой своей вине не могла. Ужас… Но в тот момент моя с Витькой мама ни об этой вине, ни о каких других возможных винах не думала. Потому что ее храбрый самостоятельный мальчик — испугался. Только об этом она и думала.

Человек с портфелем сказал своим сотрудникам:

— Сначала шкаф и чемоданы.

И они немедля стали вываливать из шкафа и двух чемоданов все подряд на пол и ворошить все это — в основном летнее тряпье и бельишко — в поисках неизвестно чего. А человек с портфелем неожиданно стал на старое кресло сапогами и начал внимательно рассматривать книжные полки, проводя по корешкам освобожденной от перчатки рукой.

Художница заинтересовалась этим человеком, по-видимому

читателем книжек, и спросила голосом громким и даже почти веселым:

— Простите, вы, может быть, вначале мне что-то объясните или документ какой-нибудь покажете. Вы кто?

Человек оглянулся, удивленно посмотрел на Якубову и ответил, но не Якубовой, а одному из своих:

— Покажи ей ордер… — и снова продолжил разглядывать и оглаживать книги.

Якубова попыталась прочесть сунутую ей мутную бумагу, в которой она была поименована, и ничего в бумаге не успела понять. Потому что в это время на Витьку со шкафа, который трясли, свалился небольшой школьный глобус, подаренный ему на день рождения бабушкой. Витька его схватил. Но ближний дядька глобус у Витьки тут же забрал… и резанул по нему неизвестно откуда взявшимся в руке ножом. Глобус распался на две пустые половинки, а Витька вдруг изо всех сил саданул дядьку по голове своим тяжелым и жестким медведем и заревел так громко, так отчаянно, что стоявший на пороге солдатик с винтовкой вошел в комнату и закрыл за собою дверь. Стало тесно.

Витька продолжал орать, а из глаз его сыпались крупные слезы. Он перестал бояться. Он был в ярости.

— Заткни его! — крикнул любитель книг непонятно кому, продолжая стоять на кресле.

Мать буквально повалилась на сына, заслоняя его ото всех четырех мужиков, заполнивших небольшую комнату, обняла его за голову, принялась целовать и шептать-шептать какие-то такие слова, каких и не ждала от себя… Витька стал затихать, шмыгать носом, и внезапно просипел матери в ухо: «Ты сказку не дочитала!.. Дочитай сказку!»

Мать его сразу поняла: у страшной сказки должен быть хороший конец. Она повернула Витьку лицом к спинке дивана, взяла книжку и продолжила читать сказку «Мальчик-с-пальчик» с того места, где остановилась: братья пришли к домику в лесу, дверь им отворила жена людоеда, и Мальчик-с-пальчик учтиво к ней обратился:

«…— Мадам! Мы потерялись. Не будете ли вы так добры разрешить нам переночевать здесь?» — «Ах вы, бедные крошки! — запричитала женщина. — Знаете ли вы, что этот дом принадлежит страшному людоеду, который обожает маленьких мальчиков?» — Сбившись в кучку, холодные, промокшие до костей, голодные мальчики топтались у двери. — «Что же нам делать? — спросил Мальчик-с-пальчик. — Если мы опять пойдем в лес, волки уж точно съедят нас…» — «Хорошо, — ответила жена

людоеда. — Входите и согрейтесь у огня…» Но едва мальчики успели просушить свою мокрую одежду, раздался жуткий стук в дверь. Это пришел людоед! Его жена быстро спрятала детей под кровать. — «Я чувствую запах живого мяса, — заревел людоед…»

Мать читала сыну сказку то нежным голосом Мальчика-с-пальчика, то глухим и скорбным голосом людоедихи, и особенно ей удавался скрипучий, жуткий бас самого людоеда. Она читала, не поднимая головы от книги, а гости в штатском продолжали шуровать в шкафу и под кроватью. Они что-то такое подходящее находили, что-то обговаривали. «Да брось ты это!..» — говорил один. Второй кряхтел и шелестел. А следователь — тот, что стоял на кресле, — поглядывал сверху и негромко командовал: брать, не брать…

Страшная сказка про Мальчика-с-пальчика кончилась, и, можно сказать, хорошо кончилась, правда, как-то не навсегда, не окончательно… ведь у людоеда остались еще две дочери-людоедки. Но, в общем, все обошлось. Витька лежал тихо и даже, возможно, заснул, а мать все боялась остановиться и начала следующую сказку: «Кот в сапогах». Вдруг тот, что топтался на кресле, внезапно и с треском протоптал сиденье одним из своих сапожищ и, матерясь, повалился на пол. Его попытались подхватить подчиненные, не очень-то у них получилось, и коротенький начальник, выворачивая ногу, шмякнулся на пол, на груду тряпья. Якубова оторвала взгляд от книжки, замолчала, но Витька заныл жалобно, и мать продолжила читать. Однако все, что она увидела, подняв в тот миг голову, навсегда и очень подробно врезалось ей в память. Разгром, посреди которого топчутся два урода в суконных полупальто и барашковых шапках, а беспомощный потный толстяк в стальных очках лежит на груде истоптанного барахла и прижимает к животу три книжки, снятые с полки. Она узнала их. Книжечка в кремовой суперобложке — стихи Поля Валери, толстый фолиант с красным обрезом — старая Библия на немецком с гравюрами Дюрера, а серо-зеленый изящный томик — «Германия. Зимняя сказка» Генриха Гейне в переводе Тынянова. И вступление в эту самую «Зимнюю сказку» зазвучало в голове моей мамы: «Ненастный месяц ноябрь стоял, дни становились печальней, ветер с деревьев листву срывал, я ехал к Германии дальней… И только к границе я стал подъезжать, чувствую вдруг — встрепенулось что-то в груди, а на глаза даже слеза навернулась. Немецкая девочка пела там, пела с искренним чувством, но страшной фальшью… Ужасно я был тронут ее искусством!..» Строчки прозвучали голосом погибшего в тридцать восьмом году Витькиного отца. Он и подарил своей Агнии этот

серо-зеленый шершавый томик с забавными рисунками пером и с длинной, сложенной вчетверо картой путешествия поэта Гейне по Германии…

Она поймала взгляд солдата, который сидел на ее кровати, опираясь на винтовку. Он сидел без шапки и оттого был совсем уж молодой и встрепанный. Он ждал сказку и смотрел не мигая. И мама моя поняла, что даже если Витька уснул, то слушатель у нее все-таки остался. Она продолжила чтение; и обыск продолжился.

Все закончилось перед рассветом. Улик и вещественных доказательств — блокнотов, семейных фотографий, рисунков углем, писем — оказалось много, их закатали в лист ватмана с каким-то наброском и обвязали бельевой веревкой. Якубовой было велено захватить узелок со сменой белья и больше ничего не брать.

— А что будет с сыном? — спросила моя мама и сама услышала, как дрогнул ее голос.

В это время любитель книг аккуратно складывал в свой портфель те три тома, с которыми он свалился с кресла, и еще несколько тщательно и со вкусом отобранных раритетов. Остальные книги Якубовой за ненадобностью валялись на полу — выпотрошенные, с оторванными корешками. На вопрос о сыне следователь ответил, не оглянувшись:

— В течение трех дней его заберут в детприемник.

— Зачем в детприемник?! — закричала моя мама. — У него есть бабушка, есть тетка… Они живут в трех кварталах!..

И она бросилась к спящему Витьке, стала его будить, тормошить, кричать в ухо:

— Витя, проснись! Тебе нужно к бабушке! Срочно к бабушке! Витя, проснись!.. Тебя бабушка ждет!

А Витя не просыпался. Он спал со своим медведем, и только губами причмокивал, и улыбался счастливо…

Солдат послевоенного призыва стоял со своей винтовкой посреди разгромленной комнаты, хрустел сапогами по разбитым чашкам, по рассыпанной ячневой крупе и раздавленным рамочкам с фотографиями. Он вдруг представил себе, что утром этот мальчик, которому каждый вечер на ночь читают страшные сказки с хорошим концом (а ему, солдату, в детстве никогда, никогда не читали сказок!), что мальчик этот проснется со своим медведем в этой страшной комнате, по которой прошлись людоеды… Солдат не знал, что делать. А усталые штатские дядьки знали, что делать: они поволокли кричащую Якубову к выходу.

За дверью она замолчала. Она увидела, что в бесконечной ее

коммуналке, в коридоре, тянущемся на целый этаж, — почти все двери приоткрыты. Соседи не спали и знали, что ее уводят. Впереди по коридору шел, заметно прихрамывая, следователь в очках и с портфелем, за ним двое в каракулевых шапках, за ними она, а сзади парень с винтовкой. Солдат беззвучно плакал крупными слезами, почти как Витька, когда у него разрезали глобус. Он не торопил Якубову. А она задерживалась у каждой приоткрытой двери и громко шептала в щель:

— Сообщите Витиной бабушке! Сходите на улицу Попова, дом 8!.. Пусть бабушка заберет Витю! Мальчик остался один!..

И снова шептала. И в следующую щель. И снова.

Как выяснилось позже, никто из соседей не сходил на улицу Попова. Они прожили в этой коммуналке бок о бок с Витей и Агнией Ивановной почти всю войну. Неплохие были люди, а были и почти совсем хорошие… Они и жалели друг друга, и выручали, когда могли.

А тут они — не могли.

Страх. Вот что. Страх не дает людям быть людьми.

Они все боялись. «У нас зря не сажают», — только и думали они. А ведь каждый был в чем-то да виноват! У всех была своя вина. Почти у всех были родственники из прошлой жизни. Почти у всех — нетрудовые доходы. Многие скручивали электричество со счетчиков. У кого-то кто-то сгинул без вести на войне. Почти каждый знал и рассказывал анекдоты. Вредителями были все поголовно, потому что все у них падало со страху из рук и ломалось… Но у всех были еще и свои, собственные дети, внуки, больные родители. Они боялись если не за себя, так за них.

Никто никогда не узнает, через сколько дней, как и кто увез моего старшего брата Витю в детприемник. Бабушка узнала об аресте дочери и исчезновении внука в воскресенье, когда пришла навестить их с гостинцами — двумя мочеными яблоками и капустным пирогом. Она увидела опечатанную дверь и все поняла. Внука она искала несколько месяцев и нашла в больничке при детприемнике в городе Свердловске, с выбитыми зубами и умирающим от крупозного воспаления легких. Бабушка взяла его домой и не дала умереть.

Когда мама вернулась из лагеря, Вите было уже пятнадцать, он учился в строительном техникуме, увлекался шахматами и парашютным спортом, жил в общежитии. Все обошлось. Почти все обошлось.

Он спросил:

— За что тебя посадили, мама?

— Ни за что, сынок.

— У нас зря не сажают, — сказал Витя.

Потом у него это прошло, он пришел в себя. И вырос в бесстрашного и свободного мужчину. Но этот изначальный всеобщий страх… и чувство вины! Боже мой… как же долго, как бесконечно долго это с нами со всеми было!..

Однако самое удивительное в этой истории состоит в том, что Агнию Ивановну Якубову арестовали по доносу директора клуба ВМАТУ капитана Горохова. Это выяснилось на первом же допросе. То, что Горохов донес из заурядных и разумных карьерных соображений, к тому же почти ничего не наврал — так, акценты сместил, — арестованная вполне осознала и не удивилась. Это было по тем временам в порядке вещей.

Но до конца своих дней моя мама не могла понять: зачем в новогоднее послевоенное утро прошедшему фронт и выжившему тихому Анатолию Петровичу Горохову так смертельно захотелось перевалить через бруствер сугроба, ринуться, как в атаку, через полосу отчуждения, чтоб на прощанье заглянуть в глаза и пожать ей руку? Что творилось в его голове, почему светились голубизной его обычно такие скучные, серые глазки?.. Вот тайна… Зачем Иуда целует в уста?

Суд как театр (1948)

Суд был закрытым. Но в коридоре места не было, и всех свидетелей пустили сразу в зал. «Народу было — как в театре», — много лет спустя вспоминала о суде над Агнией ее подруга детства Ксения, она тоже была свидетель обвинения и зритель в зале.

Маме еще в тюрьме дали прочесть дело, так что она знала, что свидетелями стали все. Стало быть, все, даже мой отец, придут. Агния, как могла, подготовилась. Моя бабушка с передачей прислала свою старинную белую шелковую блузку с отложным воротником, а еще специально связанную для беременной дочери большую запахивающуюся кружевную накидку из синего мулине, она уютно и не без изящества прикрывала плечи и большой живот. Шел восьмой месяц беременности, август наступил.

Когда-то мама мечтала стать актрисой. Не стала в силу многих горьких, а также смешных обстоятельств… Но это было во взрослые молодые годы. В детстве же она любила рисовать и в шестнадцать лет легко поступила в родном городе в художественный техникум. Студенчество оказалось самым счастливым временем, она жила в общежитии в центре города, все студенты как-то да подрабатывали, так что с голоду не пухли, выпускали стенгазеты, ездили на этюды, бегали в театр на галерку, а как-то раз в город приехал Владимир Маяковский, читал стихи и устроил диспут: «Суд над современной поэзией». Он, футурист, был и обвиняемый, и защитник, и судья. Прокурором выбрали местного акмеиста Толстолобова, которого Маяковский стал звать то Лобов, то просто — Толстой. Прокурор-акмеист злился, и почему-то это было страшно смешно моей семнадцатилетней маме. Маяковский легко и блистательно вел процесс, играючи… и подумать никто не мог, что через три года, в тридцать семь он умрет…

Никто, никто ничего не знает.

И вот тридцатисемилетнюю Якубову привезли в суд, прямо из тюрьмы — на ее собственный процесс.

Августовский день, теплый, но не жаркий, небеса высокие, с облачками… Она всю эту свободную синеву и зелень видела минут пять. В «воронке» окон не было, но когда Якубову вели с улицы Дзержинского через двор к служебному входу двухэтажного судебного здания, она не озиралась по сторонам,

только в небо глядела, на вершины деревьев. А на вахте моя мама впервые за много месяцев увидела себя в случайном щербатом зеркале на щербатой же стене, и удивительным, неожиданным образом — очень себе понравилась. Беременность шла ей. И отросшие почти до плеч свободно-волнистые волосы были хороши. Но особенно, особенно празднично смотрелись белый отложной воротник из старого чуть кремового шелка и темно-синяя кружевная накидка. «…Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень!..» — запел баритон в душе моей мамы. И актриса, которой она когда-то хотела стать, но не стала, очнулась в ней. Агния просветлела лицом, выпрямилась, да еще и легкий румянец на скулах проступил. Так что даже полусонный дежурный, глянув на Якубову, чтоб сверить с фотографией в деле, совершенно проснулся и долго не мог отвести взгляд. Агния это заметила, чувствуя абсолютное спокойствие и уверенность в себе. Удивительное состояние — беременность. Полная самодостаточность…

До выхода в зал ее провели в небольшую комнату. Там ее ждала симпатичная женщина с ямочками на щеках.

— Я адвокат, — сказала она, роясь в сумочке. — Но для вас — государственный защитник… А прокурор — государственный обвинитель. — Она достала папиросы и зажигалку, закурила и свободной рукой ловко пролистала папки «дела Якубовой». Их было три. В первой допросы, в двух других, толстых — фотографии, письма, блокноты и рисунки, изъятые при обыске. Толстые папки защитница отложила в сторону, а первую начала просматривать с конца, пока не остановилась на первом развороте. На нем чернели отпечатки пальцев и ладоней обеих рук подсудимой. Почему-то защитница их долго разглядывала.

— Вы никогда хиромантией не интересовались? У вас очень редкая линия жизни… и вообще… — она затянулась папироской и начала быстро перелистывать допросы обратно, продолжая в том же темпе разговаривать с подзащитной. — Государственный обвинитель — наш главный соперник, он шишка, почище судьи, и ведь от него нельзя отказаться… а от меня можно! — она хохотнула и снова затянулась, продолжая листать дело. — Но что-то я не помню, чтоб от нас, защитников, хоть раз кто-нибудь отказался!.. Разве что клиент не беден и может нанять себе адвоката. Думаю, вы — не можете…

Женщина наконец посмотрела на свою подзащитную. Вид которой решительно ей не понравился.

— Что это вы так… нарядились? Вы, знаете ли, не в том положении. Судья должна проникнуться к вам жалостью. — Подсудимая молчала, разглядывая за спиной защитницы окно и

тополь в нем с чуть поржавевшей листвой — осень скоро… — Вы меня слышите?.. У вас же несчастная судьба, тяжелое материальное положение, вы мать-одиночка, у вас сын-безотцовщина… и сейчас вы беременны неизвестно от кого… Кстати, от кого?

В дверь заглянула секретарь суда и сказала:

— Ирочка Борисовна, пора начинать, — и обернулась к милиционеру: — Федя, веди подсудимую в зал.

Защитница достала из сумочки помаду и, без зеркальца, но точно, как по трафарету, подмазала губы… Странное дело, маме моей страшно захотелось попросить у нее обмылок помады. Так в пересыльной тюрьме она однажды, чтоб отбить голод, попросила у охранника покурить, и он отдал ей свою недокуренную цигарку… Не задумываясь, отдал, как мужик мужику, сидящему с ним в одном окопе. Но женщине у женщины попросить помаду? Нет, не в этот раз…

И вдруг защитница взглянула на подзащитную и сказала:

— Раз уж вы такая нарядная, может и… — она, не договорив, протянула моей маме помаду. Мама, сказав: — Спасибо! — взяла ее и, так же не глядя, подкрасила рот.

Скамья подсудимых была на небольшом помосте, Якубова вошла в зал заседаний суда, легко поднялась на помост, села по центру пустой скамьи, положила по тюремной привычке ногу на ногу. В тюрьме днем ложиться нельзя. Шконку — откидную металлическую кровать — с утра поднимают к стене, и надо ждать до десяти вечера, чтоб опустить койку и лечь спать. А в семь подъем. Когда живот стал большим, мама приспособилась сидеть днем на табурете нога на ногу, еще и обняв колено, чтоб живот был снизу и с боков защищен и поддержан. И на скамью подсудимых мама села так же, обняв колено. В то же время она выпрямила спину и, наконец, посмотрела в зал, в котором все с первого мгновения смотрели на нее. Она почти всех узнала, почти каждому посмотрела в глаза, и на душе защемило. Но не слишком. Возможно, потому, что я была с нею, в большом, хорошо защищенном животе…

Моей бабушки в зале не оказалось. Оно и понятно, она не свидетельствовала против дочери, ее показаний вообще не было в деле. Бабушку не вызвали в суд.

Все с удивлением, чтоб не сказать — с изумлением, смотрели на маму. Никто до сих пор понятия не имел, что она беременна… и вот открылось. Но главное — Якубова была сейчас так спокойна, так неожиданно хороша… Только мой папа на подсудимую не смотрел. И мама на него не посмотрела, так, пробежала взглядом, и дальше… Но она успела его разглядеть и

даже понять, как он и что.

Лев Маратов, Левушка — так его звали. Все годы учебы во ВМАТУ он был первый парень на деревне. Отличник боевой и политической подготовки, чемпион по шахматам, чемпион по штанге, правофланговый в строю… Родом из станицы верхнего Дона, Левушка был по паспорту русский, немного хохол, отчасти черкес, в целом — казак… Ему было двадцать три, но был он могуч и выглядел на все тридцать. И очень, очень в зале суда было ему не по себе… Умная, молодая его физиономия с точеным, чуть вздернутым носом, будто окаменела. В канун Нового года и маминого ареста, на последней их встрече Левушка был не по уставу кудряв, залезать пальцами, всей пятерней в его шелковую гриву Агнии было страшно приятно… Она знала: курсант Маратов стригся два раза в году под машинку и постепенно обрастал… В августе в зале суда мама заметила, что он недавно постригся, видимо, к началу жары в конце июня, и теперь его крупная голова заросла короткой густой шерсткой, он как бы бархатную черную шапочку надел. Был сейчас Левушка бледен, только уши розовели…

Они познакомились два с лишним года назад в библиотеке клуба ВМАТУ. Ее только что взяли сюда на работу, в место довольно сытное (штатских сотрудников кормили с курсантами), но с мизерной зарплатой. При знакомстве в библиотеке курсант Маратов взял Альфреда Брэма «Жизнь животных» — почитать в зале, а она, заполняя формуляр, положила на стол Багрицкого — взяла на дом. Левушка заглянул в книжечку, спросил, хорошие ли стихи, они встретились глазами, и мама кивнула. Брэм в могучих руках моего папы был очень, очень толстым и тяжелым, страниц за тысячу, с прекрасно выполненными рисунками всевозможных животных. Мама у Левушки еще спросила: «Кого из них собираетесь изучать, неужели всех?». Он ответил: «Начну со львов». Курсант-библиотекарь обрадовался: «Правильно, Лева! Начинать надо с себя»… С тех пор, случайно встречаясь в коридорах, они стали здороваться. Нет, она в него не влюбилась. Слишком красивый, слишком молодой. И, конечно, нравится женщинам — всем подряд. Герой не ее романа. Да и никаких романов у Агнии не было вовсе — после смерти Витькиного отца. Было, правда, замужество с Якубовым. Но никак не роман… А что Левушка? Он знал, что нравится женщинам, и ничего не имел против. Но эта (все уже знали, что она в клубе новая художница, да такая, что даже портреты умеет писать) на него ни разу не подняла глаз. Женщина взрослая, но легкая и стройная… а ведь целая жизнь у нее позади. Странная… Он в нее, пожалуй, не то

чтоб влюбился, он вообще не знал, умеет ли любить. Но он «запал на нее» — вот как это можно было назвать. Разговаривал Левушка с художницей в первое время редко, она была с ним иронична, говорила как с мальчиком, участливо и только по делу, и это его раздражало. Он мальчиком вовсе не был… Она не смотрела на него. А курсант Маратов очень даже на нее смотрел — внимательными и горячими карими глазами. Каждую «случайную» встречу он готовил и ждал. Она порой это чувствовала… И все.

Но как-то раз в клубе шла «Серенада солнечной долины», в зале было битком, и, случайно или нет, они оказались на соседних местах. Тогда и возникла… любовь?.. Пожалуй — тяга. Совершенно сумасшедшая тяга… Возникла у него. Но и в нее проникла, впервые за десять последних лет. Никакого будущего у этого странного, неизбежного, не называемого чувства — не было. Так они оба думали.

На самом-то деле будущее было. Я — вот как оно называлось… Может, я все это и устроила, хотела родиться…

Вскоре курсант Маратов училище окончил и немедленно написал рапорт об увольнении, давно он об этом мечтал. Но его не демобилизовали, не отпустили. Потому, наверное, что был Лева чемпион училища по большинству видов спорта. Начальство даже сочинило для него новую должность — главный редактор многотиражки ВМАТУ. Левушка засел за брошюры по полиграфии и журналистике, придумал своей газете название «Взлет», выбил две ставки для сотрудников и взял на работу двух хорошеньких, с голодухи прозрачных, выпускниц университета, филологинь. И с этими девочками, влюбившимися в главного редактора с полуоборота, начал выпускать еженедельную газету. За эскизами заголовков, выбором шрифтов, вообще за советом он с полным основанием стал все чаще приходить к Якубовой в мастерскую. И как-то в воскресенье зашел домой. Начался неизбежный роман. О котором в училище, как ни странно, никто так и не догадался. В коммуналке соседки, то одна, то другая, встречали в полутемном коридоре высокого моряка, ну так что ж? Мало ли. Дело молодое, послевоенное… И старший мой брат Витька возвращаясь от бабушки по выходным, заставал дядю Леву дома, моряк подарил ему шахматы и научил мальчика в них играть… Как выяснилось впоследствии, научил хорошо, на всю жизнь…

В зале суда сидело еще двое мужчин в военно-морской форме, один кавторанг с кортиком, преподаватель основ марксизма-ленинизма, а второй — курсант Беня Фишер, свидетель защиты. Были в зале и друзья счастливой юности, с

которыми Агния училась в художественном техникуме, были и просто друзья-приятели. Были сослуживцы по прежним работам — представитель профкома цеха военного завода, где она красила пушки, заместитель отдела кадров универмага, где Якубова работала до ВМАТУ. Небольшой группой сидели соседки по коммуналке… И еще порядочно безымянных людей со знакомыми лицами — с почты, из ЖЭКа, из библиотеки…

Мама обратила внимание на пятерых — совсем незнакомых. И неожиданно, как от озарения, улыбнулась. Какая-то драматургия ей приоткрылась… Этих пятерых, вовсе не знакомых, она принялась разглядывать внимательно, а они, напротив, сразу перестали пялиться на подсудимую.

— Суд идет! Встать! — выкрикнула секретарь суда.

Все до единого поднялись, и в зал вошла седая женщина-судья, похожая на Надежду Константиновну Крупскую, за нею — два неприметных заседателя, прокурор, адвокат. Судья шла тяжело, видно, с сердцем у нее было неважнецки, да и варикоз… Прокурор (государственный обвинитель) был молодцом — при галстуке, высокий и худой, с выправкой, уселся за тумбочкой у дальней стенки. Адвокат — государственная защитница — разместилась перед скамьей подсудимых. Процесс начался со слов и процедур, не имевших значения. Моя мама их как-то совсем пропустила. Еще и потому, что после крика «Встать!» она почувствовала страшную тревогу, провальную… Именно как актриса, уже вышедшая на сцену и вдруг забывшая текст. Да, она читала дело, то есть знала пьесу в общих чертах — показания-роли всех действующих лиц были ей известны. Но ей-то что делать и говорить прямо сейчас, на этом помосте! Ни суфлера, ни режиссера… Она хваталась за соломинку, ведь были, только что были какие-то подсказки, от этой вот адвокатши, там, в комнатке за сценой, в гримерке с губной помадой… И еще — пятеро незнакомцев… Кто они и зачем?! А ведь точно — зачем-то!.. Подсказки были. Но все сплыли.

Судья что-то сказала, и со своего места встал прокурор.

Речь его была не длинной, в основном про обострение классовой борьбы в непростой международной политической обстановке. Обращался он к судье, говорил быстро, как газету читал. Только в конце прокурор обернулся к свидетелям, то есть ко всему залу:

— Товарищи, наш общий гражданский долг не допустить расползания в обществе западной пропаганды, упадничества и прямого вредительства в трудные годы послевоенного строительства, когда весь советский народ в едином порыве… — и еще что-то… «Нет, этот ничего не подскажет», — подумала

подсудимая про обвинителя. А он снова повернулся к судье и наконец высказался по существу. — Из материалов дела гражданки Якубовой А. И. следует, что ее действия, подтвержденные во время следствия многочисленными свидетельскими показаниями и заключениями экспертов, подпадают… — тут он назвал статью 58-ю и несколько ее пунктов. И закончил, грозно глядя в сторону моей мамы:

— Обвинение требует для подсудимой Якубовой в качестве меры наказания десять лет без переписки в лагерях строгого режима.

Зал глухо охнул. Многие с сочувствием и даже ужасом глянули на подсудимую, но тут же уставились на судью.

«Они испугались», — подумала мама о зрителях. А она нет, уже не испугалась. Еще в тюрьме все — от следователя до тюремного врача, от сокамерниц до охранника, приносившего в обед баланду, — твердили ей, что меньше десятки по 58-й статье сейчас не дают, новая волна пошла, сажают пока меньше, чем в 37-м, зато судят пристальней и строже. Кроме «вышки», четвертинки и десятки, есть еще срок восемь лет, как говорится, по блату… Но никто и припомнить не мог, чтоб такое счастье кому привалило…

Судья, глядя в бумаги на столе, заговорила монотонно, что на основании правил судопроизводства в СССР суд выслушает показания всех свидетелей, как и прения сторон обвинения и защиты… После чего она откашлялась и предложила государственной защитнице дать предварительную оценку действиям подсудимой. Адвокат встала, оглядела зал и грудным голосом, полным как укоризны, так и женского сострадания, стала описывать жизнь матери-одиночки, женщины, далекой от социалистической морали — с огромной задолженностью по квартплате, политически неграмотной мещаночки, готовой поддаться на любую провокацию врага, чтоб выплеснуть горечь собственного неблагополучия… Затем защитница попросила суд учесть то обстоятельство, что Якубова ждет ребенка. В связи со всем вышеизложенным защита просит смягчить наказание, обоснованное прокурором, заменив десять лет заключения на восемь, и в лагере общего режима…

Вдруг защитница оглянулась на Якубову и — вот неожиданность! — подмигнула ей… В следующий миг она снова обратилась к судье и заседателям. Только голос ее изменился на, что ли, требовательный, прокурорский почти.

— Уважаемый суд! Чувствую себя обязанной высказать свои сомнения в части некоторой недоработки следствия. Сегодня в зале суда по каким-то причинам отсутствует главный свидетель

обвинения, директор клуба ВМАТУ капитан Горохов А. П. Он являлся непосредственным руководителем художницы клуба, а именно — моей подзащитной Якубовой. Из материалов дела следует, что Якубова и ее начальник нередко задерживались после работы в кабинете директора клуба вдвоем, наедине. Следствие никак не прореагировало на этот странный факт… — защитница сделала паузу. — А между тем, не является ли ребенок, которого носит подсудимая, запретным плодом связи начальника и подчиненной?.. — снова пауза. — И насколько это могло повлиять на объективность показаний свидетеля Горохова?.. Не было ли у него мотива избавиться от беременной любовницы любым способом?! Ведь он член партии и — женат!

Это была бомба. Зрители-свидетели закрутили головами, заколыхались, заскрипели стульями, запричитали шепотом на все лады. Словно море соленым ветерком вспучило — так откликнулся зал. Защитница не спешила садиться, она чувствовала себя, по меньшей мере, великим адвокатом Плевако, защитником несчастных, униженных и оскорбленных женщин… Судья схватила колокольчик и отчаянно затрясла им. Гвалт улегся, защитница, победно глянув на мою маму, уселась на свое место. Стало тихо.

Судья помолчала, ее белесый взгляд над съехавшими к кончику носа очками был устремлен на подсудимую.

— Действительно… — сказала судья и задумалась. Зал перестал дышать. — Так или иначе, сейчас время подсудимой обрисовать свое отношение к предъявленным ей серьезным обвинениям. Так вот, для начала пусть она даст ответ на прямой вопрос, поставленный защитой. Подсудимая, ответьте суду. Вы были любовницей Горохова? Его ли ребенка вы носите?

Моя мама встала и неожиданно для себя — рассмеялась. Не громко, но искренне. Зал снова загудел, судья снова злобно звякнула колокольчиком. Все успокоились. А мама была уже не просто спокойна, она чувствовала полное освобождение от всех своих страхов. «Господи, что они все несут… Да ведь это же — фарс! Балаган! Комедия масок! Смех на палочке…» Она почувствовала — ее роль рождается прямо здесь и сейчас. И чем случайней, тем вернее! Ну раз так… держитесь.

Она преспокойно ответила судье:

— Боюсь, государственный защитник невольно ввел суд в заблуждение. Я действительно регулярно по четвергам задерживалась в кабинете директора клуба и секретаря парткома ВМАТУ Анатолия Петровича Горохова. Дело в том, что примерно год назад я подала заявление на прием в партию и, согласно уставу, Анатолий Петрович готовил меня к общепартийному

собранию, на котором собирался выдвинуть меня в кандидаты на членство в нашей партии. Мое заявление наверняка хранится в сейфе парткома, это легко проверить.

Зал снова загудел — вот это да, в партию готовилась!.. Защитница, отвернувшись от зала, смотрела на подзащитную во все глаза. Моя мама передохнула и продолжила:

— Уважаемый суд, я ознакомлена с моим делом, как того требуют правила, читала показания капитана Горохова и с ними согласна. О чем в деле и расписалась. Те слова, которые свидетель в своих показаниях приводит, я действительно говорила. Правда, на самом деле они в основном звучали в виде моих вопросов, а не утверждений… В любом случае, от своих слов не отказываюсь, просто не считаю их преступными ни в коей мере. — Адвокат оглянулась на Якубову и посмотрела на нее как на круглую дуру, а подсудимая продолжила: — Все мы живем трудно… Я хотела бы найти способы, как сделать нашу жизнь лучше, веселее, справедливее. Человечнее. Ведь мы победили в войне против несправедливости и бесчеловечности… Я знаю, решать все это суду. Но знаю также, что хотела приносить пользу. Затем и в партию вступала…

Зал, судья, заседатели, прокурор, развернувшийся на своем стуле к подсудимой, — все молчали, будто ждали продолжения. И подсудимая продолжила.

— Уважаемый суд! Хочу заявить о своем несогласии с линией защиты и прошу удовлетворить мою просьбу об отказе от государственного защитника.

Зал зашумел снова, колокольчик судьи задребезжал, словно из сил выбился, все стихло, и моя мама закончила громко и четко:

— Что же касается отца моего ребенка, то это совершенно точно не Анатолий Петрович Горохов. Отец моего ребенка молод… умен… высок ростом… очень красив. И, насколько я знаю, беспартиен и холост.

Зал судебных заседаний сошел с ума… Точнее и по-тогдашнему сказать — взорвался бурными аплодисментами, переходящими в овации. Особенно женщины просто безумно рукоплескали. Судья на этот раз отреагировала не сразу. Но, придя в себя, даже встала, хотя ее варикозу это далось не просто, и принялась трясти колокольчик двумя руками. И уже в тишине объявила, что немедленно прекратит заседание, если подобное повторится.

Овации подсудимому — на закрытом политическом процессе… Это и вправду было неслыханно. Зал присмирел, но был наэлектризован до крайности.

Судья, пошептавшись с заседателями, объявила, что суд удовлетворяет просьбу подсудимой об отстранении защитницы и передает полномочия адвоката — подсудимой… Защитница не обиделась и из зала не ушла. Ей было — интересно!

Затем государственный обвинитель начал опросы свидетелей обвинения. Все полетело быстро, как по маслу. Никто не выходил ни на какую трибуну, как это показывали в американских фильмах про американский суд, и никто ни в чем не клялся. Только в начале процесса секретарь предупредила всех об ответственности за дачу ложных показаний. Поскольку в зале было не протиснуться, каждый свидетель вставал среди ожидающих своей очереди других друзей и знакомых подсудимой. «Говорили ли вы на следствии то-то и то-то?» — спрашивал прокурор, и свидетель подтверждал: «Да». Прокурор обращался к подсудимой: «Вы подтверждаете показания свидетеля такого-то?». Якубова подтверждала… Потому что не помнила, рассказывала ли такого-то числа в очереди за хлебом анекдот об отмене продуктовых карточек. Вряд ли рассказывала, Агния Ивановна плохо запоминала анекдоты. И по поводу хлеба, который подорожал и в продажу поступал редко, наверняка что-то и говорила… как и по поводу ближней бани, которую закрыли… и по поводу газет, в которых уже и между строк стало читать нечего… Если она не говорила об этом именно такого-то числа, то думала об этом, пусть и по другим числам… то есть думала, как все… Она с легким сердцем все подтверждала. Потому что знала — все равно получит свою десятку лет, дай бог, общего режима… И показания капитана Горохова, когда их зачитал прокурор, — снова подтвердила. Вот, например, про лозунг, который сама же писала: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Она говорила о нем Горохову именно сама, именно в какой-то из четвергов, именно наедине, в кабинете парторга. Говорила, что нельзя этот лозунг вешать над трущобами, в которых живут беспризорники, а надо вешать, скажем, на школу, в которую Витька ходит, где иногда даже пончики с сахарной пудрой детям дают… А для беспризорных детей нужно и можно раз в неделю горячие щи и кашу организовать, просто скинуться всем на крупу и капусту… Горохов вздыхал, и соглашался, что да, надо бы, и записывал что-то, чтоб не забыть, в свой карманный блокнотик…

Левушку Маратова долго не вызывали, мама на него так и не смотрела, она его вспоминала, как из другой жизни.

Вспомнила и самую последнюю встречу, уже в «казенном

доме». Ранней весной следователь решил устроить Левушке неожиданную очную ставку с Якубовой. Не потому, что о чем-то догадался, вовсе нет. У следователя были свои основания. Он узнал, что выпускник ВМАТУ Маратов хотел на волю, хотел дембеля, чтоб уехать домой в родные воронежские края или хоть куда угодно — чтоб просто жить, чтоб поступить в нормальный вуз… Стало быть, следователю с ним было о чем поторговаться, чтоб добыть показания, давать которые Маратов не хотел ни в какую. «Мы почти не знакомы, несколько слов в библиотеке — и все…» Но следователь и его продавил… Когда маму подвели к кабинету, она вдруг услышала из-за двери знакомый и взволнованный голос:

— Да я просто не поверил, когда сказали!..

У мамы неожиданно подкосились колени. Хотя чего уж было удивляться, чесали всех знакомых, вот и Левушка попал под общую гребенку. Она вошла. Очная ставка оказалась очень короткой.

— Маратов, что вы можете сказать по поводу гражданки Якубовой по пункту обвинения «Преклонение перед иностранщиной»?

Маратов, голову не поднимая, сказал:

— Однажды я пришел в библиотеку ВМАТУ, там в это время находилась художница Агния Ивановна. Я спросил у нее, не может ли она посоветовать, что почитать из Достоевского, чтоб не скучать в воскресенье?.. А она посоветовала взять в библиотеке какой-то французский романчик. Я удивился и все-таки взял «Бедные люди» Достоевского.

— Якубова, вы подтверждаете показания Маратова?

— Да, гражданин следователь. Такой разговор был.

Конечно, такой разговор был! Почти такой. Он был в фильме «Весна»[1], в нем играли Любовь Орлова, Черкасов, Плятт, Раневская… Расчет у свидетеля был тонкий, но мама его вполне поняла, как и я сейчас понимаю: Левушка своей Агнии привет таким образом умудрился на очной ставке передать — напомнить, как они меньше года назад смотрели это кино, сидя рядом на последнем ряду в зале клуба ВМАТУ… и ведь он рисковал, почти дословно цитируя Раневскую…

На его счастье, следователь на кинокомедии не ходил.

При прокурорском опросе в зале суда мой высокий папа в красивой морской форме стоял (в точности, как и остальные мамины друзья-знакомые) и подтверждал свои показания. Цитату из фильма на этот раз он на всякий случай опустил, был предельно сдержан и по-военному краток…

Агния его тем временем вспоминала. Как-то Левушка при

одной из тихих воскресных встреч разговаривал с нею о своем любимом Бреме и помянул о том, что львы отличаются не только силой и царственной повадкой, еще и ленью. Но главное — крайней осторожностью. «Царь зверей трусоват — так написано у Брема…» — Левушка произнес это с едва заметной улыбкой, откинувшись на спинку Витькиного дивана. Он курил трубку, к которой пристрастился недавно, и смотрел в потолок…

В зале суда моя мама слушала моего папу, смотрела на него… Само собой, она подтвердила его показание. Оно было бессмысленным не меньше и не больше, чем все остальные.

Свидетели обвинения, известные Агнии в лицо, были уже опрошены.

Осталось пятеро неизвестных. Их и на следствии Якубовой не показали. В деле они так «пятеркой» и проходили — под фамилиями, ничего подсудимой не говорящими. Именно их письменные показания она следователю наотрез отказалась подтверждать, назвав их чушью. Что и было запротоколировано.

Прокурор вызвал свидетелей. Встали четверо мужчин и женщина, которая тут же мужчинам скомандовала:

— Вы пока посидите, я сама буду сперва отвечать, а вас подниму, когда надо будет.

Мужчины безропотно сели. Прокурор прочел показания женщины:

— «Такого-то числа такого-то месяца в 11.35 гражданка Якубова в присутствии меня и еще четырех свидетелей рисовала масляной краской в помещении клуба ВМАТУ портреты членов ЦК партии, злостно искажая их лица, а также в отношении каждого члена нецензурно и матерно выражаясь, как, например: „Наели ряшки на нашей народной кровушке“ или „Давно вас всех, падлы, свергать пора“ и т. д.» — Выражения привожу не все, но смысл был вражеский… — Прокурор оторвал взгляд от листа: — Вы подтверждаете свои показания?

Женщина ответила с готовностью:

— Полностью и во всем, товарищ прокурор!

— Где остальные свидетели, почему сидят? — спросил прокурор, и женщина, пихнув крайнего, зашипела:

— Вставайте, чего сидим!..

Они встали, все четверо. И прокурор, вдруг став непомерно суровым, произнес, пронзая их стальным взглядом:

— Напоминаю вам — за ложные показания свидетели несут ответственность, вплоть до уголовной. Вы подтверждаете, что с ваших слов все запротоколировано точно? Вас никто не принуждал? Пусть каждый повторит, что он слышал из уст

подсудимой.

Свидетели онемели…

И зачем, спрашивается, прокурор их так напугал? Что с ним творилось?.. Тайна. «Переигрывает! — подумала Якубова. — Не следует так увлекаться ролью…»

Дядьки стали мычать и упираться, а женщина, их пастух, щипать крайнего и что-то ему шептать. Наконец она сама обратилась к прокурору:

— Дак ведь они стесняются! Срамные ж, матерные слова…

В зале кто-то прыснул со смеху. Чей-то отважный женский голос сказал негромко, но слышно:

— Да они же интеллигенция, мата не знают, еще перепутают чего…

В зале хихикнули в разных местах. Но сразу стихли. Прокурор рассердился.

— Последний раз спрашиваю, вы подтверждаете свои показания?!!

— Подтверждаем, подтверждаем… — пробубнили все свидетели и собрались снова сесть.

Но тут их остановила судья:

— Постойте-ка еще. Поскольку из протокола следствия следует, что подследственная не признала ваши показания и назвала их чушью, защита имеет право задать свидетелям вопросы. — Седая голова и глаза навыкате повернулись к Якубовой: — Подсудимая! Вы отказались от предоставленного вам государственного защитника. Суд разрешил вам защищаться самостоятельно. У вас есть право задавать вопросы свидетелям. Вот и приступайте.

Мама встала. Мужчины разом повернулись к ней, они глядели на нее с одною на всех тоской, а их начальница-женщина обернулась через плечо с саркастической улыбкой. Она и руку на бедро положила, знай наших! И снова подсудимая Якубова вспомнила про театр. «Хорошо, смело играет! — подумала она про женщину. — Острохарактерная актриса с большим опытом… И грим выразителен…» Однако реплика была за ней:

— Уважаемый суд, я никогда прежде не видела этих людей. И фамилий не запомнила. Как мне обращаться к свидетельнице?

— Никанорова моя фамилия! — ответила женщина. — И я тебя отлично знаю, как и ты меня.

Судья звякнула и сказала:

— Напоминаю, в суде все обращаются друг к другу на вы. Гражданка Никанорова, в настоящее время подсудимая представляет защиту. Отвечайте на ее вопросы только по

существу!

Показалось маме или в самом деле голос судьи звучал уже не так тускло, как с того света? Что-то живое в нем появилось.

Якубова задала свой вопрос, входя в роль адвоката:

— Свидетельница Никанорова, вы работаете в штате ВМАТУ? Или вам выдали разовый пропуск на вход в училище?

— Разовый пропуск дали. А что?

— А то, что ни вас, ни четырех остальных свидетелей не было в указанное время в училище и тем более в клубе.

— Как это не было, как это не было! — женщина растерялась. Она была простая кукушка, наемный свидетель из самых надежных и наглых, с тридцать шестого года работала. Судьи, прокуроры и даже адвокаты всегда были на ее стороне, что бы она ни втюхивала, таковы были незыблемые правила игры… Что сегодня творится? В ее показаниях нельзя сомневаться! Сочиняла их она, но начальство — визировало. Подстава?.. Или — заговор?! Да не может быть! Никанорова в азарте крикнула этой брюхатой, этой без пяти минут зэчке: «Как это не было! А ты докажи, что не было!»

Вот это было зря.

— Доказать очень просто, — сказала зэчка, на мгновение глянув в глаза Никаноровой, — доказать можно прямо сейчас. Если секретарь суда позвонит дежурному по режиму ВМАТУ и спросит, были ли в училище эти пятеро в тот день, во сколько пришли и когда ушли, — все сразу выяснится.

Свидетельница Никанорова застыла с открытым ртом. Она не могла поверить, что кто-то из судейских станет куда-то звонить по указанию этой сучки… Но — вдруг сегодня с утра мир рухнул?.. Вдруг! Судья, тем временем, деловито пошепталась с заседателями и негромко обратилась к секретарю, давая ей какие-то указания. И вот тут произошло небывалое. Опытная свидетельница обвинения Никанорова, побелев и одновременно покрывшись красными пятнами, ринулась по проходу из зала к выходу, наступая на ноги и толкаясь напропалую. За нею зашаркали четыре ее подельника. Это бегство перепуганных преступников с места преступления было встречено свистом и хохотом всего зрительного зала, смехом — нескрываемым, свободным, до слез, облегчающим душу. Все друзья-товарищи, все свидетели обвинения, авторы жалких, почти правдивых показаний — ликовали. Разве что Левушка, он ликовал вряд ли.

И судья не смеялась. Просто — думала. Занятие это было для нее, может, и непривычным, но значительным. Надо же было после такого спектакля как-то и самим под следствие не угодить…

Да кто же такая эта Якубова? Как это все у нее вдруг вышло — одним разрешать нести чушь по маленькой, а другим — не разрешать? Одних прощать, других — нет?

«Кто тут прокурор, черт возьми?» — этим вопросом озадачился грозный государственный обвинитель. Глядя в зал заседаний, он сидел совсем не по-судейски, а по-мужицки, широко расставив ноги, опершись локтями о колени, держа кулак правой руки в левой ладони, будто готовя этот свой жилистый кулак к удару… Он смотрел в одну точку, на Якубову. Смех стал гаснуть. Судья позвонила в колокольчик и сказала:

— Тишина в зале. Заседание продолжается.

Обвинитель встал и обратился к Якубовой:

— Скажите, подсудимая, как же так? Вы, не задумываясь, приняли и подтвердили множество обвинений в ваш адрес, обвинений, предоставленных следствию вашими знакомыми и даже близкими друзьями… И, однако, с такой яростью назвали чушью, с такой ловкостью опровергли показания пятерых незнакомых свидетелей? Пятерых!.. Вам не кажется это странным?.. А вот мне, государственному обвинителю, это кажется не просто странным, но и подозрительным. Только хитрый и хладнокровный враг мог так ловко вывернуться! — вот такой вывод напрашивается. Может, права была ваш адвокат, утверждая, что следствие не доработало чего-то?.. — Прокурор словно размышлял вслух. — Может, отправить ваше дело на доследование, а вас, подсудимая, не в лагерь, а — снова в тюремную камеру?..

Зал затих, ни один стул не скрипнул. Это ведь и для свидетелей значило — снова таскаться к следователю по первому свистку… А у подсудимой похолодели ноги и живот.

Фарс, балаган, театр — все это кончилось. Аплодисменты прогремели, но мир сегодня так и не рухнул. Вот сейчас жизнь покатит по привычной, ржавой стальной колее… Тюремный врач предрекал Якубовой трудные роды, тридцать семь лет — не шутка. Срок по его подсчетам — начало октября. Еще добрый доктор предупредил, что, если рожать в тюрьме, ребенка заберут сразу, и мама услышала, как прозвучало знакомое чудовищное слово — «детприемник»… Нет! Рожать нужно было только в лагере… Там воздух, там небо, там детей оставляют с матерью до двух с половиной лет… Какое еще доследование?!!

Прокурор тем временем уже отвернулся от Якубовой, он негромко и настойчиво разговаривал с судьей. Слышно не было, но понятно было, о чем… И вот тут судьба качнулась, и все услыхали, как устало и твердо судья, прервав прокурора, довольно громко ответила:

— Нет, Николай Васильевич. Нет. Не надо обострять. Ни к чему это. Пора заканчивать…

Зал выдохнул, и ноги у мамы потеплели.

Прокурор задал подсудимой Якубовой последний вопрос — признает ли она себя виновной в том-то, в том-то и в том-то. Свою вину подсудимая признала немедленно и полностью. Когда ей было предоставлено последнее слово, она сказала просто:

— Спасибо.

И села, положив ногу на ногу и обхватив руками колено. Суд удалился на совещание. Не прошло и десяти минут, как секретарь крикнула:

— Встать, суд идет!

Все поднялись, и судья быстро прочла приговор — ПЯТЬ ЛЕТ в лагере общего режима.

Зал не обрадовался, зал смотрел на Якубову с жалостью, с застенчивым стыдом… и с облегчением. А мама, выслушав приговор, — ушам не поверила. Не бывает таких сроков! Но радостью это изумление назвать было нельзя.

К ней со слезами восторга на глазах подбежала государственная защитница, стала жать руки, говорить, что такое видела в первый и, наверное, в последний раз в жизни, что Якубова — гений, и что никто ей, адвокату, не поверит, да лучше и не рассказывать… Говоря, она вывернула свою сумочку, выбрала из нее тюбик все той же помады, сигареты, носовой платок, зажигалку и даже зеркальце… Больше ничего полезного не нашла, а найденное связала в свой снятый с шеи шарфик и сунула узелок в руки заключенной Якубовой — на память. А мама держала подарки и смотрела, как из зала, ежась могучими плечами чемпиона, навсегда выходит мой папа…

Государственная защитница продолжала восторженно щебетать и вдруг спросила:

— А почему вы в последнем слове сказали «спасибо»? Так странно…

К маме уже пробирались милиционеры, чтоб отвести в «воронок». И она ответила:

— Спасибо, это же — спаси бог. Хорошо бы как-то все мы спаслись…

Много разных новостей, страшных и смешных, ждало мою маму, да и меня с нею, в лагере. Одна новость была, скорее, хорошей. Там, в женском лагере общего режима, был драмкружок, в котором осуществилась мамина мечта: она стала играть в настоящих спектаклях, с настоящими актерами настоящих театров, сидельцами, как и она. Ей доставались даже главные роли, мужские и женские. В театре «Глобус» при Шекспире

происходило примерно то же самое… но в «Глобусе» все женские роли играли юноши. А в женском лагере мужские роли — женщины.

Непроливашка (1948)

Мама узнала, что ждет ребенка, на третьем месяце беременности. Тюремный врач, сообщивший ей эту новость, посочувствовал, но поспешил утешить: «Нет худа без добра, на воле-то аборты запрещены[2], а вот в тюрьме разрешены и даже приветствуются!..»

С началом войны у многих молодых и здоровых женщин прекращались месячные, научно говоря, физиология не выдерживала стресса. И мама про себя точно знала, что детей у нее больше быть не может. Известием о беременности она была потрясена. Однако потрясение было — счастливое!.. Счастье — вещь странная. Нахлынуло — и все тут. На предложение аборта она ответила доктору сразу и твердо:

— Нет. Я буду рожать.

С тех пор она стала прислушиваться к себе и жить как бы и не в тюрьме вовсе, а на облаке…

Что не помешало ей облить своего следователя чернилами из непроливашки.

Нет, не потому, что следователь орал или бил. Он — подлавливал, запугивал и льстил, давил и шантажировал, торговался и просто выматывал. Не пытал, нет… но манипулировал сознанием и сводил с ума. И выпытывал все, что хотел. Высочайшего класса был специалист. Подследственную Якубову он как бы жалел, как бы сочувствовал ей и пытался стать доверенным лицом, другом до гроба. Но, во-первых, мама помнила, как при аресте он лежал на полу, обнимая уворованные книги с ее полки… А, во-вторых, детские бесстрашие с простодушием, странные в этих обстоятельствах, снизошли на мою маму, жившую как на облаке. Якубова легко сознавалась в том, что, хоть отчасти, но было, а в том, чего добивался следователь, но чего не было, — сознаваться просто не могла. Потому что ведь — не было же!

Не став «другом», следователь начал арестованную шантажировать — жизнью будущего ребенка, то есть моей, а также судьбою близких, тех, что остались на воле… И первая же его попытка вызвала немедленную и простую реакцию: моя мама взяла со стола непроливашку и запустила ее в стену. С облака блеснула молния, и ударил гром.

Это могло кончиться обвинением в попытке убийства. Но в результате Якубова угодила всего лишь на неделю в тюремный

карцер на хлеб и воду… Следователь же отказался вести мамино дело, больше того, почти сразу уехал в Свердловск на повышение.

Почему дело с метанием чернильницы-непроливашки так легко сошло Якубовой с рук? Кто знает… «Бог хранит матерей-одиночек»…[3]

А возможно, потому все обошлось, что этот мастер дознания до печенок достал не только всех подследственных, но и всех вообще, включая своих начальников. После истории с Якубовой они его и повысили — с переводом в соседнюю область. Его обязанности поручили юному практиканту Попову, студенту юрфака, заочнику. То есть парню тоже вышло неожиданное повышение. К своей подследственной Попов относился по-человечески, возможно, из благодарности, а возможно, и по неопытности. Вопросов не задавал вообще — предшественник поработал за двоих. Попов и Якубова подолгу тихо сидели в кабинете с большим зарешеченным окном, из которого виден был беленый каменный и высокий забор тюрьмы. Но и небо тоже. И набухшие почками ветви каких-то высоких деревьев торчали из-за забора. Попов готовился к сессии, писал свои контрольные, а маму угощал папиросами «Норд» и даже чаем, а чтобы не скучала, давал читать огромной толщины «дело», в котором его опытный предшественник собрал показания от всех маминых друзей, родственников и сослуживцев. Мама читала, перепрыгивая через строчки и даже страницы. Печальное и отвратное было чтение. Каждый как-нибудь да выдавил из себя какое ни на есть показание. Вернее, из каждого выдавил предшественник Попова…

Все же ее удивил и порадовал один свидетель, курсант военно-морского училища, в котором она работала художницей. Парнишка был очкариком и доходягой, а в клуб приходил заниматься вокалом, если можно так назвать его мучительные попытки спеть Алябьевского «Соловья». Мучительные для всех, кроме вокалиста. Он был уверен, что поет. Звали его Беня Фишер. В сорок четвертом, в свои неполные восемнадцать, Беня пошел на фронт добровольцем, но был он настолько никуда не годен, что упекли его куда подальше, в эвакуированное за две тысячи верст от моря военно-морское училище. Еврейское счастье. Он был уверен, что после войны станет тенором. Моя мама была к нему беспощадна. «Беня, у вас больше шансов стать адмиралом флота Третьего рейха, — говорила она. — Пощадите!.. Нельзя так фальшивить в публичных местах». Беня хлопал своими верблюжьими ресницами, застенчиво улыбался и занятия не прекращал. Но отправлялся петь в самый дальний от маминой кают-компании клубный кубрик. Все помещения в училище

назывались по-военно-морскому…

Так вот, этот свидетель оказался единственным, который на все иезуитские домогательства следователя отвечал замысловато: «Ничего плохого, кроме хорошего, о Якубовой мне сказать нечего». И все тут. На суде он был вторым свидетелем защиты — после хмурого работяги, зачитавшего положительную характеристику профкома пушечного завода.

Чернильница, брошенная Якубовой, оказалась не такой уж непроливашкой, она брякнулась о стену и выстрелила содержимым прямо в физиономию не вовремя оглянувшегося следователя. Небольшая такая, тяжеленькая, восьмиугольная, каслинского литья непроливашка. Ею ничего не стоило угробить бегемота, правильно попав в слабое место. Но мама и не думала никуда попадать, просто шарахнула о стенку.

В июне студент Попов подарил своей тихой подследственной эту чугунную непроливашку, а к ней деревянную ручку с пером «Звездочка» и толстый блокнот. Потом уехал на сессию, и больше мама его не видела. Ее стали перевозить неизвестно зачем из тюрьмы в тюрьму по городам Урала.

Безмятежность, свойственная беременным, сочеталась у мамы с творческим подъемом. Благодаря подарку Попова она неожиданно для себя стала писать в тюрьме стихи, особенно сонеты, венки сонетов и акросонеты. Потом, уже в лагере, многие из них пустила на самокрутки…

Безмятежность безмятежностью, сонеты сонетами, но за всю свою жизнь мама дважды проявила не свойственную ее характеру агрессивность, и оба раза пришлись на позднюю ее и такую желанную беременность. Оба эпизода были крайне рискованны, но имели счастливый исход. Кто знает, что было бы, если бы первый следователь довел дело до конца, того подлого конца, который он задумал… Он среди версий по делу Якубовой и к шпионажу пристраивался, на основании того, что художница клуба ВМАТУ постоянно делала стенды с фотографиями самолетов и кораблей. И меньшевистский след в ее судьбе его очень занимал — не она ли четырнадцатилетней девочкой была на самом деле курьером огромного меньшевистско-эсеровско-троцкистского подполья?.. Неспроста же она ездила на летние каникулы в Сургут к своей маме и ссыльному отчиму?..

Так что непроливашка очень и очень кстати пришлась.

Второй случай «немотивируемой агрессии» произошел уже в лагере.

В те времена арест беременной женщины или кормящей

матери был делом заурядным настолько, что для них создавались специальные лагеря. Именно в такую зону Усольлага после суда отправили по этапу беременную гражданку Якубову отбывать срок. Вышла она из «воронка» уже в зоне, прямо напротив каптерки.

После тюрьмы в лагере ей очень понравилось. Почти воля. Неба над головой — сколько угодно. И вот в очень хорошем настроении мама отправилась — своим ходом, без конвоира, прямо чудеса! — в столовую, в полный гомона и запаха пшенной каши барак. Она встала к раздаче, получила миску отлично проваренной пышной и горячей пшенки и стала оглядываться, куда бы сесть. Место нашлось, за столом всего-то и было три женщины, в то время как за другими на лавках теснилось по восемь. Довольная и спокойная, она усаживается, но кто-то тычет ее в лопатку, и она слышит за своей спиной:

— Эй, фашистка, ты куда?!

Мама, худого слова не говоря, разворачивается с миской в руке и завозит пшенной кашей прямо в физиономию тетке, которая так про нее сказала. Шел сорок восьмой год, четырех лет не прошло, как отгремела Великая Отечественная с фашистами. Откуда моей, не умевшей «ботать по фене», маме было знать, что «фашистами» в лагерях звали просто всех политических. Ну а блатных блатные звали «людьми». Всех же прочих «придурками». Этих последних было в том лагере больше всего.

Миска с кашей еще только начинала полет, как мама раскаялась в этом своем порыве. Нельзя горячей кашей лепить в лицо женщине. Даже если она грязно выругалась.

После, вспоминая, мама сама себе удивлялась — что на нее нашло? Может, это воздух свободы, небо над головой вскружили ей голову?

Но дело было сделано. Тетка орала благим матом, мама ждала, что ее растерзают, и я в ее животе совсем притихла.

Маму не растерзали. Вся столовая сбежалась посмотреть, что натворила новенькая. Драться, будучи на сносях, горячей кашей — такого еще не видели в женском лагере для беременных женщин, молодых матерей и инвалидов. Но облепленная пшенкой физиономия огромной тетки никого не огорчила. Вся столовая гремела, охала и рыдала от смеха долго, до изнеможения. Хохотали и блатные, и политические, и те разнообразные, которых было больше всего, и вертухаи-охранники, и хлеборезка, и вольнонаемная повариха, и «шестерки» на раздаче. Смеялась и Натка Звездочка, главная из тех четырех, что сидели за столом, где мама нашла себе место. В конце концов тетка как-то отскребла кашу хлебом, умылась под

стоявшим у дверей рукомойником и ушла в дальний угол столовой. А маме юркая шестерка с раздачи принесла новую миску каши с кубиком настоящего масла, оплывающим на вершине дымящего пшенного кургана. И мама без разговоров принялась кашу уплетать, не глядя особенно по сторонам, заедая и собственный страх, и нежданный успех. Маме все время хотелось есть. Потому что это мне хотелось.

Натка Звездочка тоже ела с аппетитом, потому что была розовой и кудрявой кормящей матерью двухлетнего Славика… а также плечистой и грозной рецидивисткой, промышлявшей на воле грабежом и разбоем.

Натка ела и поглядывала на маму с любопытством. И вот она спросила:

— Вы что такая смелая? Никого не боитесь?

И мама ответила, не поднимая головы:

— Никого.

Они продолжали есть кашу. А когда настала очередь жидкого и мутноватого чая, Натка вдруг еще спросила:

— И меня не боитесь?

Мама ответила:

— Пока нет. А что, надо бояться? — и подняла на Натку глаза от чая. Посмотрела в ее румяное лицо, заглянула в холодные ясные очи и в тот самый миг стала бояться.

А Натка помолчала чуть-чуть, подумала. И сказала:

— Посмотрим.

Она встала из-за стола и пошла не спеша к выходу в своих ватных стеганых штанах, облегающих могучие бедра. Соседки по столу переглянулись и со значением посмотрели на маму.

Маме вертухай указал место в третьем бараке. Здесь обитали «придурки» — шестерки, старухи-колхозницы, попавшие в лагерь по доносу соседей за украденное в поле кило гнилой картошки, проштрафившиеся кассирши сберкасс — много их было после отмены карточек и обмена денег… Барак был грязным и холодным, на ночь истопили печь, но дрова экономили. После отбоя к маме на нары присела уже знакомая девчонка с раздачи и зашептала скороговоркой, без знаков препинания, но с одышкой:

— Вам бы поосторожнее… вам темную… вам и до родов… Натка не спустит… ей нельзя — она козырная… вы бы того… в другой барак…

И ушла.

Тогда мама свернула свой тюфяк и одеяльце с подушкой, взяла узелок с одеждой и пошла из третьего барака в соседний. Там места не нашлось. Не нашлось и в следующем. И везде на

маму смотрели по-разному, но одинаково пристально. В конце концов нужно же было где-то ночевать. Мама набралась храбрости и вошла в последний барак, из трубы которого сыпались искры веселого жаркого огня вместе с кудрявым, как волосы Натки Звездочки, дымком.

Это был барак, где жили «люди». Здесь было тепло и чисто, и просторно. Нары стояли пореже, и не все верхние были заняты. За столом в центре барака сидели в голубых майках и ночных рубахах дородные женщины. В белой сорочке с красно-черной украинской вышивкой по вороту сидела там и Натка Звездочка. Мама стояла в дверях, все смотрели на нее и молчали. Натка встала, потянулась, хрустнув плечами, и пошла к своим нарам. И тогда староста барака Вера Харина, сидевшая за убийство мужа, тоже встала и указала маме ее нары рядом со своими. Никто в тот вечер ни слова не сказал.

Вера Харина все годы оставалась маминой соседкой, строгой, но справедливой и спокойной женщиной с обрубленными на левой руке пальцами. Про мужа она говорила, что не жалеет, и сейчас бы убила. Такой уж был муж. А про пальцы ничего не говорила, но все знали, что мужа Вера зарубила топором, а потом от отчаяния, тем же топором, хватила себя по пальцам.

Укладываясь на ночь, мама положила под подушку чугунную непроливашку — единственное имевшееся у нее оружие. Так она и спала в этом разбойничьем, но теплом и чистом гнезде — с чугунной непроливашкой вместо маузера под подушкой. Пока не родилась я. И Натка стала одной из моих кормилиц. А Вера Харина — одной из моих нянек.

Аккордеон (1950)

В женской зоне первые три года не было бани. И колодца не было, воду привозил с воли в большой деревянной бочке вольнонаемный старик-инвалид. Бочка стояла на повозке с полозьями, и даже летом эту повозку со скрипом волок огромный и неторопливый черный бык. Мама говорила, что моими первыми в жизни словами были — БЫК, МАК, ДЫМ. Все поименованное в лагере было, бык и мак в единственном числе, зато дымов, особенно морозными зимами, из-за высокого забора подымался целый лес.

Баня, как и колодец, находилась в мужской зоне, за тремя высоченными, увитыми колючей проволокой глухими дощатыми заборами. Арестанток водили мыться строем и под конвоем в мужскую зону. Мама множество раз рассказывала при мне или даже просто мне, как это происходило.

Банный день устраивался раз в две недели по воскресеньям, и с самого утра начинались приготовления к предстоящему событию. Несколько суток перед тем женщины копили «водяную пайку», чтобы хоть как-то помыть головы и накрутить бигуди, сделать прически, постирать и подсинить белые — простроченные или кружевные — воротнички, которые выпускались поверх ватников или сатиновых курток — лагерной униформы, обязательной для передвижения праздничным строем (по будням начальство не следило, в чем арестантки ходят, им и платья носить не возбранялось, только мало у кого они были). Даже зимой женщины шли в баню с непокрытыми головами, повязывая разве что шарфики и яркие ленты на свои кудри и пышные прически. На макияж шли подручные средства — из борщей загодя вытаскивались и копились жалкие кусочки вываренной свеклы, припасались также уголь из печей и побелка со стен. Особую заботу у женщин вызывали туфли. Все, как могли, приводили в порядок обувь, а несколько умелиц приноровились прибивать каблуки к арестантским бахилам. Все блестящее — от консервных банок до битых стаканов — отыскивалось и похищалось из нехитрого тусклого инвентаря лагерной жизни и превращалось в бижутерию.

Со всем этим безумием когда-то, давно, начальство пыталось бороться. Но плюнуло.

И вот наступал торжественный час. Женщины в полной

боевой раскраске, с шайками и мочалками собирались на плацу перед бараком, в котором размещалась столовая, она же красный уголок. Там строились в колонны по четыре, и маленькие смертельно завидовали высоким, потому что высокие становились правофланговыми и вообще были виднее. Однако общее радостное возбуждение объединяло всех. Но вот строй замирал, начальник лагеря лично осуществлял перекличку и, наконец, командовал: «В баню шагом арш!» И открывался проход в трех заборах с колючей проволокой, «попки» на четырех вышках прижимали щеки к прикладам длинных винтовок довоенного образца, держа «на мушке» самых видных красавиц. У последних ворот, тех, что вели уже туда, в чужой и волнующий, пахнущий мужиками мир, раздавалась команда: «Запевай!» И Натка Звездочка, молодая краснощекая рецидивистка, во всю матушку разевая от природы румяный рот, запевала «Катюшу». Строй женщин входил в мужскую зону.

Лагерь, в котором все это происходило, размещался на лысой вершине холма на окраине города, под домами которого в недрах холодной уральской земли на многие десятки километров кружили просторные тоннели соляных шахт, а небо над городом заволакивали пышные и разноцветные дымы химических заводов, выпаривающих из подземной соли всю таблицу Менделеева. С женской половины лагеря, размещавшейся на самой маковке холма, из-за забора ничего, кроме верхушек заводских труб и ядовитых клубов дыма, видно не было. Но стоило пройти сквозь ворота между зонами, как со ската холма открывался величественный вид на волнистые увалы уральских гор и тайгу, их покрывавшую. Там не пахло ни ленинизмом-сталинизмом, ни бандитизмом-уголовщиной, ни химией, ни даже русским духом. Вообще не пахло человеком. Только вечностью.

Однако мало кто эту устрашающую красоту из входящих в мужскую зону женщин замечал. Она простиралась по левую руку от входящих. А по правую руку вдоль пути женской колонны метрах в пятнадцати стоял ряд арестантских бараков, точь-в-точь таких же, как в женской зоне, вот только жили в них мужики. И все население этих бараков в женский банный день не должно было и нос высовывать из своих узилищ, не ступать на деревянные мостки за порог, в сортир по нужде не бегать. У каждой барачной двери стояли два конвоира с винтовками. Как будто не женская колонна, а чума шла в гости в мужскую зону.

Но чума — она и есть чума. Нет от нее спасения. Все население бараков, от щуплых форточников до старичков колхозников, от сильных духом доходяг политических до черных душою могучих урок и мокрушников — выстраивалось на

барачных крышах. Мужчины в молчании наблюдали за тем, как в зону входит колонна баб в вантиках, в ослепляющих белизной воротничках-ришелье, с размалеванными свеклой и гашеной известкой лицами… Расцветали яблони и груши, и выходила на берег мужской тоски Катюша, кося направо сияющими, подведенными углем глазами…

Путь до бани — такого же, как прочие, только стоящего чуть на отшибе барака, — был недолог. Однако многое за эти несколько минут успевало случиться.

И случилось так, что в первый же раз высокую мою, хотя и совершенно не раскрашенную маму, заметил Некто. Некто, стоявший среди прочих сотен молодых и старых мужчин на одной из крыш одного из бараков…

Когда она вошла вместе с поющей колонной в запредельное государство, то сразу увидела невероятной мощи и печали пейзаж, развернувшийся далеко за лагерем. Он врезался в нее и стал рефреном лагерной жизни. Раз в две недели несколько лет по любой погоде…

И только потом она почувствовала тысячеглазый немигающий взгляд справа. И этот взгляд вошел в ее жизнь, как жесткое излучение, вошел так же просто, как уральский пейзаж.

На следующий день ей принесли письмо.

Некто не подписавшийся описал ей в нескольких неизящных, но ярких выражениях страсть другого Некто, того самого, что так полюбил высокую женщину, шедшую в третьем ряду справа, что заболел и сам писать не мог. Дальше следовал вопрос — какого цвета у нее волосы.

«Шестерка», принесшая записку, спросила, будет ли ответ, и мама твердо сказала, что нет, не будет.

Кстати, о «шестерке». Этот мелкий лагерный сервис не был положен моей маме, политической, не «человеку». Однако событие с пшенной кашей, случившееся в первый лагерный день, создало маме странную репутацию. Отчасти она стала как бы «человек», и в свой барак «люди» ее приняли.

Ответ мама писать не стала, но в следующий раз во время банного похода, заранее вымыла светлые свои волосы, завязала их узлом и платком не покрылась. Хотя шел только октябрь, лагерь и тайгу за ним накрыли пушистые снега, все стало мягким, размытым, и легкий пар из поющих ртов окутывал женскую колонну как бы туманом…

Через день мама получила большое письмо в настоящем конверте, запечатанном стеарином.

Почерк был другой, чрезвычайно разборчивый и аккуратный,

бухгалтерский, ошибок почти не было, а стиль… О, это был высокий стиль!

Письмо было на четырех страницах и содержало описание того, как Некто, подписавшийся Борисом, смотрит с крыши четвертого барака на раскрывающиеся ворота и ждет. Потом различает Ее в колонне. Потом падает с крыши и ломает руку. И сейчас рука еще в лангете, так что «извините за почерк и за то, что письмо короткое» (это на четырех-то страницах!). Самым интересным было, что Борис писал о маме. Писал он о ней почему-то в третьем лице. «Эта женщина шла необычайно легкой и естественной походкой балерины, для которой длинные ноги, их ритмичное, совершенное, как у крыльев птицы, движение — не способ передвигаться, нет! Это способ вообще жить, являть себя миру и постигать мир. И подчинять всех вокруг своему ритму, своему дыханию. Полету души и мысли…» Там было про гордую посадку головы и, конечно, про мамины волосы цвета спелого ячменя… Некто успел заметить, что она не пела со всеми вместе и что смотрела не столько направо, сколько налево, на холмы и тайгу, на божественный театральный задник, на фоне которого каждое ее движение словно застывало в вечности…

Борис даже имени мамы не знал. Его письмо было адресовано «высокой блондинке, шедшей в минувшее воскресенье в третьем ряду справа».

И на это письмо мама не ответила.

Правда, еще и потому, что лагерная почта имела публичный характер. Письма, или по-блатному «малявы», буквально как голуби летали через три забора в предрассветные сумерки до утренней переклички или после вечерней переклички, после отбоя, совсем уже ночью. Письма никогда не подписывались настоящими именами-фамилиями, потому что нередко не долетали до адресатов, а падали между заборами, на грядки вскопанной земли или нетронутого снега — на полосы отчуждения, где их поднимали наземные вертухаи, а потом развлекались «попки», читая письма вслух с вышки на вышку. Замеченных же в перекидывании писем сажали в карцер.

Нельзя сказать, чтоб мама не боялась карцера. Боялась. Там было совсем уж тесно, холодно, грязно и голодно. Но и сами письма Бориса не позволяли уронить планку, так что мама ответить не решалась долго.

После третьего или четвертого похода в баню письма от Бориса не последовало. А через пару дней «шестерка» принесла мятую писульку с уже знакомым по первому посланию расхлябанным почерком, из которой следовало, что Борис попал в карцер, застигнутый за раскручиванием «почтовой праШЧи». То

есть пращи. Именно так. Для больших пакетов зэки придумали использовать это древнее метательное орудие. Однако способ этот производил специфический шум, жужжание своего рода, которое ловили «попки» на вышках и вертухаи в зоне.

Борис сидел в карцере неделю. А потом написал короткое, грустное письмо. О том, что, наверное, он смешон.

Тут уж мама не утерпела. Она ответила ему длинным (для себя, т. е. в две неполных страницы), сдержанным, но сердечным письмом. И стала получать пакеты каждый день, а в них послания — огромные, пылкие, прекрасные и ужасные. Что ей было делать? Она влюбилась. Правда, вряд ли Борис об этом смел догадываться.

Переписка длилась и длилась, и мама уже во все глаза глядела на крышу четвертого барака, где, как и на крышах остальных двенадцати бараков, стояло, сидело и даже лежало несколько сотен человек в сером, с белевшими из-под солдатских драных ушанок лицами. Что она могла рассмотреть на фоне хмурого неба? Но что-то такое ей чудилось. Был там один высокий, и однажды он помахал рукой. Ей помахал, так показалось маме.

Прошло полгода, и к маме в крохотную ее мастерскую (в конце концов, в лагере ей нашлась непыльная работенка по профессии — писать лозунги и плакаты, а также рисовать с плохеньких любительских фотографий и по клеточкам портреты членов семьи начальства) прибежала знакомая «шестерка» — «мужа вашего назначили к пересылке, через неделю его отправят до зеленого прокурора». Мужьями по лагерной традиции называли постоянных адресатов воздушной почты. А зеленым прокурором — Сибирь.

Любопытно, что при оперативности и фактической точности, вести из мужской зоны были зыбки и неполны. А с «воли» и подавно. Мир за пределами зоны был ирреален, как Тот Свет… Можно ли было точно знать о пересылке Бориса, когда даже фамилия его оставалась неизвестна, даже имя сомнительно? Мистика какая-то…

К этому времени в женской зоне появился новый начальник. Прежнего интеллигентного очкарика со слабыми легкими и сострадательными, умученными глазами сменил коренастый бритоголовый хряк, с твердыми серыми зенками. При нем пробурили артезианскую скважину. И баню с прачечной начали строить. Но самое главное — в лагере появилось кино. Кинопередвижку и коробки с фильмами раз в неделю привозил из мужской зоны настоящий молодой мужчина — киномеханик.

Правда — католический монах. Литовец. И этот самый монах Юозас, хотя и не глядел на женщин, однако другой грех на душу брал — перевозил со своими ящиками кое-какую контрабанду через границу между зонами. Он и привез Якубовой последнее послание от Бориса, а также его прощальный подарок. После сеанса монах окликнул маму странным в те времена образом:

— Госпожа художница, постойте. Вам презент. Сами знаете от кого. Забирайте, быстренько, быстренько…

Неподалеку от полуторки, на которой возили технику, топтался, покуривая, вертухай, и монах нервничал. Он подпихнул ногой к маме один из своих футляров и сунул ей в руки бумажный рулон — именно так теперь выглядели письма Бориса. Что было в том, последнем письме, я не знаю.

У себя в бараке, на нарах, мама раскрыла восхитительной формы кожаный футляр и обнаружила небольшой перламутровый красный аккордеон. Ничего более невероятного в маминой жизни не случалось — не только в лагере, но и на воле.

Все обитательницы барака сбежались посмотреть на подарок Бориса. История любви художницы и этого загадочного мужчины была все это время предметом и зависти и сочувствия едва ли не всего населения женской зоны… Но такого — никто и вообразить не мог. После первого «Ах!..» женщины стояли в молчании над этой… просто драгоценной вещью, которая к тому же была музыкальным инструментом. Аккордеон мерцал цветом гранатовых зерен в барачном сумраке и тоже молчал.

Никто в лагере на такой штуке играть не умел. Сидела, правда, во втором бараке Дуська-гармонистка, у которой когда-то была гармонь, привезенная из деревни, да она проиграла ее в буру, а новая владелица вышла с гармошкой на волю… И еще литовская графиня Рута была когда-то в своем Каунасе неплохой пианисткой.

Рута… Она дружила с мамой, совершенно молча, русского почти не знала, выучила только парочку самых крепких матерных выражений для самообороны. С мамой они просто переглядывались. Вместе с графиней в лагере сидели еще три литовки, они ее любили и оберегали. Она целыми днями не делала ничего, только читала Евангелие в сафьяновом переплете. Или перебирала свои сокровища, которые хранила в драном парчовом портфельчике. Сокровища не стоили ничего, все ценное у нее забрали при аресте. Но была пудреница с зеркальцем, давно без пудры, в которой хранился чей-то локон и крестик, и много загадочных мелочей, либо поломанных, либо пустых, вроде пенсне без стекол или пузырьков из-под лекарств, градусник без ртути, флаконы, сохранившие запах духов, но не сами духи.

Только один флакон был пуст лишь на три четверти.

Рута освободилась раньше мамы, и в последний вечер пришла со своими фрейлинами-литовками, села на нары и подарила самое ценное, что у нее было, — тот самый флакон с красной наклейкой. Одна из фрейлин объяснила по-русски: эти духи подарил Руте молодой красавчик лейтенант на пересылке… Еще графиня, подумав, достала из портфеля скатанный в трубку обрывок тисненой золотом бумаги и сама завернула в нее флакон, сама перевязала шнурком…

Но это случится через пару лет после того вечера, когда весь мамин барак собрался вокруг мамы и подаренного ей аккордеона. Дуська— гармонистка и литовская графиня были срочно приглашены из соседних бараков и тоже смотрели на аккордеон. Эти-то две музыкантши стали учить маму на нем играть, Рута учила правую мамину руку, а Дуська левую.

Борис пропал из маминой жизни навсегда. Постепенно в бесконечных наших скитаниях исчезли рулоны его писем. А однажды исчез и аккордеон: мама продала его в минуту жизни крайне трудную.

Но до сих пор я не могу спокойно слышать звуки этого, редкого теперь, инструмента. Я сразу вижу мамину голову, склоненную чуть влево, сосредоточенное лицо, рубиновые блики на щеке и шее, и разворачивающиеся как бы в глубоком дыхании нежные замшевые меха итальянского аккордеона…

«Красная Москва» (1953)

С лагерным чемоданом, с которым вышла на волю, мама не расставалась до конца жизни, а когда ее не стало, то и я не расставалась многие годы.

У чемодана было множество достоинств. Не тяжелый, потому что фанерный, но фанера толстенная, очень прочная. На вокзалах мы сидели на нем всей семьей — мама и я. Иногда еще кошка. Чемодан никто и ни разу не вздумал украсть. С его-то красотой. Да и любой вор прекрасно видел, откуда он родом. Стильная лагерная вещь, не имеющая цены, с ременной ручкой, вернее кирзовой, сделанной из голенища солдатского сапога, в шесть слоев прошитой настоящей дратвой. Чего только в чемодане не возили, от картошки до книг, ручка выдержала. Запирался чемодан на висячий замок. Мог запираться. Но что-то я не помню, чтоб был он заперт хоть раз.

В тот вечер, когда мама появилась с ним в дверях бабушкиной кухни, на чемодан никто внимания не обратил. И на потертый футляр натуральной кожи, который мама несла в левой руке, тоже никто не глянул… Я помню, как это было, как мама появилась в дверях кухни.

В наших краях зимой окончательно темнеет часов в пять, а это, наверное, произошло часов в семь-восемь. В окнах было чернехонько, и лампочка в ветхом абажуре освещала жаркую кухню. Бабушка знала, что старшая ее дочь возвращается из лагеря именно сегодня. И она волновалась. А была моя бабушка человеком на редкость сдержанным, еще и насмешливым, и строгим. На ее веку случились две революции, три войны, а в промежутках — экспроприация, национализация, коллективизация, индустриализация, и аресты, аресты, аресты. Жизнь она прожила с вечно ссыльным меньшевиком, с которым кочевала по ссылкам от Сургута до Казахстана с заездом в Оренбург и на Соловки… И все-таки она волновалась. Очень.

А я? Я стояла на шаткой табуретке напротив зеркала в деревянной раме…

…Мне пять лет, в зеркале отражается белобрысая, румяная и лохматая девочка с маленькими глазками. Странность: я не могу с девочкой просто переглянуться, я могу посмотреть ей только в один или в другой маленький темный и блестящий глаз. Только так. Это я. Вот я какая. Бабушка, ожидая мою маму, борется с

моей лохматой головой, наматывая похолодевшей нервной рукой пряди на палец и смазывая их слабым сахарным сиропом. Лохмы превращаются в локоны. Я преображаюсь. И не знаю, нравится ли мне это.

Мне нравилось, что бабушка занята мной…

На плите и в духовке что-то булькало, жарилось и пеклось, бабушка поминутно отвлекалась от меня, тогда я оставалась на шаткой табуретке в одиночестве, и мне становилось боязно. Все-таки я не роптала. Вообще, мне помнится, что я была одновременно терпелива и упряма. И молчалива. Я была занята. Помимо реальной жизни со мною всегда происходила еще какая-то, сказочно прекрасная либо, напротив, сказочно ужасная. Но на этот раз на своей табуретке я оказалась в той единственной во вселенной точке, в которой сошлись и встретились просто все страхи, надежды и чудеса. Я чувствовала, в каком важном месте судьбы нахожусь еще и потому, что бабушка волновалась. Даже бабушка.

Не помню, была ли моя голова по бабушкиному замыслу вся осыпана золотистыми локонами, когда вошла мама. Думаю, дело не было вполне закончено, поскольку, когда открылась дверь, я оставалась на табуретке. Только уже спиной к зеркалу и лицом к двери. Я именно осталась на табуретке, потому что вдруг все, и первая — бабушка, забыли обо мне. Шаткое мое положение усугубилось еще и невозможностью сделать ни шагу навстречу происходящему. Я должна была ждать, терпеть, молчать. Это «столпничество», это чувство заброшенности, опасного одиночества очень отчетливо сохранилось во мне. И возможно, многое определило. Я помню его, распознаю, когда оно возвращается, готова к нему. Как бы знаю, что будет дальше.

А дальше все, кто был в большой комнате-кухне (кстати, совершенно не помню, сколько было человек, ожидавших маминого возвращения, трое, четверо, пятеро?), перестали быть важными для меня. Бабушка перестала быть главной.

Случилась перемена жизни, есть такой термин в гадании на картах.

Вот так. Когда ко мне приходит чувство шаткости и заброшенности, я просто знаю, что дальше будет. Перемена жизни.

Дальше я увидела даже и не женщину, не маму, а только ее лицо. Лик. Его-то и помню. Надо сказать, что это отпечатавшееся в памяти лицо — темное, как на старых иконах, худое, с большими, страдающими светлыми глазами, с отчетливо очерченной поволокой — ничем не напоминает тот повседневный, позднее возникший, подробный и любимый мамин

облик. Лик и облик — понятия из разных миров. Такая была минута в моей, да и в маминой жизни, что обнажилась в нас обеих первооснова. И запечатлелась в моем неправильном сознании. В сознании детдомовской девочки с поломанной памятью, начавшей говорить в три года и писать в четыре. Производившей иногда впечатление глухонемой или умственно отсталой.

Мама, окруженная всеми, кто ее ждал, смотрела на меня, только на меня, — никто еще в жизни так на меня не смотрел. И я, хотя очень ждала маму, была не готова к такому взгляду. Я ждала маму, как дети ждут подарок. А тут возникла судьба и захватила меня всю. При том, что я продолжала стоять на шаткой табуретке и чувствовать уже упомянутые страх и одиночество.

В конце концов, побывав во всех объятиях и всем наспех ответив, мать вырвалась ко мне, и налетела как явление стихийное, не человеческого происхождения, и окружила, и напугала совершенно мне незнакомой силой страсти, желанием слиться — стать мною, меня сделать собой. Я не хотела. Я, подхваченная с моей табуретки, уже даже тосковала о ней, о шаткой опоре, об островке одиночества… Потом было застолье с горячими картофельными шаньгами, самой моей любимой едой, самой домашней, самой бабушкиной. И с необыкновенной скоростью я стала привыкать к этому стихийному, совершенно не похожему на приятный подарок явлению — моей маме. В смысле, смиряться с ее неизбежностью. Я поняла, что этого все окружающие как раз и ждут, все так и считают, что я принадлежу этой удивительной женщине, как прежде принадлежала к серой и невнятной жизни в детских домах, жизни, в которую лучше было и не вглядываться, как и она, эта детдомовская жизнь, не вглядывалась в меня… Мама же продолжала пожирать меня глазами и замечать во мне ВСЕ, то есть гораздо больше, чем когда-либо замечала в себе я. Я расширялась. Меня как будто накачивали прошлым и будущим. Это было физическое, не слишком приятное, но неизбежное ощущение. Я прислушивалась к нему, занималась им и, того гляди, готова была всплыть шариком к потолку… Если бы не бабушкины горячие, румяные, прекрасно пахнущие картофельным пюре и сметаной шаньги…

В общем, как-то все обходилось. Я и вообще-то была не скандальная. Да и все-таки было в мамином поведении что-то напрямую и необъяснимо трогающее меня. Она в самом деле имела на меня право. Исподлобья и из-за шанег я подглядывала за мамой, и отводила глаза, когда она обжигала меня своим всевидящим «ярым оком», и с огромным удовольствием хлюпала

чай из блюдца, как бы заливая пожар, который мама разжигала в моем сердце. Все обходилось.

К тому же становилось поздно, встречающие маму люди поредели, мне, наевшейся и напившейся, пора было спать укладываться.

И вот я уже лежу в своей кроватке, которую очень люблю, потому что после детдомовских коек она вся какая-то домашняя, нежная, с чудесной небольшой пуховой подушкой и мягким и легким одеялом в пододеяльнике… Кроватка стоит в единственной жилой комнате, в которой живут бабушка, и моя тетя с мужем, и младшая двоюродная сестра Алька. Но все взрослые толкутся на кухне и продолжают долгий свой и неинтересный разговор про все, что случилось за те годы, пока мама сидела в лагере. А сестра моя Алька давно уже спит в своей совсем детской кроватке с веревочной сеткой, чтоб не вывалиться. Моя-то постелька, хоть и небольшая, но совсем как у взрослых… И вот я лежу и смотрю на длинную, будто ножом прорезанную, светящуюся щель в двери на кухню и жду, когда все закончится, и мама ко мне придет, и сядет в ногах, и я спрошу у нее — что в тех двух сундучках-чемоданах, что она принесла с собой?.. Как-то так надо бы спросить, чтоб не показалось ей, что я жду подарков. Нет, то есть я, конечно, жду, но гораздо больше меня просто разбирает любопытство. Потому что я люблю вещи. Потому что по ним я, как следопыт, могу разгадать жизнь, которую я еще в глаза не видела, но которая может случиться со мной. (Я уже знаю, что у каждого мгновения есть продолжение и что мне предстоит Жизнь.) Так, когда из детского дома меня бабушка привезла на эту квартиру, я никак бы не поняла и не вошла в здешнюю жизнь, если б не ящички в кухне со всякой деревянной и скобяной всячиной, не комод в комнате, не ковер с оленем на стене, не герань на окошке, не металлическая шкатулка с тройкой лихих коней на крышке, полная ниток мулине, деревянных грибочков для штопки и разноцветных пуговок, не бабушкина швейная машинка с пронзительно прекрасным именем «Тевтония» и с золотым кудрявым узором на черной перегибчатой талии… Мир вещей — отражение прошлого, в котором я никогда не бывала, и будущего, в которое любопытно же заглянуть!..

Мне хочется спать, глаза слипаются, но вот все-таки мама входит и садится на мою кроватку, в ноги ко мне, и я чувствую ее легкую руку на своем колене, запах табака, которым вся она пропитана, и еще какой-то восхитительный и горький, отчетливый и безымянный запах… И вот я шепотом спрашиваю ее, но совсем, совсем не о том, что планировала. Я вдруг

спрашиваю ее с гаденькой, фальшивой интонацией «хороших детей»:

— Мама, ты всегда будешь такая старенькая? Или потом помолодеешь?

Мама не отвечает. Она молчит. Слава богу, я не вижу ее лица. Но ее начинает потрясывать, дрожь передается через матрас мне, и вот короткий раскат сдавленного то ли рыдания, то ли смеха вырывается из маминой груди и горла. Нет, все-таки она смеется… или плачет?.. Я жду в страхе. Нет, я не готова к встрече с этой женщиной, я ее не ждала. Но что это за боль в моем… не знаю, в чем. В голове? В животе?.. Где во мне то место, которое так тонко, так неуловимо болит, что хочется плакать, и я задыхаюсь, и, кажется, сейчас исчезну. Какой ужас!..

Но мама наконец успокаивается и говорит низким своим хрипловатым голосом, похожим на родной, бабушкин. Она говорит:

— Девочка моя, не бойся, это я просто очень устала. Я потом стану моложе. У меня просто болит душа, и у тебя она, наверное, тоже болит. Это пройдет. Мы будем жить очень весело и счастливо. Как никто никогда не жил! Все будет чудесно, вот увидишь…

Много после я никак не могла понять, откуда во мне взялся тот дурацкий, как бы наивный, вопрос. На самом деле фальшь и пошлость втираются к нам с младенчества, они подсказывают самые легкие, самые быстрые, но и самые постыдные, самые подлые способы уйти, сбежать, избавиться от настоящей жизни. Которая так часто бывает трудна, ну просто невыносима. И все-таки она лучше, чем эти уловки, эти глупые хитрости. Настоящая, откровенная жизнь содержит возможность ослепительного счастья. Очень, правда, редкого. Но пошлость и фальшь — ничего не содержат. Они пусты, как шутки идиотов, которые нет-нет да норовят подарить ребенку аккуратно свернутую конфетную обертку без самой конфеты.

Мне стыдно до сих пор за ту минуту, за тот мой вопрос. Но мама — она была на высоте. Она все знала про мою совсем еще маленькую и напуганную душу…

В общем, и тут все обошлось.

Мама поцеловала меня на ночь, и я сразу уснула. Во сне я всегда выздоравливала от всех болезней. И от стыда — тоже…

А чемодан оказался полупустым. В нем лежала перемена лагерного, убогого, но тщательно проштопанного и чистого белья, включавшего простые чулки, голубые панталоны, полотняный пояс с подвязками, бязевый бюстгальтер, две пары носков и нижнюю рубашку с кальсонной пуговкой у ворота. Была еще

вязаная фуфайка неопределенно-горчичного цвета и тапочки-тенниски, пахнущие зубным порошком. В отдельном пакете из желтоватой пергаментной бумаги лежали пахнущие скипидаром кисти и краски в тюбиках. Еще там был вонючий мешочек, туго набитый махоркой. Еще там был синий маленький томик Александра Блока, несколько исписанных общих тетрадей в дерматиновых обложках, пачка открыток, полученных в лагере. И еще какой-то рулон из бумаги разного достоинства — от обоев до ватмана. Еще — старинная чугунная чернильница-непроливашка без чернил с откидывающейся крышкой, похожей на богатырский шлем с кушаком. Все.

И еще подарок мне. Он плотно завернут в невероятно красивую тисненую золотом бумажку и обвязан золотым шнурком. Сама обертка была подарком, никогда я не видела такой роскоши. Эту бумагу и эту тесьму маме отдала одна литовская женщина, сидевшая с нею в лагере. Что это была за женщина и почему в лагере у нее оказалась такая красота — особая история. Мама же терпеливо ждала, когда я развяжу и разверну ее подарок.

От свертка пахло тем самым загадочным горьким и прекрасным запахом, который я почувствовала вечером. Это был почти пустой флакон «Красной Москвы». Лучшие и навсегда утраченные духи моей жизни. Та «Красная Москва» очень редко, но и сейчас продается в дешевых ларьках, пахнет леденцами и пудрой, она ничего общего не имеет с теми духами. Только «Шанель № 5» слегка напоминает их. Но запах маминого флакона был чище и проще. Запах судьбы. С ним можно было начинать жить.

II. «Над полями, да над чистыми…»

Роза, Яша и Белая Грива (1955)

Эта история случилась, когда я пошла в школу.

Мы с Яшей открывали новый учебный год, мой первый и его последний. Яша был лучший ученик десятого класса, а я была первоклассница с самым красивым бантом, мы были хорошая пара. Яша взял меня на руки, а мне в руки дали школьный медный колокольчик, с которым уборщица Маруся потом на моей памяти много лет обходила коридор и звонила под дверями классов, извещая о начале и конце каждого урока. Колокольчик был тяжел для меня, и Яша обхватил мой сжатый кулак своей горячей ладонью. Я запомнила это прикосновение, оно на всю жизнь сделало для меня Яшу близким человеком.

Он был красив. Крепкий, высокий юноша, в белой рубашке, с легко возникающей улыбкой на задумчивом лице…

Все это происходило на железнодорожной станции на Западном Урале, мы с мамой жили там в деревянном клубе, где каждый вечер собиралось практически все население станции и окрестных деревень. Так что я и до первого сентября того далекого года знала Яшу. Просто мне, шестилетней, и ему, шестнадцатилетнему, общаться не приходилось. Да и после нашего совместного школьного звонка мы ни разу с ним не разговаривали. Но я потихоньку, незаметно, как это очень хорошо умеют делать все маленькие девочки, наблюдала за ним.

Он познакомился с Розой при мне, это было в клубной библиотеке.

Розу я тоже знала, она участвовала в самодеятельности, пела, и особенно часто «Над полями да над чистыми». Голос у Розы был грудной, такой живой, такой переливчатый… Она еще в припеве как-то так делала глазами… «Ну, дружней, звончей, бубенчики, заливные голоса! Эх ты, удаль молодецкая, эх ты… (вот тут Роза делала паузу, подпирала щеку пальцем и стреляла глазками туда-сюда) девичья краса!»

Она тогда еще не была красавицей, были на нашей станции молодые женщины куда виднее. Роза была просто веселой, с яркими, почти рыжими волосами, которые она обычно небрежно закалывала узлом на затылке. А иногда не закалывала, волосы падали на плечи и слегка вились.

Много лет множество людей, вспоминая эту историю, говорили: «Она была старше его на десять лет». Я в те годы мало что понимала в возрасте, для меня они оба были большие, а я

была маленькая. Однако мы, маленькие, понимали в любви. Я — как локатор, как бинокль ночного видения — просто сразу же улавливала это, уж не знаю какое, излучение. А у Яши, за которым я ходила как тень, любовь вспыхнула внезапно, и я это видела. Он вдруг Розу, которую, конечно, уже встречал в клубе, в одно мгновение увидел всю, разглядел и вздрогнул, и открылся, и то, что он увидел, вошло в него, как солнечный свет.

Роза это почувствовала сразу, в ту же минуту, и была смущена. Но попыталась не придавать значения — ну, переглянулись с парнишкой, чего не бывает. Ну, будем дружить… Если получится…

Парнишка был не прост. Принц какой-то. Роза в свои полные двадцать семь Золушкой не была. Она была телятницей на совхозной ферме и очень свою работу любила, не работу, а своих маленьких — так она называла телят. Ну, пусть еще один будет маленький, Яша. А принцы — это не про нас…

Когда-то Роза была влюблена — в парня из параллельного класса. И он ее вроде любил, и однажды, в белую ночь, в июне, они согрешили на сеновале фермы. Роза созналась своей матери, за что получила по физиономии, но не обиделась, понимала, что дура и виновата. Они с тем парнем собирались пожениться, но в августе пришла повестка, в сентябре он ушел в армию и вот уже сколько лет не появлялся. Остался где-то работать и жить, и, скорее всего, женился.

У Розы были еще мужчины, поговаривали даже о ее романе с нашим клубным баянистом, недаром она эту песню про бубенчики все пела… Не знаю. Историю о Яше и Розе вспоминали и обсуждали на все лады впоследствии много лет, и верить всему нельзя, скорее всего, много болтали лишнего.

Яшу сплетни не трогали, то есть буквально он их не замечал. Его тогда и пушкой было не пробить. Он был само счастье, сам солнечный свет. Ранить его могла только Роза, и то он бы ей все простил. Даже нелюбовь. Но в том-то и беда, что и Роза заполыхала тем ослепительным счастьем, первую вспышку которого я увидела в клубной библиотеке среди скучного осеннего дня.

А потом их можно было встретить где угодно, идущими за руки, и Яше ничего не стоило вдруг, по сердечному порыву, взять нежно Розино лицо в ладони и поцеловать в самые губы, а потом и в глаза. И Роза, как завороженная, позволяла это проделывать на виду у всего поселка. И за это ее осуждали: ладно, Яша, но Роза-то женщина была взрослая.

Где они встречались и встречались ли наедине? Думаю, да, и, наверное, все на той же ферме…

Яшина мама была учительницей истории и обществоведения в старших классах. Она была строгая и красивая, и похожая на женщину с плаката времен войны «Родина-мать зовет», отец Яши погиб на той войне. Яша был ее единственный сын, мальчик очень способный, прекрасно знал историю и литературу. Конечно, он должен был стать историком, литератором, юристом или военным. Он и сам так когда-то думал. А теперь он не думал ни о чем, кроме Розы. И о строгой своей прекрасной маме — не думал. Только о Розе.

А Роза вообще ни о чем думать не могла. Она даже в самодеятельности петь перестала. Она только сияла в лучах любви и стала ослепительно красивой женщиной. Все это видели.

У Розы тоже была мама, и отца Розы тоже убило на войне. Мама, как и Роза, когда-то работала на ферме, а после войны пошла по профсоюзной линии и стала ходить в пиджаке и платке, как та женщина на плакате про Родину-мать. Хотя была она и не такая крупная и красивая, как мама Яши. Но лицо у нее было твердое, умное и нос с горбинкой.

И вот эти две матери встретились. И поговорили.

Каждой из женщин было о чем волноваться. Яшина мама боялась, что сын женится на необразованной Розе, которая старше его на десять лет, сам не получит образования и загубит свою жизнь. Мама Розы думала, что ее шалава-дочь родит безотцовщину и будет всю жизнь маяться одна с ребенком, спать с веселыми пьяными и женатыми мужиками на ферме и, забыв про совесть, губить свою бесшабашную жизнь.

Обе матери любили кино и книжки, конечно, знали историю про Ромео и Джульетту, помнили про вражду их родителей, приведшую к беде, и поэтому, не испытывая друг к другу никакой симпатии, решили поговорить.

Они договорились о том, что Яша должен продолжить образование, а Роза не рожать ребенка. И поскольку Яша совсем еще мальчик, то Роза должна, наконец, понять, что отвечает не только за себя, но и за него. Она должна его пожалеть. Но не как шалава и сучка (так сказала Розина мать, а не Яшина), а как взрослая женщина и будущая мать сыновей и дочерей.

Вот с этого разумного разговора и началась беда.

Роза, получив в очередной раз от матери по физиономии, выпив с баянистом бутылку водки, опухнув от слез и чувства вины, сказала своему Яше, что все, хорошенького помаленьку, что он ей надоел, сосунок, и пора ему подумать об учебе. Яша не поверил. Он стал Розу смешить, дал ей выплакаться на своем мальчиковом, но крепком плече, вытащил из нее весь разговор с ее матерью и пошел объясняться к своей. Его мама была

женщиной умней умного и куда начитанней Розиной мамы. Она рассказала Яше о его долге перед памятью отца и перед Родиной, наконец, перед любимой женщиной и будущей семьей. Яша погрустнел и задумался. Но солнечный свет, которым была для него Роза и которым он был переполнен, еще сиял в нем. Он пообещал матери учиться дальше, действительно перестал пропускать уроки, а с Розой стал ходить только в кино. И вот тут мы снова с ним совпали, потому что я в кино ходила все время, каждый день, на все сеансы. Сеансов было то два, то три в день. Утром на поезде привозили несколько грубо грохочущих помятых металлических коробок с кинопленкой, иногда мне позволяли перематывать «части» на специальной «перемотке» — делалось это, чтоб проверить, не драные ли части привезли. Конечно, они были с разрывами, и тогда мне еще приходилось склеивать кинопленку ацетоном — это было прекрасное занятие… Фильмы были часто трофейные или отечественные, но те, что запускались «вторым экраном» — в сельских клубах, как наш. И вот я смотрела кино по три раза за вечер, а некоторые фильмы еще и не по одному разу в неделю, если их почему-либо не увозили. В таких случаях зал пустел, но кино не отменяли никогда. Тогда в зале оставались только Роза с Яшей и я. И мне было слышно, о чем они говорят. Но я, конечно, этого не помню.

Помню только, что мы вместе и с огромным вниманием множество раз посмотрели фильм «Белая Грива». Не знаю, чей это был фильм и когда снят, но драным он был необыкновенно. Я собственноручно клеила его раз за разом, и на каждом сеансе он снова рвался и становился все короче. Это был фильм о мальчике и лошади. Мальчик жил среди жестоких мужчин в деревне у океана. И вот мужчинам досталось укрощать дивной красоты белую лошадь, которая не хотела им покоряться. В конце концов, она убежала и стала жить в камышах, в непроходимой топи. И однажды ее нашел мальчик. Лошадь — мальчик назвал ее Белая Грива — была ранена в ногу. Она никогда не подпускала к себе отвратительно пахнущих, шумных, наглых и грязных мужчин, но вот доверилась мальчику и дала ему перевязать ногу. А потом позволила мальчику сесть на нее верхом, и они все время проводили вместе. Тем временем мужчины, искавшие лошадь, выследили мальчика и Белую Гриву.

Этого следовало ожидать, и это было ужасно.

Кончался фильм тем, что лошадь унесла мальчика на своей голой белой спине к берегу океана, и они поплыли в ослепительно сияющий и бескрайний открытый простор. И осталось тайной — утонут они или спасутся.

Вот об этой тайне и говорили, наверное, Яша и Роза. И, наверное, Яша говорил Розе, что они выплывут. А Роза сомневалась и плакала.

А может, и наоборот.

Только Яша точно не плакал. Он был очень мужественный.

Настала весна, время экзаменов в школе. Яша засел, похоже, за учебники всерьез, я его не видела ни в кино, ни на танцах.

Роза же, напротив, похудевшая и неестественно веселая, в ярких штапельных платьях, на каждой неделе в новом, появлялась на всех танцах, ходила в кино и все время была в окружении местной и приезжей шантрапы. Наш клуб был знаменит по всей железнодорожной ветке, до самого Кунгура. Особенно славились танцы в парке: лучшая музыка — живой оркестрик с аккордеоном, гавайской гитарой и трубой, огромные березы, пахнущий свежей доской настил танцплощадки, гирлянды из окрашенных разноцветным лаком лампочек… Народу в пятницу, субботу, воскресенье съезжалось немало. Роза, окутанная ореолом порока и страсти, пользовалась успехом. Что-то отчаянное, что сияло в ее потемневших, обведенных черной тушью глазах, притягивало взгляды, волновало приезжих.

В июне начались экзамены в школе и грозы над парком с танцплощадкой. Танцы перекочевали в тесное фойе клуба. И от этого они стали еще более страстными, напряженными, жаркими. В тесноте полутемного фойе ныла гавайская гитара и рулады аккордеона уносили в пучину немыслимых и сладких страданий. В фойе царили медленные фокстроты.

Я скучала возле входа в клуб, под деревянными колоннами, подпиравшими фронтон, когда увидела Яшу, в его неизменной белой рубашке с распахнутым воротом. Он меня не заметил, он сейчас никого бы не заметил и не узнал бы, кроме, конечно, Розы. Он шел к ней с чем-то окончательно важным, глаза его были невыносимы, я бы не решилась встретиться с ним взглядом. Но пошла за ним. И вот он стал раздвигать толпу, как корабль, а я, быстро перебирая ногами, почти бежала в его фарватере, не видя ничего, кроме ног, карманов пиджаков, подолов платьев, мусора на полу. И вдруг потеряла Яшу.

Больше я его никогда не видела.

Потом рассказывали: Яша нашел Розу и что-то ей сказал, а она засмеялась, не переставая танцевать со своим ничего не значащим кавалером. Никто не запомнил, что они сказали друг другу, да это, наверное, было и не важно. Бывают минуты, когда важны не слова, поэтому их никто не в силах припомнить или все

вспоминают по-разному. Яша позвал, а Роза не пошла, еще плотнее прижавшись к разомлевшему идиоту, приехавшему из-под Кунгура. Вот и все.

И Яша вышел. Кто-то видел, что он пошел на станцию, но и кассирша, и дежурный, и стрелочник божились, что не видели Яшу, что ни билетов он не покупал, ни на перроне не появлялся, ни в товарняки, притормаживающие на стрелках, не прыгал.

Была гроза, дождь лил не сильный, редкими порывами, в небе разливалось почти постоянное электрическое сияние, да и ночь-то была белая, июньская. Нет, никто не видел Яшу после того, как он вышел из клуба. Уже под утро Яшина мать заявила об исчезновении сына, его искали на сеновале телятника, в домах у друзей, позвонили в районный центр. Его искали год, и два, и три, и много позже, далеко от нашей станции на стене какого-то казенного дома я увидела маленький выцветший плакатик с розовой, некогда красной, надписью: «Ушел и не вернулся». На плакате была фотография Яши, на которой он выглядел совсем мальчиком. У него там было скучное лицо отличника, будущего юриста, литератора, учителя истории.

Нет, конечно, по такой фотографии найти его было нельзя.

Я тоже многие годы искала Яшу. Просто всматривалась в мужчин. И однажды в героическом кино я увидела подходящего. Фамилия актера была Урбанский. Я училась в пятом классе и написала на студию Мосфильм письмо актеру Урбанскому. Я написала, что знаю, кто он на самом деле, что настоящее его имя начинается на букву «Я». И что никогда не забуду, как он подавал со мною свой последний школьный звонок, как нес меня на руках и помогал держать колокольчик. Ответа не было. Вскоре на киносъемках в пустыне Урбанский погиб.

Мать Яши к тому времени давно уехала с нашей станции. А Роза вышла замуж за приезжего. На свадьбе она плакала и громко говорила всем, что, если родит сына, то назовет Яшей. Она родила девочку, а через год и сына. И, говорят, посмотрев на своего маленького в роддоме, сказала: «Нет, не похож». И назвала Толей.

И вот я думаю, вся эта история не случилась бы или случилась как-то иначе, если бы… Если бы не драный трофейный фильм, который Яша и Роза, и я посмотрели множество раз. Если б не эта странная лошадь, Белая Грива, которой доверился мальчик. А Белая Грива доверилась мальчику. И они уплыли в сияющий океан и больше не вернулись.

Утопленник (1957)

— Я тебя откуда-то знаю, — сказал он. — Ты кто?
— А ты кто?
— Утопленник, — ответил он и рассмеялся.

Медленно-медленно всплывает воспоминание с берега речки Бабки.

День солнечный, насквозь пронизанный студеным ветром. Еще цветет черемуха, и, стало быть, стоят черемуховые холода. Но солнце в наших краях (открытые Арктике холмистые пространства с лесами, полями, оврагами, заросшими той самой черемухой) — явление само по себе долгожданное и неустойчивое, может завтра снег пойдет. Стало быть, нет повода не искупаться. Сколько нас? Больше десяти. Больше десятка ребят. Самый заметный — Валя Кашапов, он черен, броваст, у него родинка над верхней губой. За это, а также за великолепное сочетание благородства и наглости моя мама назвала его как-то «Маркиз». Прозвищем не стало, но мне запомнилось. В нашей компании на речке Бабке есть девочки, хотя их немного. Нина Быстрых и Нина Парашютинских. И Аня Баранова. И я. Но я не в счет, я младше всех — на второй год не оставалась, в школу пошла в шесть лет… Я даже еще и не думаю, девочка я или кто.

А как же звали утопленника?

Вова. Вова Балков. Он постарше меня. Он в том возрасте, в том коротком промежутке, когда мальчик-ангел вот-вот превратится в гаденыша-подростка. Отчасти уже… У Вовы ясные, широко поставленные глаза, бледное лицо с бледными же веснушками, а губы красные и мокрые. Тем не менее можно сказать, что у него «надменный рот». Робкий взгляд и надменный рот…

Мужчина, который сидит прямо передо мной в вагоне поезда, дороден, слегка пьян и добродушен. Но я узнаю его, это действительно он, утопленник, Вова Балков. Губы красные и мокрые. Но уже не скажешь, что у него надменный рот.

— А ты Анка-Баранка! — И я с изумлением понимаю, что он путает меня с Аней Барановой. И внезапно вся история об утопленнике выливается на меня, как ушат воды из той самой речки Бабки…

«Утопленник» — так называлась игра. Игра была абсолютно проста и держалась на одномединственном запрете. Практически все настоящие игры так и устроены, они запрещают что-нибудь простое, естественное. Футбол запрещает прикасаться к мячу руками. А ведь что может быть естественней — схватить мяч руками. При чем здесь ноги, почему — только ноги?

Потому. Что игра. Нет запрета — нет игры. Настоящей игры.

В «утопленника» — игра идеальная. Единственное правило в единственном запрете: запрещается дышать. Все остальное более или менее можно. Можно выпихивать соперника из воды. Но на это редко кто решается, силы надо беречь. Можно пытаться обманывать. Например, вынырнешь, когда никого над водой, схватишь воздуха, и — ныряй снова. Выигрывает тот, кто выныривает последним, он-то и становится «утопленником». И тогда он загадывает желание, и каждый участник игры обязан его желанию подчиниться.

Валя Кашапов был чемпионом всех игр в нашем классе. И, конечно, утопленником тоже всегда становился он. И загадывал ужасные, невыполнимые желания, например — съесть муху, а если не хочешь, то должен стать «рабом». Вова Балков был одним из рабов Вали Кашапова. И я как-то раз стала его рабыней, потому что отказалась украсть у мамы пачку «Беломора». Отказалась вообще-то потому, что мама курила «Север». Валя и не знал об этом. А я не сочла нужным объяснять. Отказалась — и все. Рабство, честно говоря, было номинальным, потому что Валька был человеком рассеянным и занятым. Рабы же, как известно, чтобы жизнь им медом не казалась, должны быть мучимы, а это требует от рабовладельца столько времени и внимания… Валька отвлекался, и наше рабство, словно в песок, уходило.

Теперь об Ане Барановой. У нее были русые косы и задумчивый взгляд. Это важно, потому что в те времена на танцах чаще других крутили пластинку, с которой сладкий и вкрадчивый баритон пел: «Я трогаю русые косы, ловлю твой задумчивый взгляд… Над нами весь вечер бере-о-зы, березы чуть слышно шумят… Бере-о-зы… Бере-о-зы… Родные березы не спят…» Летние танцы в Буртыме устраивали на танцплощадке в березовой рощице, вечера были долгие-долгие, светлое небо не желало становиться ночным, у нас уже глаза слипались, а родные березы все не спали и не спали… Вся наша компания полагала, что баритон поет про кукушкину рощу и про Аню Баранову.

Аня того стоила. В этой девочке, как в тихом омуте, было что-

то роковое.

Что не мешало нам при необходимости звать ее Анкой-Баранкой.

До Ани Барановой Вова Балков любил только одного человека — Валю Кашапова. Он был влюбленным рабом. В этом не было ничего порочного, в те времена никому и на ум не могло прийти, что пацан может как-нибудь порочно любить другого пацана, пусть даже с родинкой над верхней губой. Про «голубых» в Кукуштане не слыхали, а слово «педераст» хоть и произносилось пацанами довольно часто (оно звучало взрывчато и со свистом, как «п-пидарасс»), но не значило практически ничего, как и любые другие ругательства, без которых не обходился ни один нормальный, и даже доброжелательный разговор. Почему-то им, пацанам всех возрастов, обитавшим в диковатой нашей местности, необходимы были именно грязные, смердящие, практически (в конкретном разговоре) бессмысленные слова-вонючки, все про одно и то же, про то, чему не было названия в приличном толковом словаре. Про секс. И прежде всего, патологический секс. То есть какого в обычной жизни не бывает, очевидные примеры неизвестны, мерцают только смутные и чудовищные догадки…

Это был специальный язык не уверенных в себе, растревоженных, малолетних и взрослых самцов, какой-то свой код. Он помогал им освоиться среди себе подобных и выжить. Пацаны ругались, как волки, лисы, хорьки метят территорию. Что называется — ничего личного.

К любви и ненависти этот их язык не имел отношения, по прямому назначению — с прямым смыслом всех слов — он использовался редко, и больше не пацанами и не мужиками, а отчаявшимися бабами преклонных лет…

Когда же при ссорах дело доходило до крайнего края — до смертоубийства, до смерти одной из враждующих сторон, — наступала пора языка немногословного, сдержанного и даже чеканного.

Несчастная любовь (когда же любовь бывает счастливой, никогда) была явлением не редким в нашей среде, но всегда тайным. Вообще никаких слов. О любви Вовы Балкова сначала к Вале Кашапову, а потом или почти параллельно к Ане Барановой, сам Вова не то что им ничего сказать не мог, а вообще никому и никогда. Возможно, даже себе. Он жил как все, цыкая слюной сквозь редкие зубы и не слишком изобретательно матерясь. Но в то же время абсолютно тайно продолжалась его напряженная,

мучительная, бессловесная и безвыходная жизнь. Это было почище, чем игра в «утопленника». В игре если уж не выиграть, то можно было хотя бы все-таки вынырнуть и вздохнуть полной грудью. Вова в своей любви и проиграть не мог. Не мог вынырнуть…

Знала ли я все это в те далекие времена? Или только сейчас, когда встретилась в поезде с взрослым Вовой Балковым, меня вдруг осенило? Знала. Но и осенило тоже.

Каким образом я догадалась о Вовиной тайне, не помню. Но помню же я его лицо, тревожное, тонкое, умученное. Значит, знала что-то о нем, иначе не увидела бы и не запомнила.

Был еще один случай. Мы играли в городки той же примерно компанией, и Аня была с нами. Так вот, Вова что-то такое обидное сказал в мой адрес. Скорее всего, какую-то ерунду. Я не была скандалисткой. Но и подарков всяким обормотам не делала, так что когда он целился в любимую всеми нами городошную фигуру «ворота», я подошла к квадрату, качнула ногой городок, и «ворота» развалились. Конечно, Вова стал материться, брызгая слюной и бегая за мной по площадке. А я, спрятавшись за большой Аней Барановой, пропела известную дразнилку: «Вовка-морковка, спереди винтовка, сзади барабан, на пузе таракан…» Он и правда был похож на бледную северную морковку…

И Аня Баранова засмеялась.

А смеялась она редко.

И тут с Вовой произошло что-то чудовищное. Такое я видела много позже в фильме об оборотне, в котором играл Джек Николсон. Вова Балков в точности так же превратился в зверя, и я, действительно испугавшись, бросилась бежать. И сейчас помню всеми поджилками, как уже далеко-далеко от городошной площадки несусь по деревянным мосткам через болотце к дому Нины Парашютинских, а за мной с битой в руках несется Вова Балков, чтобы убить. И доски под ногами подскакивают в такт его прыжков. А я не чую ног (это очень точное выражение). Вот калитка уже прямо передо мной. Заперта или нет? Открыта! И я захлопываю ее за собой, а свистящая, со свинцовой блямбой на конце городошная бита, с треском ломая штакетник, брякается в закрытую калитку… Как же я могла не догадаться о Вовиной тайне!

История с битой случилась, скорее всего, в сентябре — трава на болотце была, помню, желтой… А к маю мы с Вовой Балковым и не думали о ссоре. Пронесло. Мы очень даже неплохо относились друг к другу. И ходили вместе в кино, и играли в

«казаков-разбойников» в одной команде, и вот пришли на Бабку.

Я хорошо помню ритуал наших купаний. Вначале все раздевались по разные стороны куста, повисшего над водой, пацаны до трусов, девочки до трусов и маек. В самом процессе раздевания было что-то крайне волнующее и интимное, раздавался смех, с одной стороны куста хихиканье и шепот, с другой — гогот и непристойности. Но мы как бы не слышали друг друга. Потом мальчишки с воплями и уханьем прыгали с невысокого глинистого обрыва в омуток, в летние месяцы едва скрывавший макушки, а мы, девочки, аккуратно входили в воду чуть выше по течению, на отмели. Вода в Бабке всегда была ледяной, в жаркие дни июля она казалась еще холодней. Но у нас не принято было сокрушаться по этому поводу и даже обращать внимание.

В мае вода неглубокой речки поднималась после таяния снега, и поднималась много выше уровня своего песчаного ложа, достигала красной глины обрывистого берега, подмывала, растворяла эту глину, берег обрушивался, вода бурлила и закручивалась в воронки. Вода становилась «большой» и «красной», так мы это называли… Но все-таки даже в ветреные майские дни большая, красная и страшноватая вода притягивала нас к себе.

В тот день я не купалась. Болела? Болеть настолько, чтоб не купаться?.. Представляется мне, что на губах у меня выскочила простуда в виде розовых корост, и, наверное, меня знобило не только из-за холодного ветра, и, очевидно, к речке я потащилась, предварительно дав клятву маме — не купаться. Не сама болезнь, но клятва могла быть причиной моего некупанья. Я пошла как раз, чтоб убежать от болезни подальше, и потому еще, что у речки мы всегда непременно жгли костер и пекли картошку.

Печеная картошка весной, первая после зимнего перерыва… Я уже с трудом вспоминаю себя, свои поступки и их причины. Но какие-то картины и ощущения отчетливо встают иногда перед моим, как говорится, внутренним взором. И кажется мне, что в них скрывается вся правда моей, и не только моей, жизни…

Я не раздевалась в тот майский день вместе со всеми у едва подернутой зеленью ракиты, а сидела на кромке обрыва в стеганой куртке, перешитой из маминого американского жакета, у костерка, почти не заметного на весеннем солнце, но весело трещавшего на ветру, грела свою простуду и предвкушала вкус печеной картошки. И наблюдала сверху, как под майским небом, в студеной воде плещется моя компания.

Брызги долетали до меня, мальчишки плавали наперегонки, два пацана, как всегда, подныривали под Нину Быстрых и Нину Парашютинских, те визжали…

Только Аня Баранова плавала в сторонке, кружа вокруг омута под самым обрывом, на котором потрескивал костер и сидела я. Аня Баранова плавала ровными саженками, высоко над водой держа свою задумчивую голову с намокшими тяжелыми косами, распустившимися на концах.

— В «утопленника»! — закричал кто-то. — Айда в «утопленника»! — подхватили все и поплыли к Ане Барановой, к омуту под обрывом.

— Эй, на вышке! — крикнул мне Валя Кашапов. — Гляди, чтоб не жулили. И команду дай.

Я встала, подняла руку, и выкрикнула заклинание:

— Три-четыре!

Все мои друзья-приятели скрылись под водой. Только Аня чуть замешкалась, потому что отжимала зачем-то свои мокрые косы. И потому, что вообще отличалась неторопливостью.

Торопливостью отличился Вова Балков. Я еще только руку подняла, а он уже выпрыгнул своим тощим телом до пупа из воды и нырнул, мелькнув пузырящимися сатиновыми трусами, в самый омут. Считалось, что чем глубже нырнешь, тем дольше не вынырнешь. Не знаю. Вообще-то, у каждого была своя манера игры в «утопленника» и свои хитрости. Бывали умельцы, которые приспосабливали для дыхания соломинки, бывали и такие, что уверяли, будто умеют дышать ушами, для чего не ныряли вовсе, а только опускали лицо в воду. Когда в «утопленника» играл Валя Кашапов, все эти хитрости были напрасны. Он нырял глубоко, настолько, чтоб под водой сделать круг и собственноручно дернуть вниз двух-трех подозрительных ему хитрецов. И на этот раз он поступил так с одним из не пожелавших всерьез нырнуть пацанов. Сверху это выглядело восхитительно: как будто подкравшаяся щука утянула на дно утенка. Будь вода попрозрачней, то можно было бы увидеть, как длинное Валино тело мощно и быстро скользит под водой. Но я ничего не видела, сколько ни всматривалась. Вся компания исчезла бесследно.

Мне стало не по себе. Одно дело — играть в «утопленника» вместе со всеми, и совсем другое — вдруг оказаться в полном одиночестве и ждать. Когда вынырнут. Когда наконец вынырнут. Первой, и довольно быстро, над водой показалась голова Ани Барановой. Она спокойно пошла к берегу, снова отжимая свои распустившиеся волосы, заплетая их в косы. Она не стала

одеваться и поднялась ко мне на обрыв в мокрой голубой майке, заправленной в синие «пыжики» — девичьи спортивные трусики с резинками внизу.

Мы не были с ней дружны, это было невозможно. Она была из другого, взрослого мира. Она была ровесницей Вали Кашапова и в компании нашей очутилась из-за него, они водились (так говорили у нас в Буртыме) много лет, пересеклись когда-то давно, то ли в первом, то ли во втором классе. Валька продолжал оставаться в каждом классе на два года и в конце концов очутился в нашем. Он был компанейский парень и нас, малышню, не презирал. Во всяком случае, презирал не больше, чем весь остальной род человеческий. А с Аней Барановой они были ровня. Оба рослые, заметные. Одного калибра. Но Валька был огонь, порох, весь на виду, а старшеклассница Аня — сама себе загадка. И вот эта загадка села на корточки поближе к костру напротив меня. Я хорошо помню ее лицо, неправильное, слишком бледное и слишком широкое, со слишком маленьким вздернутым носом и большими карими глазами под высокими бровями. Она немного косила, это совсем ее не портило, просто трудно было поймать ее взгляд, казалось, она на тебя и не смотрит, а куда-то далеко, выше и дальше неинтересной твоей физиономии…

Тем временем над водой одна за другой стали появляться головы с выпученными глазами. Ребята выныривали, как пробки, шумно втягивали воздух и скорее-скорее спешили на берег, к ракитовому кусту, к разбросанной по молодой травке сухой одежде. А я все смотрела на воду и, наконец, увидела, как из центра омута вынырнул, просто вылетел, как торпеда, Валя Кашапов. Все — показалось мне, да и всем остальным, включая Валю Кашапова. Сейчас забросим картошку в уголья потухающего костра, и, пока она будет печься, а день становиться вечером, определим судьбу проигравших. Валька был классным утопленником, умел придумывать смешные и страшные наказания, не все из них были противными.

Но тут Аня, обведя нас странным своим, как бы невнимательным, взором, вдруг спросила:

— А Вова Балков?.. Он ведь еще не вынырнул.

Мы все уставились на речку. Стало слышно, как она течет, бурля и журча, торопясь куда-то и не замечая нас. Неужели где-то там, в этой равнодушной, большой и красной воде все еще прячется новый чемпион?

Мы вскочили и стали кричать: «Вовка! Вова-а-а!» Как будто он мог под водою слышать.

Тем временем Аня Баранова пошла по кромке обрыва вниз по течению реки, она шла все быстрее, потом побежала. Все потянулись за ней, и я тоже. И вот мы видим, как она уже у переката бросается в воду, и ее догоняет Валька. Они вместе тащат по мелководью что-то тяжелое, вяло обвисающее, неживое. Что-то отвратительно, навсегда холодное. Это не Вова Балков. Это не мог быть Вова.

И все-таки это был он. Утопленник.

Я на всю жизнь запомнила тихое явление смерти среди обыкновенного дня, среди мокрых и бледных, замерзших моих приятелей. Боже мой, какие они были живые по сравнению с Вовой Балковым! Его желтые веснушки стали серыми, кожа голубой, надменный рот почти черным. Ужасом от него несло на нас, живых. Однако Аня Баранова встала перед ним на колени, повернула Вову на живот и сложив ладони одну на другую несколько раз резко надавила между Вовиными лопатками. Чтобы вылить из легких воду — догадались мы. Вода не полилась. Аня Баранова снова повернула Вовино тело, и делала она это так ловко, так уверенно, что все мы ни на секунду не усомнились — все правильно. Так и надо обходиться с утопшими. Чтобы вернуть их к жизни.

Но Вова не возвращался. Он не хотел.

Он просто и до конца выполнил условие игры — не дышать. Он хотел победить Валю Кашапова. На глазах Ани Барановой. И победил. Ему больше нечего было желать.

Знала ли об этом Аня Баранова? Валя-то уж точно не знал и даже думать не думал. Он играл легко, выигрывал легко, и никого не любил. А сейчас, как и все мы, просто увидел смерть, в том числе и свою смерть. И остолбенел от любопытства и ужаса. Как и все мы. И только Аня Баранова о смерти даже и не подумала.

Аня велела перенести Вову Балкова к костру, укрыть его всем, что нашлось теплого из наших одежек, и мы это немедленно и в точности исполнили. Тогда она снова встала перед Вовой на колени и потребовала нож. У Вальки нашлась финка. Аня решительно и даже грубо развела Вовины посиневшие губы и финкой осторожно разжала стиснутые зубы. После чего, глубоко вздохнув, она склонилась над Вовой и поцеловала его в полураскрытый рот долгим, долгим, бесконечным поцелуем. Мы содрогнулись. Мы даже в кино ничего подобного не видели.

Аня оторвалась от Вовы, несколько раз обеими руками резко надавила в область его сердца, и, набрав побольше воздуху, снова

припала губами к его губам…

И мы увидели, как по мертвому Вовиному телу прошла как бы судорога.

Вот как, оказывается, на самом-то деле возвращались к жизни все эти спящие царевны из сказок народов мира… Они оживали от поцелуя любимого. Совершенно очевидно стало, как они оживали. Как Вова Балков.

В какой-то момент он весь напрягся и выгнулся мостом. Рот его широко открылся в смертельном желании дышать. Но у него не получалось. И тогда Аня Баранова, словно вспомнив что-то упущенное, схватила голубые Вовины руки и стала этими безвольными, как плети, руками делать как бы утреннюю зарядку: к груди — в стороны, к груди — вверх, и снова, и снова. Раздался свистящий звук. Это воздух, который загнала Аня Баранова в легкие утопленника, вырвался наружу, и когда Аня в очередной раз развела в стороны Вовины руки, воздух пошел обратно в легкие, это было почти дыхание. Аня продолжала делать с Вовой эту страстную лежачую зарядку, напоминавшую какой-то загадочный любовный акт. Тогда, впрочем, нам и в голову это не могло прийти. Аня вся раскраснелась, бисерный пот покрыл ее лицо и плечи, косы растрепались. Но мы смотрели только на Вову. Мы помогали ему, мы дышали до хрипоты, мы хотели, чтоб он пришел в себя. Чтобы мертвое стало живым. Это было бы чудом, это было невозможно… Но мы дождались этого чуда, и разглядели это чудо, и каждый запомнил его навсегда.

Бедная Белоснежка, бедный Лазарь из Писания, бедный Вова Балков… Возвращаться с того света — это такой немыслимый труд!.. Вот наш утопленник начал дышать, вот он открыл свои порозовевшие, помутившиеся, как майская Бабка, глаза, и, еще совершенно синий, захотел сесть, и даже вскочить, но тут же повалился снова… но это уже было не важно. Смерть, как будто ее и не было только что среди нас, куда-то проскользнула, растворилась, как бы спряталась, стала тенью. Буйная радость овладела нами. Мы даже про Вову забыли, а чего его было теперь помнить, чем он отличался от нас! Ну, чуть поголубее и совсем слабый, с кем не бывает! Мы были счастливы, потому что вместе с Вовой заглянули в смерть, но не умерли, мы прогнали ее из нашего тесного, горячего круга вокруг тлеющего костра, мы занялись делом, забросали в угли, подернутые пеплом, дряблые весенние картошки, и они рвались, как настоящие снаряды, поднимая стайки искр, и мы скакали в сумерках вокруг костра,

согреваясь, забывая ледяной страх собственной смерти, ведь она, смерть, в общем-то, одна, одна на всех…

А что же Вова Балков? И Аня Баранова?

Я не помню. Смутно всплывает какая-то ерунда — вручение медали за спасение утопающих. Не помню даже, кому ее вручали. Не похоже, чтоб Ане Барановой. Может, это вообще была другая медаль за другие дела? Странно, не помню.

Однако через двадцать лет, хорошо разглядев в поезде спокойную и добродушную рожу моего уже взрослого приятеля, могу только догадываться: едва ли не в тот же самый далекий майский вечер на берегу речки Бабки он забыл Аню Баранову. Аня спасла его не только от смерти, но и от себя. От того непомерного для его души груза — немой, огромной, разрывающей грудь, первой и последней — любви.

Молёное дитятко (1962)

Время от времени кто-нибудь да говорит: грущу, депрессия… Я слышу и не слышу. Потому что знаю, как далеко это «грущу» от пропасти по имени «депрессия». Когда депрессия, грущу не скажешь. Говорить неохота… Совсем.

Со мною один раз она случилась. Я осталась жива, но это стоило жизни другому человеку. Депрессия — смертельная болезнь. И, не исключено, заразная… Возможно, эти записки помогут выбраться из ее гигантской и сложной паутины какой-нибудь живой душе.

А история такова.

Мне было четырнадцать лет, стоял март, самое простудное время, когда я подхватила этот вирус. Ничто не предвещало болезни. Мы с мамой жили в те времена вполне, как все, и, как никто, счастливо.

Счастливо… Попробую объяснить, что это значило в нашем случае. Начать придется издалека, с маминого ареста, но это не займет много времени.

Когда маму арестовали, она только что забеременела мною.

К маме везде и все хорошо относились, она нравилась людям и плохим, и хорошим, и очень плохим. Доктор в тюрьме был неплохой человек. И он сказал: мы поможем вам избавиться от ребенка. (В те годы аборты были запрещены, но в тюрьме по этой части могла, оказывается, выйти поблажка.) Мама, услышав предложение этого неплохого, доброжелательного человека, рассмеялась. Что вы, говорит, доктор. Я очень хочу этого ребенка. И ни за что не буду от него избавляться. Доктор попытался моей маме объяснить, как обстоят дела. Вы же политическая, сказал он, вам дадут не меньше восьми лет, а скорее — гораздо больше… Когда вашему ребенку исполнится два года, его отнимут у вас. Каково ему будет в детских домах?..

Но и это маму не убедило. На что она надеялась?

С детства она была верующей девочкой, хотя с годами разуверилась. И все же во время разговора с доктором вспомнила она, как Мария рожала в хлеву, и не от «законного мужа», и в царство Ирода… Рожать почти всем и почти всегда не с руки… Мама меня хотела, вот и все. Вспомнила Богородицу и на всякий случай ей в тюрьме молилась. Так что я была «молёное дитятко».

Когда мне исполнилось два с половиной года, меня

действительно у мамы забрали. Я не помню не только о лагере, но и о детских домах просто ничего, совсем ничего. Странно, но так.

Но мама годы разлуки помнила. Тюрьма, как и смерть, — это прежде всего разлука.

Теперь вы можете представить, как мы стали жить с мамой на воле. Сначала счастье наше было неспокойным, мы ему не верили и не могли друг без друга ни минуты совсем. Совсем не расставаться было как раз очень возможно, потому что мы и жили обычно там же, где мама работала: в сельских клубах, провинциальных театрах, комнатке при интернате детей-инвалидов (мама учила их рисовать)… Потом все выровнялось, мама повеселела, я успокоилась, как-то все наладилось. Действительно, мы совершенно счастливо жили. Росла я девочкой здоровой, румяной, училась в школе «на четыре и пять» с вечной тройкой по химии, которая маму не расстраивала. Бог с ней, с химией. И детская моя компания маме нравилась.

Однако годам к четырнадцати мне досталось почувствовать беспокойство и одиночество.

Это естественное состояние в преддверии юности. Оно, возможно, даже жизненно необходимо. Душа осматривается. Бабочка или стрекоза — испытывают они тоску, прежде чем выбраться из куколки?.. Думаю, да. А как выберутся, принимаются разворачивать крылья. И человеческая душа, без отроческой тоски ей не удастся это сделать — расправить крылья. Если все хорошо — зачем совершать это странное, вовсе не очевидно необходимое усилие? Чего вдруг?.. И тогда, по аналогии с насекомыми, вместо синей стрекозы из души получается бодрый рыжий таракан, у которого ведь тоже есть крылья, только не развернувшиеся. Нет, без тревоги и тоски в юности нельзя…

У меня этот период проходил скрытно. Это было мое первое самостоятельное, без мамы, переживание. Как-то совсем не хотелось мне ее тревожить, я должна была справиться сама.

И вот на таком фоне произошла роковая встреча. В нашем пригороде было две школы. Как водится, ребята из «другой школы» были куда интересней, чем свои. Я училась в классе седьмом-восьмом, а мой нечаянно возникший предмет — в девятом-десятом. Он был неправильный. Он был с длинным лошадиным лицом, и сам очень и непропорционально длинный. Одевался в черное и облегающее, в маловатое по росту, и практически не снимал небольшую вязаную черную шапочку, которую натягивал по самые брови. Именно так все сейчас и

носят. А в те далекие годы — никто. Вот никто!.. Это очень правильное здесь слово. Всего и был заметен крупный нос на узком лице да глубоко запавшие глаза. А звали его Толя Кузнецов, Кузнечик.

Несмотря на легкомысленное прозвище, он был заметной и даже зловещей фигурой в «другой школе». Он неплохо учился, вернее, хорошо соображал и мог учиться лучше. Если бы хотел. Он был дерзок с учителями, высокомерен с одноклассниками, груб с девочками. Полный букет. И вместе с тем было в нем что-то беззащитное. Он всегда или почти всегда ходил в сопровождении двух-трех мальчишек с невыразительной внешностью, помыкал ими и раздражался. Но и зависел от них. Нуждался в подкреплении такого рода.

Познакомились мы на открытой танцевальной площадке, на которой я и моя ближайшая подруга Люся среди подтаявших потемневших сугробов самозабвенно играли в игру, никому еще не известную, — в бадминтон. Да-да. Мама подарила мне ракетки и волан зимой, и мы не могли дождаться лета.

Как-то мама умела разглядеть за год, за два до всеобщей моды разные любопытные штучки, всякие хула-хупы, транзисторные приемники на узких длинных ремешках, темные очки, фетровые береты, шариковые ручки, джинсы… Когда до нашей глуши дошло слово стиляга, я сразу поняла, что мама стиляга. И всегда была. Я ее дразнила, а мама смеялась и говорила, что стилягам за ней не угнаться…

Мы играли в бадминтон каждый день после школы. Кузнечик, не знаю как, нас заприметил, и однажды, проходя мимо, — мимо не прошел. Он вспрыгнул на заснеженную танцплощадку, где в глубине оркестровой раковины мы с Люсей гоняли волан. Игра для нас была не в том, чтоб подать неудобно партнеру и уронить волан на территории соперника, а, напротив, в том, чтобы волан не падал как можно дольше. Мы играли «свечками», от души наслаждаясь полетом легкого оперенного снаряда, сочувствуя ему, летая с ним вместе… В общем — девчачьи нежности. Это, видимо, и почувствовал Кузнечик.

— Кто ж так играет! — фыркнул он, отпихнул Люсю и поймал посланный мной волан. Его «шестерки» равнодушно и бессмысленно пялились на нас.

— Может, ты знаешь, как надо? — спросила отважная Люся.

— Может, и знаю, — ответил Кузнечик, забрал у нее ракетку и со всей силы саданул легкой ракеткой по легкому волану. Шарах!

И никакого результата, волан исчез.

Мы все оглянулись по сторонам. Нигде не видать… Оказалось, воланчик просто порвал струны ракетки и застрял в них.

Я промолчала. Зато Люся накинулась на Кузнечика с насмешками, обвинениями, заодно и угрозами, что вот мы скажем моей маме. А что моя мама?..

Кузнечик не стал ничего отвечать Люсе, он сунул ракетку с воланом в глубину своей черной куртки, за пазуху, и удалился со своими спутниками. Странные такие были ребятишки…

Мне происшествие не понравилось, однако я почувствовала, что это не конец истории. Только начало.

И действительно, через пару дней после шестого урока возле школьной раздевалки мы с подругой Люсей увидели Кузнечика в неизменной шапочке до бровей и черной куртке, застегнутой до горла. Заметив нас, он куртку расстегнул и вытащил из-за пазухи ракетку, абсолютно исправную. Теплая волна поднялась к моим щекам, а сердце раскрылось. Сетка была восстановлена с помощью обычной рыболовной лески. Я надеялась на нечто подобное. Но Люсе этого показалось мало. Она сказала Кузнечику: «Ты должен еще воланчик! И ты должен извиниться!»

Вот тогда и случилось.

Он достал из кармана помятый волан, странно так улыбнулся, вернее — оскалился, и негромко сказал:

— Никто. Никому. Ничего. Не должен.

Почему эти слова так меня поразили?.. Потому, что сердце было раскрыто?.. Но они поразили, навылет.

Кузнечик разжал руку, волан упал на пол, и вот я уже вижу черную удаляющуюся спину, и понимаю, что мир распался и время остановилось.

Так неожиданно началась моя болезнь.

Пожалуй, не столько слова ранили меня, сколько странный оскал Кузнечика и его стеклянный, мертвый взгляд. Таким я его вдруг увидела.

А ведь до того он мне приглянулся. Как Татьяне Онегин. Могла случиться первая, конечно несчастная, любовь… Но в Кузнечике обнаружилось нечто, к чему никакая литература, никакой мой детский опыт меня не подготовили. Безнадежный, окончательный, все разрушающий холод.

Онегину с его аристократической холодностью далеко было до Кузнечика. Молодой повеса Онегин был все же повесой, мало того, Татьяна разглядела в нем (далеко упрятанную в будущее)

возможность отчаянной любви. Любви именно этого молодого красавца именно к ней. Как всякая настоящая женщина, Татьяна знала будущее. Содержала его в себе…

Так я думаю сейчас. А тогда я была недовольной собой девочкой-подростком. Этот нелепый Кузнечик, этот Никто, беззащитный злодей — застал меня врасплох. Своими словами, своим голосом, оскалом, мертвым глазом, черной длинной спиной и походкой — попал, проник в меня, как осколок льда в сердце маленькому Каю… К несчастью, в тот момент я эту, когда-то свою любимую «Снежную королеву», не вспомнила. Четырнадцать лет — как раз возраст забвения сказок, отказа от детства. Они возвращаются, но много, много позже. Если возвращаются.

То, что со мной начало твориться, как я теперь понимаю, было даже похоже на любовь. Похоже в том смысле, что поглощало меня всю, и расширялось, и подчиняло, оккупировало весь мир. Да, это напоминало любовь… Вот только в моем случае знак перепутали. И свет на тьму. С совершенной очевидностью не любовь, а смерть предстала содержанием жизни, то есть единственным содержанием всего вокруг.

Вообще-то это был ад.

Так заболел когда-то Гамлет, когда «распалась связь времен». Но что мне был его опыт! Вот я сейчас зову на помощь себе, тогдашней — Шекспира с Гамлетом, Андерсена с Гердой и Пушкина с его Татьяной… Куда там! Все, что было построено во мне за огромное счастливое детство с мамой, друзьями, книгами, все связи — рассыпались прахом. Никто. Никому. Ничего. Не должен. Я поверила этому. Хуже, я не просто взяла на веру, я догадалась, а потом и убедилась, что это — правда. Почему я так всерьез догадалась?.. Потому, возможно, что и я, как Татьяна, содержала будущее. Я что-то там увидела ужасное… Но до будущего надо еще было дожить.

А мир распадался, разлетался на отдельные и все мельче дробящиеся атомы и элементарнейшие из частиц. С выделением огромной энергии тоски. Как у Демона в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова. Только не так красиво, как у Лермонтова, бедному Врубелю не на чем было бы и глаз остановить. Не на Кузнечике же. И уж, конечно, не на мне, в тот момент самой серьезной и несчастной из самых румяных девочек в мире…

Несмотря на все свое бросающееся в глаза злодейство, Кузнечик не был виноват. Как не был виноват Онегин в том, что

его полюбила Татьяна. Кузнечик был вдвойне не виноват, потому что я ведь его не полюбила.

Кстати, почему? Хотя бы тогда, на танцплощадке, когда он впрыгнул в нашу игру, и посмотрел мне прямо в глаза, внимательно, с угрюмым, хищным и холодным интересом. Не из-за лошадиной же морды я ему тогда не ответила взглядом на взгляд. В сущности, интересная была морда, ни на кого в округе не похожая. Часто как раз этого-то и бывает достаточно юной особе для первой любви.

Думаю, я не могла полюбить Кузнечика из-за его безымянных спутников. Он должен был быть одинок. У него должно было хватить духу на одиночество… Евгений Онегин в этом отношении Кузнечика «сделал». Но Кузнечику наверняка на это было бы наплевать, как на весь школьный курс литературы.

Кузнечик, я думаю, депрессией не болел. Он был просто вот такой тип, достаточно живучий. Но бациллоноситель… Он отдал ракетку, уронил воланчик, бросил небрежно свои ужасные слова… И ушел. И жил себе… А я потихонечку погибала, все глубже увязая в этом зыбком, распадающемся, иллюзорном мире, все подробности которого одна за другой выцветали и осыпались, становились серой пылью. Я и сама выцветала и исчезала, как одна из миллионов ненужных подробностей. Никому не нужных. И никогда. Да, конечно, маме… Но и мама, возможно, была лишь иллюзией.

Мое существование стало необязательным, скучным, тягостным делом. Каждое утро, когда я просыпалась, мне хотелось просто лежать, лежать физиономией к стенке, в надежде как-нибудь исчезнуть. Без объяснений.

Только одно обстоятельство, одна светящаяся, доставляющая боль, то есть все-таки горячая и не выцветающая, точка в моем сознании заставляла меня вставать и делать все как всегда. Почти как всегда. Стараться. Точкой этой была жгучая жалость. Моя любовь к маме в эти черные времена стала всего лишь жалостью, но и этого пока хватало, чтобы как-то сопротивляться.

До сих пор мама все про меня понимала. А тут на нее нашла благодатная слепота. Жизнь ей досталась страшная, но у нее было одно прекрасное свойство, она никогда не могла поверить в самое страшное. В то, например, что я могу умереть. И уж тем более она никак не могла бы представить, что я могу умереть от тоски. Что за чушь! Это даже не страшно, этого просто не может быть! Она иной раз вглядывалась в мою спокойную физиономию, я стойко выдерживала ее взгляд. И ходила в школу. И получала тройки уже не только по химии. Но все же не двойки. Вот только

в бадминтон я не играла вовсе.

Кончился учебный год, началось лето, короткое в наших краях и оттого обычно такое радостное. Но оно летело мимо меня, как ветер пустыни, только ледяной ветер сменился знойным.

Тем временем я, несмотря ни на что, быстро росла и вообще менялась. У меня, например, в то лето появилась девичья грудь. Вот тебе на. Я как-то не замечала, а когда заметила, то так удивилась, что, несмотря на депрессию, тайно провела утро у зеркала. Эти новости были мне совсем ни к чему, я смотрела на себя в зеркало как на женщину пожившую и совсем незнакомую, чужую. Это была не я.

К концу лета мне стало совсем невмоготу. Даже представить себе, что я, которая уже даже не я, должна буду ходить в школу, изображать усердие, вообще какую-то деятельность, было тошно… Однако уже назревала развязка этой мучительной и, казалось, безвыходной истории. Время — благословенная вещь, всему приходит конец. И если на том свете времени нет, то можно вообразить, что настоящий ад — это застрять, «влипнуть» в безвременье в неподходящий миг… Например, когда депрессия.

В последних числах августа, совершенно совпадая с моим внутренним состоянием, природа творила странное. Несколько дней подряд стояла удушливая духота, а в небе сгущались сухие и многослойные, с разной скоростью летящие тучи. Назревала и назревала гроза, и никак не могла наконец-то назреть, грохнуть, разрядиться. Все это чувствовали. Но я точно знала, что это не тучи летят, а летят мои последние дни и часы. И природа это знает. Все, я кончилась. Я была как сухая туча в этом августовском небе, и меня быстро несло во тьму, из которой нет возврата.

Но в то же самое время я покорно слушалась маму. А она начинала тревожиться. Может, из-за погоды. Она то укладывала меня спать ни свет ни заря, то мерила температуру, то поила липовым чаем. А субботним вечером позвала в кино. Видимо, решив, что мне надо развеяться. И вот я потащилась с мамой в кинотеатр, где шла какая-то трескучая, мучительная для меня комедия. В конце концов и она кончилась, и мы вышли из зала вместе с другими зрителями, почти все знакомыми. Была там и Люся. Был и Кузнечик со своей унылой свитой. Меня это не взволновало, хотя какой-то знак в этом был. Мир как бы сходился в одну, финальную, точку.

Пока шел фильм, опустились сумерки, и на улице зажглись

фонари. Мы шли с мамой под руку, она что-то оживленно мне говорила. Я не слышала. Мне вдруг стало все видно как бы со стороны, откуда-то сверху и сбоку. По улочкам поселка из пункта по имени кинотеатр расходились люди, самой оживленной дорожкой была та, что вела к станции. По ней мы и шли. Я отчетливо видела себя с мамой, а несколько сзади, шагах в двадцати пылил башмаками Кузнечик с «шестерками», а еще позади Люся шла с несколькими одноклассниками. Было почти многолюдно — пришло время вечерней электрички, с нее и валил народ. Во встречном потоке людей — из кинотеатра и со станции — не было ничего необычного. Только слышно стало, как пьяные, молодые, по-петушиному срывающиеся голоса грязно бранятся… Это ведь был обыкновенный уральский поселок, в грязной брани недостатка здесь не было никогда. Но я все так же словно сверху увидела этих подростков, и мне ясно стало — вот оно, это они!

Они рвались, не разбирая дороги, сквозь пыльные кусты акации, сквозь газон с лопухами, крапивой и золотыми шарами, и я знала, они говорили о смерти, что сейчас кто-то уж точно умрет, и они говорили правду, а грязная брань была просто привычкой. Они были маленькие и жилистые, с безумными глазами, они ни черта не соображали. Они были готовы убить. Мне было совершенно ясно кого. Я остро почувствовала ту самую, едва ощутимую, но совершенно реальную связь жертвы с убийцей, связь, о которой каждый что-то да знает, даже если не был ни жертвой, ни убийцей.

Мне не было страшно. Меня просто уже не было.

Но мама — была. И она была абсолютно собой, живой, настоящей. Она даже и не заметила того простого и очевидного факта, что нам навстречу идут убийцы, а уж о том, что убить должны меня, мама не могла и в самом страшном сне увидеть. Это было исключено из ее сознания. Она двигалась навстречу к этим четырем, как к несчастным, изуродованным и брошенным детям. Они быстро и неровно шли, поддерживая друг друга, один из них был в окровавленной голубой майке, с разбитым лицом, а крайний с другой стороны этой шеренги размахивал здоровой финкой. Финок моя мама насмотрелась в лагере, этот предмет хорошо ей был знаком и паники не вызвал. И вот, мама неожиданно опередила меня, подошла к ним, вернее, к тому, с разбитой рожей, и подстроилась под его неровный шаг, и стала что-то негромко и буднично ему втолковывать, что, парень, тебе надо промыть рану, что, кажется, глаз всерьез пострадал, что тут неподалеку живет фельдшерица Зина, что надо бы поскорее к ней… И странное дело, этот окровавленный как-то обвис и начал уже приотставать от своих, отлепляться. А остальные трое по

инерции, по набранному ходу уже миновали меня, но оглянулись на приятеля, которого мама уже как-то сама и поддерживала. Они мою маму просто не видели. Она была прозрачна для них. Она не была для них жертвой. Она почему-то не годилась вовсе. А я бы им очень даже годилась, но они меня проглядели, отвлеклись. И как морковку из грядки, они выдернули своего приятеля от мамы и рванули дальше, вперед, к кинотеатру. Их окровавленный был для них знаменем полка, его раны — поводом к убийству, любому убийству, кого угодно, кто готов умереть. Я была готова. Но они меня проглядели, моя мама и потеря знамени их отвлекли.

Как ни в чем не бывало мама снова взяла меня под руку, что-то такое сокрушенно говоря об одичании народа и что глаз-то парень действительно может потерять.

А я шла, не чуя ног, но уже спустившись с той черной тучи, одной из многих, зависших над поселком.

И тут мы услышали Люсин отчаянный визг, и кто-то закричал: «Зарезали-и!» И снова я услышала Люсин вопль: «Кузнечик! Кузнечик!..» И много, много людей побежали отовсюду, улица переполнилась народом, а мама, сразу все поняв, обняла меня за плечи и почти побежала, и потащила меня к дому, повторяя: туда нельзя, не надо этого видеть, тебе нельзя туда…

У дома меня вырвало, вывернуло наизнанку, а дома я потеряла сознание. Я болела три дня, температура была под сорок, и мама от меня не отходила, не впуская в дом никого, кроме фельдшерицы Зины, с которой дружила. Сквозь жар и дикую головную боль я слышала, о чем они шептались. Зина рассказывала, как умер Толя Кузнецов. На глазах у Люси и у моих одноклассников эти приезжие парни окружили его, и тот, что с финкой, без лишних слов сунул ножик Толе в печень. А Толя и не сопротивлялся, только улыбался как-то странно. (Я знала — как.) Парни своего раненого бросили — и врассыпную. Но их поймали, всех. Наутро они протрезвели в милиции и говорили, что ничего не помнят. Они даже и не знали, кто из них убийца.

А Кузнечик умер не сразу. Его отнесли на станцию, Зина его там перевязала, но, конечно, нужна была срочная операция. Ждали электричку, чтоб отвезти в город, но не дождались. Толя был почти до конца в сознании и очень, очень не хотел умирать. И все говорил фельдшерице Зине, схватив ее за руку: «Не отпускайте меня, тетя Зина, не отпускайте! Я еще молодой».

Толю хоронил весь поселок, обе школы. И я на похороны пошла, смотрела на то, как совершенно белый Кузнечик лежит, приоткрыв рот, в отвратительном плоском ящике, который я ненавидела. Моя депрессия прошла, как не было. И страшно — до темноты в глазах — я жалела Кузнечика, который так хотел жить,

только до самой смерти не знал об этом.

Слова Кузнечика про то, что никто никому ничего не должен, я, конечно, помню, и они не кажутся мне страшными, ничуть. Более того, я с ними вполне согласна. Действительно, никто никому… Только не я. Я должна. Потому что я молёное дитятко. И за меня умер Кузнечик.

Прощай, оружие! (1956,1966)

В юности я дружила с людьми, старше меня лет на десять-пятнадцать. Приезжала из деревни на электричке в город и приходила в их городские жилища с английскими замками в дверях. Я была юной начитанной деревенщиной, в городских жилищах мне много всякого недеревенского, помимо английских замков, открывалось. Жилища были иногда комнатами в коммуналках, иногда захламленными книгами и газетами полногабаритными квартирами с географическими картами в прихожих, иногда — общежитиями, со стенами, до половины окрашенными мутно-зеленой масляной краской, иногда подвалами и сараями… И всюду, кроме милых мне бесшабашных, безденежных и образованных людей, которых в конце века начнут называть шестидесятниками, меня встречал взгляд в упор Эрнеста Хемингуэя. Я его еще не читала. Его книги невозможно было достать. А портрет глядел отовсюду.

Наконец, ночуя однажды на полу у книжной полки, вдыхая городские противноватые, но и симпатичные запахи, я получила черный, толстый, рассыпающийся том Хемингуэя — почитать на ночь. Открыв его наугад на романе «Прощай, оружие!», я над ним и заснула. Потому что в своих странствиях из сельской местности в городскую и обратно смертельно не высыпалась… Странное дело, перечитав с тех пор — и не раз — всего Хемингуэя, я так до недавнего времени и не заглядывала в «Прощай, оружие!». А когда прочла, вспомнила один случай.

Мне было лет девять, то есть это были времена, когда Великая Отечественная война ушла в прошлое, но мы, дети, родившиеся после войны, еще долго чувствовали ее жар, видели ее отсвет. В беднейшем, просто ветхом деревенском быту, среди просторного и пустынного уральского ландшафта, под низким северным небом мы бредили войной, мы были в нее влюблены, мы играли в нее, погибая и совершая подвиги. Помню, как поздними, но еще светлыми, потому что весенними и северными, сумерками я сижу на развилке ствола огромной старой березы, что стоит на окраине села, и смотрю на запад, на полосу медленного заката, в полной уверенности, что оттуда надвигается враг. И я, ценою жизни, не дам его полчищам войти в мой поселок, на родную станцию Буртым. На плече моем туго натянутый вересковый лук… В этом воспоминании нет для меня

ничего смешного. Во мне и сейчас жив тот угрюмый восторг, близость битвы, одиночество, красная полоска заката под свинцовыми облаками…

Помню, кое-где еще лежит снег, а израненная за зиму снежным настом кора березы — там, внизу, у комля — сочится холодным соком. И вдруг я слышу, как над поселком раздается отчаянный голос моей мамы, это она зовет меня по имени, словно чувствуя, что мне грозит гибель в неведомом ей сражении. Я, очнувшись, обнимаю шершавый ствол, сползаю по нему на землю, прижимаюсь губами к порезу на березе, пью сок, и быстро-быстро бегу к поселку, и уже кричу: «Мама, мама, я здесь!..»

Той весной к нам приехала из города моя двоюродная сестра Алька. Мы жили на станции, на самой границе Европы и Азии, в двухэтажном бараке, сложенном из железнодорожных шпал. Алька же обитала в городе, в двухкомнатной квартире, да еще и с ванной. Она была хорошенькая, беленькая и чистенькая, с лукавыми глазами. Она была «городская». Что не мешало мне ее очень любить. Она была младше меня, училась во втором классе, и я с гордостью отвела ее в нашу школу. Ее родители, преподаватели пединститута, вместе уехали на стажировку в Москву, и Альке предстояло заканчивать учебный год в нашей маленькой и скрипучей, потому что деревянная, школе. Это было счастье. Мы и так с мамой жили душа в душу, если не считать моих одиноких вылазок на тропу войны. А тут еще Алька, смешливая, нежная…

Да, тогда мы еще с мамой вовсе не ссорились, даже из-за моих суровых военных походов. Возвращаться из них домой было так приятно, так славно гудел чайник на горячей плите, в которой полыхали дровишки, наколотые мелко, так сладко гремел рафинадный сахар в консервной банке из-под китайского абрикосового компота… Так громко и страстно мурлыкал полосатый кот, так тепло в свете затененной шелковым абажуром лампы мерцали корешки книг… читаных и нечитаных… А уж когда приехала Алька, мы каждый вечер хохотали до упаду, рассказывая всякие небылицы и сказки, играя в «балду», придумывая и вырезая наряды картонным куклам, дамам и господам, женя их друг на друге и разыгрывая презабавные семейные сцены в этих бумажных благородных семействах. Еще мы устраивали театр на мамином диване, и мама была зрителем, очень доверчивым и восторженным… Мы засыпали поздно, бывало, не слышали по холодным туманным утрам будильника, так что опаздывали в школу, а бывало, с маминого благословения прогуливали уроки… Мы были счастливы. В те времена мой

вересковый лук прозябал на гвозде, вбитом в дощатую дверь.

Но однажды наступило долгожданное тепло, холм над болотом, на котором стоял барак, просох и зазеленел, а болото под холмом покрылось свежими стручками травы-недотроги. Красноватая, жидкая, эта травка обладала одной волшебной особенностью: когда она созревала, ее стручки не терпели самого легкого прикосновения, они с легким треском взрывались, выбрасывая почти прозрачные крохотные семена… Но это начиналось позднее, в июне, а стоял какой-то неожиданно теплый апрель…

Наше окно на первом этаже барака было торжественно распечатано, освобождено от зимней замазки и заклейки, открыто настежь. И вот, повиснув на подоконнике, я с любопытством глядела, как соседки — старуха Рыжкова с внучкой своей Нинкой — натягивают от угла барака к дровяным сараям веревку, как они приносят от колодца цинковое корыто, полное тяжелых, мокрых половиков, и развешивают их на этой самой веревке. Половики в наших краях были двух родов — тканые из разноцветного тряпья «дорожки» и вязаные из такого же тряпья «кругляши». У Рыжковых половину их, соседней с нашей, комнаты занимал старый-престарый, просто вечный, деревянный станок, старуха всю зиму ткала на нем дорожки, так что стук станка не смолкал до ночи, а летом вязала большим деревянным крючком кругляши. Она любила сидеть на завалинке, греться на солнце, а руки ее без работы жить не умели, вот она и вязала. Когда не ткала и не вязала, старуха Рыжкова пила самогонку с подружками-старушками, а напившись, запевала страшные, настоящие, не художественно-самодеятельные, деревенские песни, голосом диким, нечеловечески сильным. И Нинка подпевала бабкам голосишком пронзительным, но точным, тянула и тянула дискантом первый голос. Обе они были рыжие, и Нинка, и бабка. Обе упертые и подозрительные. Мама с ними как-то ладила, без сердечности, но по-соседски терпимо. Меня старуха Рыжкова терпеть не могла. Потому что была я некрещеная (она меня звала — «головешка»), водилась с мальчишками, училась без двоек, но и без труда, как барыня. Да и просто не любила. Не нравилась я ей. А Нинке и вовсе никто не нравился. Она была ябеда. Ее уже я терпеть не могла…

И вот вижу, как соседки развешивают мокрые половики.

Странно, никогда мне не приходилось видеть соревнования лучников, однако круглые половики Рыжовых, подвешенные на прищепках к веревке, ведь и впрямь были похожи на большие и яркие мишени для лучников. Много лет спустя по телевизору показали, и я убедилась, как была тогда права…

Я стала собираться на стрельбы. Кроме вересового лука, требующего в выборе дерева и в изготовлении немалого мастерства (все мы делали свои луки сами), необходимы были еще и стрелы. Они у меня получались так себе, кроме того, они часто ломались или терялись, лук же мог служить несколько месяцев, пока смолистый ствол не пересыхал и не терял упругость.

Я отложила все дела, очистила подоконник от всяких там бумажных платьиц и приступила к делу, трудоемкому, вообще говоря, сугубо мужскому — к изготовлению стрелы. За печкой хранилось заветное сосновое полено без сучков, сухое и звонкое. Оно легко расщеплялось на лучину, и мама, разводя огонь, вечно норовила это полено пустить на растопку. Я прятала его в самую глубь запечья. «Отщипнув» отличную прямую лучину, я аккуратно острогала ее и заострила с одного конца. Другой конец следовало слегка надрезать вдоль и вставить куриное хвостовое перо, а лучше два. Это была самая тонкая операция, потому что надрезы ни в коем случае не должны были расколоть стрелу… Я обычно обходилась одним пером, а то и вовсе без перьев. Но в тот раз у меня все отлично получалось, и я сделала два надреза крестом, вставила два белоснежных коротких перышка, очень прочно обмотав стрелу вокруг оперенья красной шелковой нитью «ирис», купленной для вышивания гладью на уроках труда.

После этой, самой тонкой, я занялась самой трудоемкой операцией, требующей силы в пальцах и особого чувства металла. Опытная лучница, я не давала маме выкидывать крышки от консервов, именно они шли на изготовление наконечников. Из жестяной, довольно толстой, крышки вырубался треугольник, который затем с помощью пассатижей и небольшого молотка скручивался и превращался в очень острый блестящий наконечник. Все. Оставалось вставить стрелу в наконечник, и можно было идти расстреливать успевшие обтечь яркие кругляши.

Пока я готовила стрелу, Алька наблюдала за мной, одновременно кокетничая с Алешей Маловым, тощеньким и влюбленным в городскую девочку второклассником. Алька, повязав голубую косыночку концами вниз, уселась на подоконник, напустила томность в лукавые светло-карие глазки и заговорила со мною голосом громким, чтобы Алеше было слышно, на метеорологические темы. Потом она надела белую косынку узлом на затылок, потом вообще сняла косынку, распустила и снова заплела косички, поменяв бантики. Алеша сидел тихо на козлах у поленницы и не сводил с нашего окна взгляда, очень глупого и несчастного. Неподалеку от поленницы

со своими куклами расположилась и Нинка. Самый большой и яркий кругляш висел почти над ее головой. Широкие круги на нем чередовались — белые с красными. Я вспомнила, из чего половик был связан. Старуха Рыжкова собирала тряпье для своего рукоделья по соседям, брала и у мамы. Белые кольца половика, выбранного мною для мишени, были из наших старых, драных простыней, а красные — из длинной клубной скатерти. Ею много лет во время праздников застилали стол, что ставили на сцене для президиума. Потом скатерть залили чернилами, и я увидела на половике темные пятна тех самых чернил…

«Пора!» — решила я про себя, взяла новую, такую удачную, стрелу, сняла с гвоздя свой лук и вышла вон. Пахло травкой, опилками, оттаявшей, не совсем еще проснувшейся после зимы землей. Тепло было, и так беззаботно, так спокойно. Я отмерила от мишени двенадцать шагов. Почему-то двенадцать… И оглянулась. Нинка со своими куклами по-прежнему сидела почти под мишенью. И я крикнула ей: «Нинка, отодвинься! Стрелять буду!» Нинка посмотрела на меня своими выпуклыми, бесцветными, без ресниц глазами, которые ее же бабка называла бесстыжими зенками, растянула в наглой, как мне показалось, улыбке свой красный рот и показала язык. Похоже, она не очень-то понимала, что я затеваю. А затевала я дело, с точки зрения хозяев половиков, вообще-то, возмутительное. Я собиралась в них стрелять из лука. Проще говоря — дырявить. Но я была в ту минуту страшно далека от бытовых соображений. Бог войны смотрел на меня с легких невинных облачков на весеннем уральском небе. Я снова сказала Нинке: «Тебе говорят, отодвинься! Вон, сядь с Алешей на козлы…» Нинка развернулась, обнимая своего безобразного, помятого пупса с пластмассовой лысой головой, и молча смотрела на меня, все так же противно улыбаясь. Моя гордость, моя красавица стрела уже лежала на канавке лука. И вот я поднимаю свое оружие и натягиваю тетиву. Поднимаю, только чтоб пригрозить этой глупой Нинке. А она все ухмыляется, все таращит свои немигающие глаза. И тогда я решаю все-таки ее пугнуть, пустить стрелу выше рыжей ее головы. О, я знаю свой лук, я чувствую его, я в нем уверена… Я приподнимаю его повыше, посильней, еще чуть сильней натягиваю тетиву, чтобы уж наверняка, то есть ни в коем случае не угодить в эту упрямую Нинку. И вот я спускаю стрелу…

Ах, этот бесконечный полет, он до сих пор во мне длится! Стрела вращается, потому что идеально оперена, и наконечник сверкает, и, если прислушаться, можно уловить характерное гудение, сродни тому, что издают стабилизаторы бомб, или пули, вылетающие из нарезного ствола…

В тот самый миг, как только стрела пустилась в полет, я всем своим существом поняла, куда она летит. Куда с роковой неизбежностью попадет. Вот она, самая страшная, самая чудовищная секунда моей жизни. Никто не может сказать, орала ли я во все горло или это только внутри меня звучал пронзительный вопль: «Не-е-е-е-е-ет!..»

То, что произошло дальше, было цепью чудес. На периферии сознания я вижу, как упал с козел потрясенный Алеша, как стоит с белым лицом в проеме окна Алька. Потом вся картина мира немыслимо поворачивается вокруг какой-то оси, какого-то луча — это я делаю первое и последнее в жизни сальто, потом я вижу, что сгибаю колесом и ломаю вересковый ствол лука, хотя ведь этого сделать невозможно, на памяти моей никто никогда не мог сломать вереск!.. Но все это лишь на периферии, а в центре — то, на что смотреть нельзя. И все-таки я вижу, не могу не видеть: стрела торчит из Нинкиного глаза. Вот она молча, держась за глаз с торчащей стрелой, мелко семеня, бежит к бараку, и я, отшвырнув свой сломанный лук, на деревянных, непослушных ногах, бегу за ней. Нинка семенит не к бабке, а на второй этаж, там живет Зоя, крестная, «кока», как зовет ее Нинка. Я бегу за Нинкой, но время остановилось, на лестнице барака вся моя маленькая и такая счастливая жизнь расстается со мной. Меня больше нет. О маме я даже подумать не могу. Как и о Нинке…

И все же я чем-то была занята. Чем?.. Я, некрещеная головешка, молила кого-то всемогущего и милосердного о чуде…

И тот, кому я молилась, пожалел нас. И меня, и маму, и Нинку.

Когда я добежала до Зои, то увидела, что Нинка сидит на табурете лицом к свету, а стрела не торчит. Стрелы вообще нигде не видно. Зоя, Нинкина кока, оттянув веко крестницы, словно соринку пытается достать уголком белого платка из Нинкиного глаза, живого и невредимого… Вот чудо. Я подошла и вгляделась. Тщательно сделанный мной наконечник вошел между нижним веком и глазным яблоком, не поранив его, только на веке оставив ранку. В глазу у Нинки стоят розовые слезы, а на щеку из уголка глаза пролилась и повисла капелька крови. Ни Зоя, ни сама Нинка даже не обернулись ко мне. Я постояла и вышла.

Мои обмякшие ноги подкашивались. На лестнице я увидела стрелу, она как ни в чем не бывало лежала на ступеньке. Я подняла ее. И сломала.

Моя мама и старуха Рыжкова об этой истории так никогда и не узнали. Ни Алеша Малов, ни Алька, ни сама Нинка никогда ее не поминали. Истории как будто и не было. Лишь Зоя однажды, оказавшись рядом со мной в очереди за сахаром, произнесла, на

меня не глядя: «Ниче, не будет в другой раз зенки пялить. Ниче…».

А я больше никогда не стреляла из лука и не играла ни в какую войну. Игры кончились.

Потому что как всякий человек, побывавший на реальной войне, я постигла простейшую, очевидную истину: нельзя стрелять в человека. Стреляешь-то, может, во врага, а убиваешь себя. Это, я уверена, знает каждый солдат. Знал и Толстой, и Хемингуэй, знает каждый снайпер, а те, что хорохорятся, — либо врут, либо перестали быть живыми. Война убивает или ранит всех, даже тех, кто вернулся с войны.

Так что же они все стреляют, стреляют, стреляют?..

III. Птицы Грузии

Черный журавль и перемена жизни (1983)

Конец 1983 года был и морозным, и вьюжным. К тому же на меня свалилось одно из самых мрачных времен моей жизни. Какое именно — не скажу. Хотя бы потому, что те обстоятельства, которые всему предшествовали, помню плохо — смутно, не резко и не подряд… Но совершенно отчетливо помню вечер, к бедам моим непосредственного отношения не имевший. Разве что — не сиделось мне в бедственные времена дома, и в гости не ходилось, я все больше прогуливалась, то есть шлялась по улицам, не разбирая погоды.

Вот я иду мимо табачной фабрики, ветер гонит мне в лицо вместе со снегом сладкий, но горький, теплый и тошнотворный запах махорки. Иду в густеющих сумерках и вижу в свете редких, занавешенных вьюгой фонарей, как, словно в тоннеле, пробирается меж сугробов впереди меня престранная фигура в черном. Можно сказать — тень. Все было в ней странным. Худая, путаясь в длинной юбке, она, тем не менее, вытягивалась под ветром в струнку и несла на голове островерхую высокую шапку… как у Робинзона Крузо, пожалуй… Шапка была как кулек для семечек, но не из газетки, а из какой-то жесткой шкуры. Что за женщина могла отважиться на такое? Только очень непреклонная.

Шла она с решимостью наполеоновского солдата, бредущего лютой зимой из Московии в милую Францию… Но по нелепой ошибке перепутавшего запад с востоком и забредшего в Пермь…

Я почти догнала ее, а перегнать не могу — слева и справа стены сугробов. Плечи ее завернуты в шаль или даже в плед поверх пиджачка, из коротких обшлагов которого свисают длинные рукава свитера или кофты… Вьюга налетает с особенной силой, тощая фигура почти теряет равновесие, шаль развевается, рукава взлетают и мотаются по ветру. Вот она снова выравнивается, выпрямляется и идет дальше, проваливаясь в снежных наносах и выбираясь из них, высоко поднимая колени…

Не могу сказать, чтоб я ее жалела. Как-то уж очень это было и дико, и загадочно, и… красиво. На танец похоже. Черные журавли так танцуют, только не в Перми, разумеется.

Нездешняя птица.

Куда она? Куда это ей так надо, что она в колпаке своем, меж сугробов танцуя, все идет и идет? Ведь даже мне, хоть и тутошней, хоть и убитой горем (когда все до лампочки), хоть и в

овчинном полушубке, однако же мороз с ветром щеки щиплет, нос уже немеет, того гляди отморожу… И я принимаюсь растирать нос колючей варежкой, следуя в десяти метрах, но шаг в шаг за черным журавлем.

Справа потянулся утонувший в снегу сквер, птица моя остановилась, примеряясь, не рвануть ли по занесенной аллее напрямик. Но одумывается, продолжая свой путь по пробитому тоннелю вокруг сквера… И я за ней, за ней, как привязанная…

Шли мы, и пришли. Местечко оказалось обыкновенное, я про него слыхала, но не бывала прежде. Клуб Госторговли — так оно называлось: надпись по фасаду кирпичами выложена, выпуклый такой барельеф шрифтом Родченко. В тридцатые годы дом этот наскоро, из чего было, сконструировали местные конструктивисты. Захожу. Люди толпятся симпатичные и с мороза радостные — пришли в тепло, кино смотреть будут! Увидела я, как моя птица стоит у горячей батареи, разложила на ней пропитанные снегом длинные рукава, сушит перья.

Кассу открыли, народ построился к окошечку за билетами, встала и я в очередь, подумав — кино так кино. Через какое-то время слышу голос, глуховатый и гулкий, с внутренним эхом:

— Вы крайняя?

Я обернулась, чтоб ответить, и мы встретились клюв к клюву… ее — прямой, греческий, с высокой переносицей.

У меня щеки с мороза горели огнем, девушка была бледна той матовой бледностью, которая ничего общего с болезненностью не имеет. Лицо узкое, брови прямые и сросшиеся над переносицей… Восток, не восток?.. Глаза карие, круглые, строгие. И не блестят нисколько, никакого возбуждения. Над маленьким ртом родинка. Очень серьезно птица смотрит на меня. Чуть свысока, поскольку меня выше. Ну, и шапка-колпак.

Я разглядела и поняла, из чего он сооружен. В годы моего детства в каждой избе, во всех бараках валялись на полах и лавках козьи шкурки, невыделанные, жесткие. Коз в деревнях берегли, они молоко давали, а юных козликов из каждого помета выбраковывали, резали на мясо. Шкурки козликов — белых, пятнистых, рыжих — служили половичками. Вот из такого черного с подпалинами козлика и была сооружена эта зимняя шапка. Шкурку свернули фунтиком, скрепили в нескольких местах то ли дратвой, то ли проволокой — и порядок.

Я смотрела на сросшиеся брови и на шапку. Что-то мне это вместе напоминало… Нет, не Робинзона Крузо, разводившего на необитаемом острове коз.

— Не знаете, какой фильм будет? — спросила я.

Девушка снова посмотрела крайне серьезно и ответила:

— «Грузия-фильм». — «Не горюй!».

И я в тот же миг догадалась, кого мне напомнили ее шапка и брови. Не хватало только одной детали, да и смотреть следовало на девушку строго в профиль. Этот профиль в этой шапке я видела на обложке роскошной книги с переложенными папиросной бумагой картинками. Книга называлась «Витязь в тигровой шкуре». Небольшой овальный барельеф, выдавленный на кожаной обложке, был портретом автора — средневекового грузинского поэта Шота Руставели. Я рассматривала эту книгу в детстве, в деревенской клубной библиотеке. А в шапку-то над ухом поэта было воткнуто гусиное перо. Этого перышка девушке не хватало.

Главное я для себя определила: она грузинка и поэт. Купив билеты, мы вошли в зрительный зал вместе, сели рядом. Шапку она сняла. И начался фильм.

Навсегда я полюбила тех, кто этот фильм мастерил и кто в нем играл. И ту жизнь полюбила, ту местность, ту интонацию, печальную и насмешливую, легкую, бесконечно живую, простодушную, горячую, нежную…

«Не горюй!» стало с тех пор моим паролем, моей опорой в жизни. Это был фильм, на котором я перестала быть несчастной. Я плакала и смеялась, и снова плакала… Но плакала не о себе, вот что важно. Обо всех, о каждом.

О каждом человеке, который разглядел божий мир и, как все, должен будет в конце концов из него уйти, весь этот, такой подробный и светящийся мир потерять… Расстаться…

После сеанса мы почти не разговаривали. Она спешила на квартиру, где снимала угол. Но мы условились, что встретимся через два дня, здесь же, в клубе Госторговли, на фильме «Жил певчий дрозд». А еще через пару дней будет «Древо желаний».

После «Певчего дрозда» мы впервые поговорили. Ее звали Наталья Гончарова. Что не мешало ей действительно быть грузинкой и, конечно, поэтом. Откуда взялся в Кахетии, в городке Кварели Гончаров-папа, мне неизвестно. Классе в седьмом она стала писать стихи, как ей казалось, по-русски. Но это все же были стихи, потому что она, конечно, была поэт.

После школы Натали отправилась в Россию, в Москву, поступать во ВГИК, но не поступила. Не похоже было, чтоб Натали по этому поводу страдала. Она вообще была как сталь, как гибкая упругая сабля, укутанная от посторонних глаз в шали, юбки, колючие свитера и кофты.

Иногда сабля, иногда птица, иногда «цветок печальный, безуханный», как писал Александр Сергеевич Пушкин… Как это

могло быть с одним и тем человеком? Могло, раз было.

Трех наших встреч и трех грузинских фильмов оказалось достаточно для перемены судьбы. Нить сделала петлю, и узор ткани навсегда поменялся. Я не сразу это заметила. Но череда предстоящих событий уже построилась сама собой так, что свернуть было невозможно. Как в тот вечер, когда по узкой, пробитой в сугробах дорожке я шла за черным журавлем. Для начала произошло следующее: мне впервые в жизни предложили на работе горящую туристическую путевку. Конечно, именно в Грузию. На горнолыжную базу Бакуриани. Я эту путевку немедленно купила и через три дня вылетела в Тбилиси.

Очень памятное мне первое путешествие в горы я здесь почти что опускаю. В качестве короткой справки прилагаю своего рода документ, стихотворение, написанное прямо там же, у подножия вершины Кохта-1:

«От сумятицы, страданий, от терзаний „быть — не быть“ я лечу в Бакуриани сердце бедное лечить. Там, где горы, там, где воля, одиноко, высоко — попривыкну к старой боли, выпрямлюсь, вздохну легко. На гору, туда, где тучи тихи, влажны и белы, на подъемнике скрипучем подниму я пару лыж. На вершине холод — ох ты! — рук замерзших не согреть. Съехать с этой самой Кохты — все равно что умереть. Оттолкнусь. И снежный ветер слезы вышибет из глаз. Съеду, как живу на свете, в первый и в последний раз. Белый свет насквозь пронижет, навсегда меня пронзит… От инструктора по лыжам мне под вечер нагорит. Буду в ожиданье бури чаепитье затевать и инструктора Тваури дядей Колей называть. Он бранит меня несильно, мудрый, тощий, как лоза. И смеются его синие, его старые глаза. „Что ты, — скажет, — здесь же горы! Не горюй в твои года. Здесь и старость-то не горе!.. Да и горе — не беда…“»

На следующий после описанного события день в горах растаял снег, потому что пошел проливной дождь. И я вернулась в Тбилиси, там розы цвели и как будто праздник приближался… Таксист, подхвативший меня на вокзале, гнал по проспекту Руставели, бибикал встречным и обгонявшим и читал наизусть «Витязя в тигровой шкуре»… Я думала, мне достался особенный таксист. Как позже выяснится — нет, не особенный. Узнав, что я впервые в Тбилиси, он повез меня к правильному месту, к собору Метехи. Оттуда можно увидеть и понять Тбилиси весь и вдруг, внезапно и на всю жизнь влюбиться в него. Денег мой первый таксист с меня не взял, потому что «он был счастлив, что я буду счастлива». И уехал.

Я вышла на смотровую площадку к конной статуе царя Вахтанга Горгосали. Увидела сияющий в дымке город. В пропасти, у подножия той скалы, на которой как раз и стояли мы с Горгосали (копыто его коня было больше бедной моей, почти потерявшей сознание, головы). Безмолвно струилась внизу мутно-зеленая Кура. За нею, на правом берегу, Тифлисские серные бани, Старый город, а вдали, высоко на горе, над вечными жилыми кварталами — персидская крепость Нарикала. Четвертый век.

Тогда у меня и сперли первую сумку с вещами и с деньгами… Правда, в кармане куртки, под пуговкой, остался билет на самолет.

Возвращаться в Бакуриани доживать путевку под дождь?.. К Кохте, с которой я уже съехала в первый и в последний раз? Нет. В тот же день я отправилась на перекладных, т. е. бесплатно, через всю Грузию — в Пицунду.

Там в доме писателей отдыхал писатель Давыдов, мы дружили давно, он гостил у нас, я бывала у него в Москве.

Путешествие без денег к морю и к Давыдову заняло четыре дня — на автобусах, на дрезине, на попутках… Мне оно вспоминается грустным грузинским фильмом. Смешным. И с хорошим концом. Сюжет не нов — «путешествие иностранки с разбитым сердцем». Зато Грузия оказалась невероятной новостью. Иоселиани, Абуладзе, Габриадзе и Данелия — не обманули, в клубе Госторговли они подарили мне точное предчувствие, которое сбылось…

В конце концов я приехала в Пицунду, искупалась в ненастном, но теплом (по сравнению с Камой) декабрьском море и пошла к Давыдову в гости в Дом творчества писателей. Он спустился за мной в вестибюль и сообщил, что выпивает с другом-писателем, живущим в соседнем номере. Пригласил принять участие. В то мое время знакомиться было для меня вовсе не возможно. Давыдов не спорил. Он немедля накрыл стол с водочкой, огурцами и шпротами на балконе своего номера — для меня. А приятель сидел ровно за таким же столом совсем рядом, через сплошную асбестовую перегородку, на своем балконе. Юрий Владимирович вернулся к нему, и они там разговаривали, мне было слышно каждое слово, получалась как бы радиопьеса… Но иногда Давыдов вдруг обращался ко мне из-за перегородки напрямую. А иногда мой добрый хозяин перебегал из номера в номер ко мне, то есть на свой балкон — с кистью соседского винограда или с сыром, — чтоб чокнуться со мной и снова исчезнуть. Разговор же двух писателей не прерывался ни на минуту.

Мой первый грузинский кутеж…

Невидимый сосед шутил, о чем-то спрашивал. Да и мною интересовался. Но на знакомстве не настаивал. Голос у него был очень хорош, гулкий, глубокий, раскатистый… Я же помалкивала.

Когда сердце разбито, кутежи и разговоры — не годятся. Есть два способа как-то спасаться: очертя голову работать все равно какую работу или — путешествовать. Не останавливаться, не останавливаться, передвигаться в пространстве. Глазеть по сторонам и не оглядываться. Так что я с пирушки сбежала. Снова к морю. Уплыла в сторону Турции. Когда вернулась, Давыдов посмотрел на меня с тревогой, он, похоже, чувствовал, что со мной происходит. И сказал:

— Ну, ничего! Не горюй. Еще вспомнишь, как мы втроем выпивали на двух балконах.

Он был прав, сейчас вот вспоминаю… А тогда я все же спросила, кто был тот, с гулким голосом, третий.

— Андрей Битов, — ответил Юрий Владимирович.

Что ж, у меня в те времена было два самых любимых писателя — Сэлинджер и Битов…

Давыдов дал мне денег в долг, и я отправилась в Тбилиси. Уже не автостопом, а на верхней плацкартной полке переполненного веселого поезда. Двое суток прожила в Тбилиси, прошла его весь вдоль Куры, ночевала на автовокзале. В конце концов расстегнула пуговку на внутреннем кармане куртки, достала авиабилет и улетела в Пермь…

Едва ли не в первый же день на родине я обнаружила на рабочем столе прошлогоднюю газету с объявлениями об обмене квартир. Тогда квартиры были государственные, их нельзя было продавать, только обменивать. На ощупь помню газетный лист, ветхий, как будто специально для меня всплывший со дна колодца времени. Одно из объявлений было обведено карандашиком: «СРОЧНО! Меняется двухкомнатная квартира в Тбилиси на равноценную в Перми».

Этого не могло быть. Никогда. Я, пожалуй, испугалась. Единственное, что меня даже как-то успокаивало, — это что газета именно старая. То есть срочный обмен давно состоялся. Однако я набрала напечатанный в объявлении телефон. Ответил мне голос, который просто задохнулся — от того, что позвонили по старому объявлению. У них, оказывается, произошло ЧП — уже почти состоялся назначенный с уймой согласований обмен, уже мебель была отправлена из Тбилиси в Пермь… как все

неожиданно сорвалось, а больные старики-родители остались сидеть в Тбилиси в пустой квартире. И тут — я!..

Таким образом, в феврале 1984 года к неописуемому удивлению друзей, родственников и знакомых я улетела на постоянное местожительство в столицу Грузинской ССР г. Тбилиси. В последние дни перед отъездом у нас дома с утра до ночи, и ночью тоже, толпился народ: кто помогал собираться, кто мешал, и все что-то с собой приносили, ели-пили, особенно пили, кто чай, кто водку, кто валерьянку…

В этой круговерти она и пришла, Наталья Гончарова, уже без козьей шапки, потому что — оттепель. Мы с нею с февраля не виделись. Как она меня нашла?.. Нашла. Сидит в кресле, ничего не пьет, не ест и не выпивает, смотрит на все молча. Наконец, сказала: «Пусть будет». И добавила: «Икос».

Это «пусть будет» позже, в Тбилиси, я пойму вполне и оценю. Странное «Икос» — разрешение чему-то быть — звучало довольно часто. И означало оно, скорее — да будет так, аминь…

Перед уходом Наталья Гончарова написала на бумажке номер телефона, под телефоном имя — Гия Маргвелашвили. И сказала: «Позвоните этому человеку».

В феврале я с небольшим чемоданчиком улетела через Москву в Тбилиси. Все мои вещи тем временем уже ехали за Кавказский хребет по железной дороге «малой скоростью», контейнером. В Москве нужно было навестить Давыдова, в том числе, чтобы долг пицундский отдать. Он только что совершил свой прыжок в пустоту, жил в квартире без мебели на Юго-Западе. Юрий Владимирович не слишком удивился моему отъезду в Грузию, подумал и вручил мне несколько пачек трубочного табака «Золотой ярлык» для своего тбилисского друга Миши. Добавил: «Миша тебе поможет».

Вот с двумя номерами телефонов и «табачком от Юры для Миши» в чемодане я и оказалась в аэропорту города Тбилиси.

Перед отъездом из Перми мне пришло в голову раздать друзьям все мои теплые вещи. Но в феврале, в отличие от декабря, розы в столице Грузии не цвели, а валом валил снег. Дороги от аэропорта к новому своему жилищу я не знала, Московский проспект оказался на такой окраине, что дальше была только «Африка». Это не метафора: самая-самая окраина в Тбилиси и сейчас так называется. Ехала я на автобусе и трамвае в неизвестную сторону, сошла «не там», а после брела и брела в замшевом плащике, проваливаясь по щиколотку в снег, который

даже и не собирался никто разгребать, потому что сам растает. И вспоминала Наталью Гончарову, ее походы по пермским непомерным сугробам. Как ни странно, воспоминание придало мне силы и бодрости. К сумеркам я все же оказалась почти что в Африке, на Московском проспекте. И зашла в свой дом. На четвертом этаже позвонила в одну из трех дверей, открыла соседка и выдала мне ключ от моей квартиры…

Я думала, что вот сделаю ремонт, через три недели приедет мебель, еще через неделю привезут дочку, а на работу устроюсь дворником (в наших краях дворников всегда не хватало, ими нередко работали диссиденты, поэты и другие деклассированные граждане)… Ремонт я сделала, дочка приехала, но про работу я размечталась. Дворниками в Тбилиси полтора тысячелетия работали курды. В прошлом веке Пиросмани их писал: бородатых, в форменных фуражках, в белых фартуках, с лохматыми метлами, с очень печальными глазами. Они не изменились. Так бы они меня и пустили в дворники… мафия.

Но как-то все сложилось. По-другому, по-новому. По-тбилисски.

Я встретилась там и подружилась навеки (сейчас уже можно так сказать, потому что двадцатый век кончился, двадцать первый катит) с людьми, без которых жизни своей не мыслю.

Но началось все, как пожелала Наталья Гончарова, со знаменитого на весь русский поэтический мир литературоведа и редактора Гии Маргвелашвили. Он первый в Тбилиси заглянул мне в глаза, напоил меня чаем с вареньем. И довольно скоро опубликовал в «Литгрузии» мои стихи. А друг Давыдова Миша привел меня в редакцию Тбилисской «Вечерки», в отдел науки и культуры, и меня взяли «на договор», без зарплаты, но с гонорарами. За год я узнала весь город, буквально от подвалов до чердаков. Познакомилась с десятками, нет, с сотнями людей, занимающихся не только культурой и наукой. Познакомилась в разное время и при разных «исторических эпохах» с тремя режиссерами грузинских фильмов — тех самых, увиденных в клубе Госторговли.

А однажды на проспекте Руставели случайно встретилась с Натальей Гончаровой. Она вернулась в Грузию… И уже я познакомила ее с автором «Не горюй!» Резо Габриадзе, с которым меня познакомил, в свою очередь, Андрей Битов, а с ним мы по-настоящему познакомились все в той же Пицунде, в Доме отдыха писателей, но не на балконе, а в лифте…

Вот такую тропинку протоптала в сугробах грузинская девушка Наталья Гончарова…

Резо Габриадзе знал толк в птичках, он разглядел моего «черного журавля» и подарил Наташе драгоценный подарок: крупный, с утиное яйцо, осколок синего стекла — цвета ночного неба.

С тех пор я точно знаю: невозможное возможно вполне.

Случается такое в жизни человека и в жизни страны — сама история или судьба иссякают, а новое — не начинается. Как у Данте: Земную жизнь пройдя наполовину, ты очутился в сумрачном лесу… Но всегда есть надежда набрести на вестника и проводника. Как-то все же можно умудриться вглядеться в свою тьму: не появится ли путеводная звезда. И черный журавль может ею оказаться. Вот и доверься! Двигайся за странной новостью. Как ни наивно это звучит, но нету другого выхода. Судьба посылает вестников. Горе горем, тьма тьмой, война войной, но отчаяние недаром грех везде и во все времена, отчаяние сродни невниманию, недоверию, лени, гордыни и самонадеянности. Иди, не изменяя тому, что узнал от тех, кто тебя любил, верь тому, что понял в детстве из сказок. Дорога твоя сложится сама. Ты ее разглядишь, удивишься и скажешь:

— Икос. Пусть будет…

Кошка с собакой (1989)

Котенка назвали Вася, потому что надеялись, что это кот. Такое уже было у Фаины, очень давно, в детстве: приблудного котенка назвали Васей, а он подрос и котеночка родил…

Кошка — зимний и северный зверь, в заснеженной стране жителям просто необходимый. Представьте домик на какой-нибудь забытой богом станции, или комнатку с облупленной печкой в бараке, или даже двухкомнатную, в большом городе, квартиру с трехстворчатыми двойными окошками, зимой между рам вата проложена, а на вате розы бумажные… И что? Чугунные батареи в сильные морозы то лопаются, то просто не греют. А на носу Новый, скажем, 1963 год… Или 1983… Или уже двадцать первый век… На улице вьюга воет, что там делается вообще не видать, окна замерзли. Но дома своя музыка: чайник на плите поет, а на табуретке чистенькая кошечка сидит, мурлычет. Ночью деликатно так на кровать вспрыгнет и точно уляжется на подмерзающие под одеялом ноги. Согреет, а потом на одеяле персональную теплую вмятину — зимнее лежбище — непременно себе на всю ночь устроит. Так-то удобно, так спокойно… и человеку, и кошке.

В южных странах люди к ним равнодушны. Непонятно даже, как это в Египте кошка умудрилась стать священным животным…

На Тбилисской окраине в русских семьях кошки жили по старинной семейной традиции. Жили и просто во дворах, сами по себе. Порода у местных кошек такая: гладкошерстные, с маленькими головами, с острыми большими ушами, с зелеными виноградными глазами, едва умещавшимися на худых физиономиях. Они ходили по жарким улицам на длинных ногах и никогда не оглядывались на «кис-кис».

Черного котенка принес приятель юности, фотограф, приехавший в гости, чтоб поснимать Тбилиси. Котенок валялся в Старом городе посередь улицы, то ли избитый, то ли переехаанный машиной. И монотонно, безнадежно хрипел. Умирал. Когда фотограф стал складывать его в соломенную шляпу, котенок очнулся и завизжал, да так и визжал до самого дома, и дома не затих. Только ночью замолчал, то ли уснул, то ли умер. Но он выжил.

Фотограф, гостивший у Фаины, был мужик как мужик, выпивающий, сильно курящий и недавно из тюрьмы. В тюрьму он

загремел, потому что решил подзаработать. В Советском Союзе надумали поменять старые дорожные знаки на международные. (Что-то непонятное стало в стране происходить, кто бы знал тогда, к чему.) Сделали быстро, поменяли. Но объяснять советскому народу, что новые знаки значат — начальники не озаботились. А фотограф позаботился о народе, достал редчайшее издание новых дорожных правил с толкованием всех знаков и размножил фотоспособом. Дал объявление в газетку, и посыпались на него заказы. За что его и посадили на четыре года.

В гостях у Фаины фотограф по лагерной непобедимой привычке курил лежа, как бывало на нарах, и окурки складировал в консервную банку, которую прятал глубоко под диван на черный день.

Через пару недель он уехал, а котенок остался. Он запомнил своего спасителя на всю жизнь. Запомнил его табачный, окурочный запах, как и неимоверную боль, пережитую из-за этого человека. Акт спасения как раз и стал для спасенного самым страшным воспоминанием…

Что и говорить, повезло Фаине с котиком. Черный и злой, как черт, задние ноги и хвост парализованы, есть из миски не может, а станешь кормить пипеткой, норовит укусить.

Фаина терпела, терпела… да и полюбила это чудовище.

Как раз в это время замечательная женщина Этери нашла для Фаины собачку, Тому.

Этери была «жена литературоведа, сама литературовед», так она сообщала новым знакомым, цитируя Беллу Ахмадулину. Она жила в Ваке, на улице Барнова, в большой квартире, забитой до потолка книгами и стопками толстых литературных журналов, доходящими до потолка. Только на кухне у нее было уютно, хотя и попросту.

По утрам на Барнова из кухонь солидных «сталинских» квартир пахло чудесно. На эти запахи собирались бродячие собаки. Они проживали (теперь бы сказали — бомжевали) в Ваке со всеми удобствами и, кажется, никому не мешали. Тамара была в своей лохматой стае царицей. Она происходила от двух или трех благородных пород. Улыбчивая морда, крупные уши торчком, пышный хвост и белая шкурка ей достались от прекрасного шпица и отчасти болонки. Ну а длинное, просто бесконечное тулово и короткие кривые ножки (как и тонкий ум), — от крупной таксы. Карие бархатные глаза мерцали живостью ума и веселостью характера, свойственными всем трем породам.

Этери была женщиной горячей и доброй до безрассудства. Она взялась опекать Фаю и двух ее девочек, Катю и Лизу. Когда у

старшей, у Лизы, случился аппендицит, Этери немедленно позвонила всем знакомым, сообщая, что у русской женщины, вдовы, есть две дочки, так вот у старшей — аппендицит. Десятки людей отозвались с предложением помощи. Через два дня незнакомый молчаливый мужчина отвез девочку в клинику к лучшему детскому хирургу Грузии, и знаменитый батоно Симонишвили собственноручно сделал ей операцию… Лиза через неделю пошла в школу.

Вдруг через полгода звонит Этери. Рассказывает: у нее в подъезде повесили объявление, что всех бродячих собак через три дня будут отстреливать, рекомендовали сидеть тихо и не высовываться. Этери после инсульта и так на улицу не высовывалась. Но собаки, их же будут убивать!!. И вот она подумала, что парочку могла бы взять к себе Фаина с девочками, им веселее будет. Ну не пару, хотя бы одну. Тамару. Томочку. И немедленно. Пока не поздно.

На следующий день Фаина приехала в Ваке с длинным пояском от халата и еще с широким ремнем от старого замшевого плаща. Дворник уже заманил Тому в квартиру. Из пояса и ремня Фаина сделала подобие ошейника и поводка. И вот они с Этери заковали царицу Тамару в эти позорные оковы. Обе женщины волновались. Но Тома не стала вырываться, а ведь могла, и очень даже просто. Куда годились эти бабьи ремни-узелки. Смешно!..

Что-то с царицей Тамарой произошло странное. И эта странность запала Фаине в душу. Тома прижала уши, зарычала, вытянулась во всю свою длину на полу и попыталась стащить ошейник. Но вдруг замолчала и замерла в нелепейшей позе — голова на вытянутых передних лапках, бесконечное тулово прижалось брюхом к полу, а задние лапы твердо стоят, оттопыривая попу с бравым хвостом. Пауза затянулась. Фаина склонилась над собакой, заглянула ей в глаза. И увидела в них тревогу, но и покорность судьбе. И надежду! Фаина это очень хорошо поняла, у самой было: Тамара почувствовала перемену судьбы. То есть тотальную. Почти смерть, но с твердой надеждой попасть в собачий рай. Или как бы Фаине при ее двух девочках вдруг представился случай выйти замуж за миллионера. Пусть даже не швейцарского, а грузинского. Неужели бы она не согласилась попробовать?.. В том-то и дело, что Фаина — вряд ли бы… Однако Тома, будь человеческой женщиной и окажись в подобной ситуации, решилась бы. И еще она могла прикидывать, что всегда успеет убежать…

На самом деле — ей представился серьезный шанс стать домашней собакой. Тома это поняла. Она частенько видела и нюхала этих мытых сучек и беззаботных кобелей, от них пахло…

защищенностью. И любовью. Не собачьей, другой, высокой. Они ходили на поводках и в ошейниках, иногда их отпускали поиграть с Томой, и они отрывались по полной, как щенки, но стоило только хозяевам свистнуть или позвать по имени — они уносились с радостной озабоченностью в мир ливерной колбасы и высоких отношений.

Фая смотрела в Томины глаза, а там уже какое-то шикарное индийское кино крутилось… Фаина распрямилась и вздохнула. Она понимала, что вряд ли сможет вполне соответствовать собачьим мечтам.

Этери вытерла намокшие глаза, вызвала по телефону такси и выпроводила Тому вместе с Фаиной в новую жизнь.

На лавке перед подъездом, как всегда, сидела тетя Тоня. Она знала, что ее соседка сегодня привезет собачку. Стекло в подъехавшем такси было опущено, и первое, что тетя Тоня увидела, это голову шпица с торчащими ушами и веселыми глазками.

— Ай, какая собачка! — обрадовалась тетя Тоня.

Но когда открылась дверца и Тома стала выходить из машины, радость соседки сменилась удивлением.

— Да ей же конца нету!.. Ну, насмешили! Ей бы третью пару ножек приделать, чтоб живот по земле не волочился. Всю грязь с улицы в дом на брюхе приносить будет.

Фаина с соседкой мысленно согласилась, но слов тратить не стала. Она с трудом заволокла упирающуюся собаку на четвертый этаж и впустила в квартиру. Девочки были в школе, только котенок пискнул на застекленной лоджии.

Фаина сняла с собаки ремни. Тома, стелясь по полу, уставила нос по сквознячкам и безошибочно направилась на кухню, к холодильнику «Урал». Села перед белой дверцей, тявкнула и поглядела на Фаю. Та ее поняла и достала из холодильника кастрюлю с куриной лапшой. Определила Тамаре старую миску и налила в нее супу. Тома носом суп разрыла, расплескала, отыскала куриную ножку и уволокла в угол, под стол. Там она ее разгрызла и с чмоканьем съела в пять секунд.

«Ну, ладно», — подумала Фаина, вытерла пол на кухне, поставила на газовую плиту чайник и отправилась за Томой, которая пустилась исследовать свой, первый в жизни, дом. Гостиная собаке понравилась. Она виляла хвостом и одобрительно потявкивала. Перешла в спальню.

Предки — такса и шпиц — боролись не только за повадки Тамары, но и за ее красоту. Томины уши иногда вдруг начинали болтаться, а пышный хвост опадал и вытягивался. Именно так, в качестве таксы, она изучила длинным носом все углы спальни и

залезла под кровать. Выбралась Тома оттуда с резиновым мячиком младшей Фаиной дочки Кати. Затем посмотрела на Фаину, встряхнулась, немедленно превратилась в задорного шпица и подпихнула мячик к Фаиным ногам: поиграй со мной! Фая взяла мячик и бросила его в открытую дверь. Со счастливым, домашним лаем Тамара ринулась за ним…

В это время на лоджии картонная коробка с котенком свалилась с сундука, и несчастный завопил, заверещал, почти как в первый день своего появления в доме. Фаина перепугалась. Что опять стряслось! Тамара первая прибежала к Ваське. Она перевернула коробку, накрывшую котенка, и уставилась на это жуткое, поломанное, визжащее и шипящее существо. Самообладания и любопытства Тома не потеряла. Она была все же уличная собака; то ли еще бывало на улице, особенно с кошками… Дальше собака повела себя решительно. Она быстрым и осторожным движением лапы перевернула котенка кверху спиной, так, чтоб он не смог ее цапнуть за нос, затем подробно обнюхала его. И вдруг, улегшись рядом, Тома стала Ваську вылизывать. Она совершенно не обращала внимания на вопли и шипение, лизала его, как глупого щенка. И он затих. «Затих!» — подумала Фаина и пошла выключать чайник.

Когда она вернулась из кухни, то увидела, что Тамару рвет прямо на паласе посередине гостиной.

Потом Фаина узнала, что многие собаки не переносят куриных костей, но тогда она подумала, что Тома нализалась Васькиной шерсти. Это было не так. Примерно месяц Тамара, без всякого вреда для собственного здоровья, по нескольку раз на дню совала нос в коробку, шевелила, поворачивала Ваську, выкусывала блох и тщательно вылизывала. Зачем, почему она это делала? «Для жизни», — так про это догадывалась Фаина. Томке не нравилось, когда жизнь портилась. А в данном конкретном случае она знала, как дело поправить.

Васька действительно стал поправляться. Через месяц он ходил на четырех ногах, перебитых, неровных, но живых. Котенок хромал, а иногда валился набок. Но он сам ел из собственного блюдца в кухне, сам ходил в туалет, сделанный из пластмассовой кюветы, в которой когда-то Фаинин муж проявлял семейные фотографии… Тамара о котенке не всегда вспоминала, появились у нее дела и поинтересней, но Васька начал вылизываться и сам.

Однажды, угревшись на осеннем Тбилисском солнышке, заглянувшем на лоджию, Вася замурлыкал. Девочки и Фаина пришли его послушать. Но гладить себя Васька все еще не позволял, даже Фаине… И все-таки Фаина повеселела, позвонила Этери, рассказать про Томку, про ее милосердие, как она котенка

полумертвого выходила. Этери выслушала с глубоким удовлетворением и подвела итог:

— Вот и верь устоявшимся догмам! И кошка с собакой отлично уживаются вопреки предрассудкам. Куда им, в самом деле, друг от друга деться, рядом живут!..

Друг с другом кошка с собакой ужились. Но вот с Фаиной не очень-то.

Тамара не терпела поводков и тайно, по ночам отыскивала и сгрызала кожаные оковы. Вообще она все любила попробовать на зуб, особенно обувь. Наказывать, тыкать носом, ругать ее — не имело смысла. Привыкнув к дому и изучив окрестности, она, избавившись от поводка и от тех, кто ее пытался выгуливать— от девочки или Фаины, — убегала, куда глаза глядят. И возвращалась, когда хотела. Началась зима, то есть пошли дожди и, как обещала тетя Тоня, Томка собирала на свою бесконечную и провисающую до земли фигуру всю окрестную грязь. Нисколько не горюя по этому поводу, она приходила домой, бодро лаяла, а когда ее пускали, ловко закидывала себя на старинное кресло. На нее кричали и волокли в ванную. Вот это уж извините, этого Тома не желала терпеть никогда. Никакого душа, никаких ванн, ни за что! Она орала благим матом, гавкала, рычала, выла, даже почти кусалась и вполне царапалась всеми четырьмя своими культяпками. Ее все же мыли или вытирали лапы и брюхо мокрой тряпкой, но и это оскорбляло Тому до глубины души. После водных процедур она вытиралась о половики, о палас, о покрывала… Потом дулась на всех.

Но иногда дожди прекращались, земля подсыхала, собачья шкура белела, и Томка, стерва, сменяла гнев на милость — провожала Фаининых девочек до школы и порой даже поджидала их, чтоб проводить обратно домой. Фаина не спешила умиляться. Ей казалось, что все это была тонко продуманная игра: Томка понимала, что изредка надо совершать что-то общественно полезное, отрабатывать себе право на любую последующую наглость. Право же на любовь, Тамара была уверена в этом, она получила навсегда и задаром. «Вы же меня любите! Вот и терпите». Во всяком случае, так ее понимала Фаина.

Но постепенно, очень медленно, проявляя бездну характера, шаг за шагом, Фая Тому побеждала. Ненадолго. Каждый раз Тома снова отматывала свою вольную жизнь обратно, и все начиналось сначала.

У войны этой было одно-единственное ценное качество: на ней не соскучишься. Так они дожили до весны.

Котенок тем временем вырос, все в нем криво-косо, но

срослось, и он стал нормальным с виду тбилисским котом — маленькая головка, зеленые виноградины глаз, шерстка черная на солнце блестит. Однажды пришла в гости тетя Тоня, принесла Тамаре говяжьих сахарных костей с мясом, девчонкам пирожки с курагой… И заглянула — на всякий случай — Ваське под хвост. Посмотрела и сообщила Фаине:

— Котенок твой не Василий, а Василиса.

И добавила, тоже на всякий случай:

— Фаина, знай: я котят топить не буду!

Даже чаю пить не стала — так расстроилась. И еще добавила:

— А уж щенков и никогда не топила. Учтите!

И ушла домой.

Пока что Томка бегала налегке. Как-то она ухитрялась в пору собачьих свадеб прямых контактов избегать. В случае чего садилась на попу, а ухажерам улыбалась приветливо, во всю морду.

Но однажды Тамара привела домой законного жениха, претендента на жилплощадь.

Она пропадала дня три, погода была жуткая, Фаина, как всегда, ее ждала, выходить даже боялась, вдруг эта подлая тварь как раз припожалует. Действительно, когда Фаина все-таки пошла в магазин, то на обратном пути увидала, что возле подъезда крутится Томка. Но не одна, а с огромным кобелем, беспородным до полного безобразия. Грязнее Томы, да еще с репьями в патлах. Дверь в подъезд, как обычно, была настежь, и Тома, крутясь вокруг ухажера, все пыталась заманить его в эту дверь. А он явно тормозил. Возможно, вообще не был готов к законному браку. Фаина подошла и, к ужасу своему, увидела, что ухажер пришел «не с пустыми руками», из пасти этого волкодава свешивался огромный шмат требухи и кишок. Тома была крайне оживлена и попыталась броситься в элегантном прыжке Фаине на ручки. Это хорошо умеют делать шпицы, но таксы, слава богу, нет. Фаина увернулась. И падение в лужу не испортило Томе настроения. Она крутилась вокруг и заливисто, хвастливо тявкала. Фаина отлично понимала, что собака имеет в виду: «Вот я какая! Вот какой у меня кавалер! Жить будем вместе лучше прежнего, в потрохах купаться!»

Пес не разделял Томиного оптимизма. Он уселся на мокрый хвост, положив перед собой требуху. В сидячем своем положении пес был ростом с местного участкового Артура. От Томы и от Фаины он отворачивался, нервно зевал и вообще хотел провалиться сквозь землю.

Фаина решительно вошла в подъезд и захлопнула за собой дверь. Сзади раздался визг, просто даже нецензурщина какая-то.

А Фаина яростно поднималась на четвертый этаж и думала про Томку: «Ну, сучка! Что она о себе возомнила! И что она своему дурню наплела, интересно!..» В квартире, на кухне, все с той же яростью, Фаина расшвыривала по шкафчикам продукты, пока не увидела свое отражение в зеркале: красная, брови к носу… Не веснушчатая русская красавица, а актер театра Кабуки! И такой ее смех взял! Она даже ослабла и села отдохнуть на табуретку.

Васька пришла посмотреть на хозяйку. Посмотрела и ушла. Через некоторое время раздались за дверью повизгивания и тявканье. Фаина вооружилась новым просяным веником, открыла дверь, увидела, как в песне поется, «одну возлюбленную пару», и смеяться перестала. До чего же Томка очеловечилась! До полного хамства! Фаина с огромным чувством дала ей веником по обаятельной морде. Удивительно, но именно шуршащий просяной веник навел на собак священный ужас. Они кубарем покатились вниз, а Фаина неслась следом, огревая наглецов по спинам и вопя, как индеец в югославском фильме. Когда вся компания выкатилась во двор, все соседи, кто оказался дома, открыли окна — посмотреть на эту кутерьму. Веселились и рассказывали тем, кто опоздал к зрелищу, про Томкиного ухажера с требухой. Один из соседей его узнал, кобеля звали Жорка, и был он не совсем бродячий пес из «Африки». Он там, у ворот на мясокомбинат, был вроде сторожа-добровольца, не на пайке, но с теплой конурой. Воров он гонял — самозабвенно. И грузовики кусал за колеса из спортивного интереса… В Фаином дворе Жорка больше никогда не появлялся. И Тома слегка присмирела, на нее нашлась управа — просяной веник.

У Васьки была своя песня. Она все яростней ненавидела мужчин. Всех. Когда Фаина с девочками впервые торжественно вынесли кошку на улицу, она немедленно загнала на деревья случившихся во дворе трех котов. Затем, увидев мальчишку с палкой, Василиса выгнула дугой кривую спину и пошла, подвывая, вокруг парня, намереваясь зайти сзади. Мальчишка удрал без оглядки… Фаина больше Василису «выгуливать» не решалась, вполне хватало и Томы. Васька, кстати, и не рвалась на улицу. Сидела на лоджии, на листья акаций любовалась. А по вечерам вместе с хозяйкой смотрела телевизор. Фаина укладывала девочек спать, выгоняла Томку из старого кресла, та ворчала, но уступала. И вот белая собака в ногах у Фаины похрапывает, а на коленях черная атласная кошка мурлычет и внимательно кино смотрит. «Это же надо!» — думала Фаина, но гладить Ваську не решалась.

Редко, но приходили в дом какие-то мужчины — почтальон

Алик или слесарь Петрович. Все они были куряки и выпивохи. Вот тут-то Василиса и выступала во всей красе, так что даже Тома пряталась. Умела Фаинина кошка показать всем представителям вонючего мужичья, где раки зимуют. Она забиралась на приоткрытую дверь или на шкаф и со змеиным шипением кидалась на гостя сверху. Все, кто это единожды испытал, либо не совались вовсе, либо вначале стучали в дверь и просили: «Кошку убери! — И снова переспрашивали: — Убрала? Точно убрала?..»

Появился однажды у Фаины детский участковый врач, милый человек. Спокойный, почти не выпивающий, слегка курящий, холостой (с мамой и папой жил в Сабуртало), по имени Анзор… Всем хорош. И, видимо, понравилась ему Фаина. Ну и что?.. Да ничего! Васька все сделала, чтоб его отвадить. Только по телефону звонил…

Тем временем наступил Новый, 1989 год. Фаина, работающая русской машинисткой на дому, ничего особенно нового, если не считать проделок кошки с собакой, от жизни не ждала. Почти ничего и не случалось. Но однажды в феврале пришла без стука тетя Тоня и сообщила:

— Уезжаю я, Фаина. Помоги вещи собрать. Завтра машина придет.

Изумившись, пошла, конечно, Фая помогать, посуду в коробки укладывать. И узнала от тети Тони, что «и тебе, Фаина, следует из Грузии убираться, пока не поздно»… Новый год вместе с соседкой справляли — ничего она не говорила, никуда не собиралась. И вот оказалось, что квартиру тетя Тоня уже продала. И что на родине в Белоруссии домик прикупила!..

Сложили они все, что нужно, и выпили чачи на прощанье, хорошенько выпили под соленые огурцы, под ржаной русский хлеб с украинским салом, под чахохбили на горячее.

— Уезжать всем пора, Фая, я знаю, — повторяла тетя Тоня. — Ты вдова, я вдова, мы здесь не выживем, если что.

— Что — если что? — спрашивала Фаина.

— Откуда я знаю! — сердилась тетя Тоня. — Как я тебе могу сказать, если я это просто животом чувствую — пора!..

Поздно совсем, когда Фаина пошла домой, тетя Тоня вдруг вспомнила:

— Вот еще что, милая моя, хорошая!.. Отдай ты мне, ради бога, собачку твою, Томочку. Отдай!.. Я ей теплую конурку построю, зимой в хату пускать буду. Не жизнь ей здесь с тобой будет, а тебе с нею. Она от двух пород, ей и волю, и дом подавай. А в деревне это все есть. Еще козу заведу, им друг с другом весело будет, а мне с ними…

Фаину это предложение просто потрясло. Во всех смыслах. И

неожиданностью, и твердостью, и аргументированностью. Она, однако, нашла в себе силы спросить довольно гордо:

— Может, вам и кошку отдать, тетя Тоня?

Тетя Тоня не рассердилась и ответила по существу:

— Я и кошку непременно заведу. Но не такую, какие тут, а нашу, деревенскую, полосатую или богатку. Мне бы собачку, Томку твою…

Она заглянула Фаине в глаза, долго смотрела, и снова спросила:

— Отдашь?

Фаина молчала. И еще молчала. И опять молчала. И спросила:

— А девчонки мои что скажут? А Томка — она ведь привыкла только!

— Потому и говорю — отдай. А то ведь хуже ты перед всеми провинишься. Куда их всех денешь… если что?.. Отдашь?

И Фаина ей поверила. Окончательно.

— Отдам. На память тебе, тетя Тоня, о хорошей нашей тбилисской жизни — отдам.

— В полдень заберу, — сказала соседка строго и поинтересовалась:

— Она, сучка, хоть дома у тебя или где?

Тут они переглянулись, да и принялись смеяться, и смеялись долго. Чтоб остановиться, выпили по последней. И расстались до завтра, до полудня.

Утром Фаина отвела дочек в школу, а Томка продолжала похрапывать в кресле. Но когда Фаина вернулась, собаки нигде не было. Спряталась. Такое бывало, и это была игра. Фаина хлопнула дверцей холодильника, позвенела Томиной миской. Не помогло.

— Тома-Тома-Тома!..

Тихо все. Только Васька пришла, раз холодильником брякнули. Но Фаине было не до Васьки. Она пошла в спальню и с фонариком полезла под кровать. Там, забившись в дальний угол, сидела Тома и косилась на Фаю. Зеленые страх и тоска стояли у нее в зрачках, отражая свет фонарика.

— Чего ревешь, дуреха, к судьбе своей поедешь. Вылезай, вылезай, моя хорошая. Поесть перед дорогой надо.

Тома выползла из-под кровати. И поплелась за Фаей. И съела сардельку. И не повеселела.

В полдень Фаина вывела во двор тихую, на себя не похожую Тому. У подъезда стояла фура с белорусскими номерами. Тетя Тоня командовала солдатами, грузившими ее барахлишко, и разговаривала о чем-то важном с сослуживцем ее покойного

мужа, грузным полковником… вот они попрощались, даже обнялись. И тетя Тоня полезла в кабину. Она уселась, будто забыв про Томку. Но вдруг открыла дверь и крикнула весело:

— Тамара Батьковна! Домой пора. Полезай ко мне!

И Тома засуетилась, задергала поводок, а у Фаины защемило, заныло, задергалось сердце, как будто поводок был прямо к нему привязан. Она подняла свою собаку, взобралась на подножку и передала Томку в объятия тети Тони. Собака прижала уши и замерла на теплом животе вкусно пахнущей, но чужой женщины. Однако не могла эта псинка долго унывать! Только шофер повернул ключ зажигания и мотор затарахтел, как она встрепенулась, ушки встали торчком. И Тома внезапно лизнула старую мягкую щеку тети Тони. Фаина тоже расцеловалась с соседкой и, чтобы не разреветься, быстро слезла, захлопнула дверцу и пошла, пошла, куда глаза глядят…

Почти в тот же день стало вплотную надвигаться время, о котором говорила тетя Тоня. Все шло прахом. И собираться оказалось действительно — пора. Куда пора? Фаина, приходя на работу в издательство, стала внимательней слушать разговоры. Старые знакомые спорили меж собой и сердились всерьез. Раздор висел в воздухе. Зашла Фаина к Этери. Та выслушала о Тамариной перемене судьбы и сказала:

— Кто бы мог подумать? А ведь самое удивительное: отстрела собак так и не было… Не уезжайте, Фаина. Отстрела людей тоже не будет. Не может быть!..

Фаина решилась позвонить доктору Анзору. Он приехал. Поскорее проскочил за Фаиной на кухню и дверь за собой от Василисы закрыл. Выслушал очень внимательно про тетю Тоню и стал совсем не похож на себя самого. Был-то он человек легкий, одно слово — грузин!.. А тут серьезно и печально сказал:

— Знаешь, Фая, может, и правда — «пора». Даже я, не поверишь, уезжаю… Зовет меня к себе подруга школьная, в Берлин. Вот, вспомнила юность, да и меня, дурака…

Он взял Фаину за руку, заглянул в глаза виновато… Странно, она не огорчилась. Не до того ей было. Кроме того, когда на душе смутно, то любая ясность впрок. Анзор помолчал и продолжил:

— Слушай, Фая… грузины из Грузии никогда не уезжали. Даже в самые исторические, то есть самые жуткие времена. У нас больших эмиграций не бывало. Грузины всегда дома жили. Потому что нам дома — хорошо… Но и те, кто у нас селился — русские, армяне, осетины, евреи, курды, даже эстонцы!.. просто все — чувствовали себя в Грузии тоже вполне дома. Им было хорошо здесь, кому век, кому тысячу лет… И вот я, грузин,

собрался ехать в какой-то Берлин. Или не знаю куда. Потому что, вот как твоя тетя Тоня, знаю точно: пора. Когда в стране звучит из разных углов «Грузия для грузин», то терпеть это нельзя. Это позор, и он добром не кончится. Черные времена настают…

На следующий день Фаина позвонила своей сестре в Челябинск, договорилась, что приедет с девочками в гости на весенние каникулы.

Оставалось где-то пристроить Ваську. Попросила Анзора помочь, а уж он-то отлично знал Васькин характер. Но обещал помочь… Через пару дней нашел знакомый подвал рядом с собственным домом, в котором приютилась гобеленовая мастерская. Дюжина молодых интеллигентных женщин самых разных профессий ткали в нем шерстяные и шелковые гобелены и ковры. Зарабатывали неплохо, да и работа была правильная, и компания своя. Только очень, очень они страдали от подвальных страшных крыс. Завели кота, но этот бандит сам крыс боялся. Девушки его жалели и раскормили до огромных размеров.

Про Василису гобеленщицы сказали: «Приноси, поглядим!» Анзор приехал к Фаине за Васькой с большой сумкой и в старых задубевших кожаных перчатках. Но стоило доктору прикоснуться к этой ведьме, как она бросилась ему в лицо. Фаина кинулась его спасать, но и хозяйке впервые в жизни Васька располосовала руку. Тут Анзор тоже впал в ярость, и через пять минут шипящая и вопящая кошка оказалась в застегнутой на молнию сумке. Истекая кровью, Фаина и Анзор посмотрели друг на друга и пришли в ужас. Наскоро Фая разлиновала Анзора, а он ее, зеленкой, и они отправились. Там их ждали и собирались поить чаем и кофе с домашним печеньем. Подвал был мрачный, разветвленный, с тоннелями и люками, с трубами всех назначений и диаметров, ветвящимися под потолком. В главном зале, правда, было светло от мощных ламп, вдоль стен стояли массивные деревянные рамы с прочной, натянутой на колки гобеленовой основой, а на основе вытканы почти готовые и только начатые гобелены. Девушки все показали и пригласили гостей к столу. Тем временем из глубины подвала вышел совершенно потрясающий кот. Русский. Головастый, могучий. Широкая его рожа вся была покрыта шрамами от крысиных укусов, уши обгрызены в боях, глаза-щелочки смотрели вокруг зорко, но равнодушно. Зато нос розовел нежнейшим образом. А уж шерсть его была — холеная, черная бархатная шуба с пушистой оторочкой у шеи и длинным пушистым хвостом, гуляющим, как опахало… Это не все. Каждая лапа, кончик хвоста, усы и подусники были словно обмакнуты в сметану.

Бригадир гобеленщиц сказал:

— Нашего лентяя зовут Бесо, Бесик. Хороший был охотник. Но однажды крысы здорово его покусали. И все. Забастовку почти год держит. А крысы только что по нему не ползают.

Кот зевнул и растянулся на гобелене-образце. Девушки его окружили, защебетали, как птички, принялись расхваливать по-грузински, гладить. Он не возражал. Но тут из сумки Анзора раздалось грозное урчание — Василиса почувствовала кота. Бесо немедленно встрепенулся, глаза его расширились, и оказалось, что кот еще и голубоглаз! «Вот черт…» — восхитилась Фаина. А кот подошел к сумке. Оттуда раздавались угрозы уже в самом нижнем регистре. Бесик еще больше оживился и стал с сумкой разговаривать. Фаине стало жаль его…

— Слушай, Анзор, нам пора, не находишь?

— Да, Фаечка, конечно. Только покажем девушкам нашу Василису-охотницу, — ответил Анзор и отважно переложил сумку себе под ноги. Попросил всех отойти, «чтобы не смущать кису», и начал расстегивать молнию. Кот крутился рядом, пытаясь первым увидеть Ваську…

Он первым и получил по морде. Да так, что улетел в дальний угол. А Васька тут же впилась зубами в ботинок растерявшегося доктора. Она прокусила ботинок насквозь. Анзор заорал, обезумевшая от собственного преступления кошка начала с воем метаться от гобелена к гобелену, разрывая нитяную основу. Гобеленщицы завизжали, их бригадир схватил швабру и стал гоняться за Василисой, которая скрылась почти под потолком за одной из вентиляционных труб.

«Бежим!» — подумала Фаина, но, взглянув на Анзора, поняла, что ему не скоро придется бегать. Доктор развязал шнурки, ботинок был полон крови. Все девушки склонились над ним, наступила сосредоточенная тишина, как в операционной. Только голос хирурга — самого Анзора — отдавал негромкие команды: «Вода. Йод. Тампон. Ножницы. Еще тампон. Бинт…»

Но это не все. Внезапно над головами девушек завыла сирена, все в подвале повернули головы вверх и налево, где под потолком пряталась Василиса. Рискуя жизнью, по мокрым трубам к вентиляционной отдушке пробирался Бесо, глухо урча. А из-за отдушки на него с ненавистью смотрела и выла, как сирена при пожаре, Васька. Кот приближался, и приближался, да вдруг и прыгнул, чтоб оказаться рядом с кошкой… В тот же миг он получил пять раз по морде, шмякнулся на пол и, преследуемый кошкой, дунул от нее во мрак ближайшего тоннеля.

Анзор сказал, что ему необходимо сделать себе противостолбнячный укол, и они с Фаиной смылись, чувствуя

себя аферистами.

Через несколько дней Фаина с девочками уехали из Тбилиси на весенние каникулы в Челябинск. И в двадцатом веке к себе домой, в Тбилиси, они так и не вернулись. Не смогли.

Через три месяца после отъезда Фаи Анзор тоже уехал, как и собирался, в Германию, но потом перебрался в Португалию, откуда написал Фаине. Он не женился на подруге юности, зато сдал европейский экзамен на врача-реаниматолога, получил работу в государственной клинике в Лиссабоне. Перевез к себе маму и папу. Потом туда же переехало еще десятка два друзей Анзора. Так в Португалии впервые появилась грузинская диаспора. Впрочем, и в Испании, и в Германии, и во Франции, и в США появились грузины…

Анзор написал Фае письмо, позвал ее с девочками к себе. Вспомнил Ваську… Написал, как навестил известный подвал, когда на улицах Тбилиси уже вовсю стреляли. Во дворе дома, у подвала с гобеленовой мастерской бегало несколько новеньких черных голубоглазых котят с белыми метками на лапах и хвосте. У Василисы получилось во время войны стать счастливой матерью. Девушки-гобеленщицы, несмотря ни на что, собирались в мастерской, приносили с собой термосы с кофе и, хотя их бригадир да и все заказчики разъехались, ткали свои прекрасные гобелены, пока оставались запасы шерсти и шелка. Гобеленщицы рассказали, что Василиса долго не подпускала к себе кота, а Бесик с ума сходил. Но однажды утром девушки пришли в мастерскую и увидели последнюю военную схватку кота и кошки. Бесо Василису победил на глазах всего коллектива. Они оба и после довольно часто дрались и пели свои рулады, но их схватки носили исключительно любовный характер. Еще Анзор написал Фаине, что не только поэтичные девушки, но и все во дворе очень уважают Василису, потому что она чуть не каждое утро выкладывает у входа в подвал убитых крыс, соседи спорили — сколько будет сегодня. «Нашу страну, как и вашу, спасут женщины». Так Анзор закончил свое письмо.

От тети Тони и Томы писем нет как нет. Это значит, надеется Фаина, что жизнь их протекает в деятельном покое и довольстве, так что писем писать некогда, да и не о чем.

Не все дома (1991)

Анаит была царского рода, а Гия просто хорошего. Но это совершенно не важно. Анаит с Гией учились в одной школе. Она была отличницей, закончила десятый класс комсоргом школы, поступила на журфак Московского университета, вступила в партию, еще что-то солидное закончила и вернулась в родной город собкором по всему Закавказью газеты «Советская культура». Гия был футболист. И всегда оставался футболистом, только перешел со временем на тренерскую работу. Делал футболистов из нахальных мальчишек.

Анаит была принципиальный собкор, ее очень уважали и в Москве, и на всем Кавказе. А Гию очень уважали все, кто любил футбол.

Тоже немало.

У них родились дочь-отличница, вся в маму, а потом сын Баграт.

Баграт не был ни отличником, ни футболистом. Он был очень большим, сильным и неторопливым. Не торопился учиться, жениться, и в армию попал позже срока. В армии он все-таки увлекся, к папиной радости, спортом, и к двадцати шести достиг серьезных успехов в классической борьбе.

Борцовский талант Баграта только-только начал расцветать (он даже одного знаменитого турка припечатал лопатками к ковру на международных соревнованиях). Почти сразу после этого Баграт полюбил соседскую девушку, а осенью на радость всем женился.

В том же году классическая борьба повсеместно на Кавказе полностью утратила значение. Война клубком змей вылезла откуда-то и заползла в каждую семью. Стало не до классической борьбы.

Вышло так, что Анаит сразу полюбила нового, всенародно и демократически избранного президента (99,4 % избирателей проголосовали «за»). «Я ему верю!» — говорила Анаит мужу. Гия крутил головой. Он понять не мог: как она, ленинка-интернационалистка, могла поверить прохиндею, провокатору и, главное, фашисту. Но что тут скажешь? Женщина. И потом, президент-то был профессор. Анаит перед людьми культуры и науки всегда преклонялась. Может, потому?..

Анаит отвечала: нет. Она просто прозрела. И все.

Гия не спорил. Себе дороже.

Все родственники и Гии, и Анаит были кто за, кто против этого президента и даже иногда ходили послушать мнение народа на площади: на ту, где был митинг «за», или неподалеку, где был митинг «против». На митинге «за» было шумно. Ораторы требовали выгнать всех иноземцев и перевешать всех коммунистов-ленинцев. Многие из ораторов были кто коммунистами, кто инородцами, но на трибуне они о таких мелочах не помнили. Энергичные тетки в черном с портретами президента, выли, как по покойнику, словно нанятые специально для похорон плакальщицы. Все это само по себе было и не важно, но только чувствовалось, что эти тары-бары не просто так. Пафосную ахинею, да еще с таким энтузиазмом и на людях нормальные граждане могут нести только со страху. Чего же они боялись, что прикрывали шумом-гамом?..

Оппозиция на своей площади стояла молча. Тоже как-то страшновато.

Гия ни там, ни там почти не бывал. Он продолжал ходить на стадион и тренировать своих мальчиков-футболистов каждый день, хотя зарплату ему давно не платили. Так что он и не заметил, как президент вдруг надумал расстрелять и разогнать своим галдящим митингом при поддержке своей же неплохо вооруженной «гвардии» — другой митинг. И кругом велел развесить листовки с фамилиями и адресами «врагов нации». Гия с изумлением обнаружил в списках несколько своих самых уважаемых родственников, а также людей очень знаменитых — режиссеров, художников, академиков. Царские фамилии родственников жены там тоже встречались. Анаит по этому поводу сказала: «Провокация! Это оппозиция пишет и распространяет сама, чтоб дезинформировать мировую общественность». Но кое-кого из этого списка действительно стали «брать» по ночам гвардейцы президента… Изгнанная с площади молчаливая оппозиция, не стерпев разгона и арестов, вдруг многократно возросла числом и тоже, к удивлению Гии, взяла да и захватила казармы гвардии президента. Вооружилась и окружила президента с его охраной в Главном доме. Началась многомесячная осада, над городом повис серный смог от перестрелок и вонь от бронетехники, работавшей на мазуте. Мальчиков-футболистов родители перестали отпускать на тренировки.

Гия затосковал. Анаит напротив. Она даже помолодела и объявила мужу, что журналистский долг велит ей пробраться к президенту и взять у него интервью. Она узнает всю правду и

расскажет о ней миру.

«Влюбилась она в него, что ли?» — подумал Гия и рассердился. На всякий случай строго сказал: «Сиди дома! — И добавил: — Не надо женщине лезть туда, где стреляют». «Оппозиционер! — закричала она. И добавила: — Трус!»

Тогда он запер Анаит в квартире (а жили они на девятом этаже) и отправился к русскому соседу пить хорошую кахетинскую чачу. Он всегда так делал, когда впадал в тоску.

Именно в это утро сын Гии и Анаит, подающий большие надежды борец классического стиля Баграт, узнал, что его молодая жена беременна. И пошел к своим родителям, сообщить новость. Сам он был этой новостью глубоко потрясен и вообще-то счастлив.

Телефон в родительском доме уже не работал. Лифт не работал тоже. У Баграта был свой ключ, и он решил проникнуть в дом потихоньку, чтоб огорошить и порадовать мать с отцом редким гостем — собою. И, конечно, своею новостью. Он поднялся на девятый этаж, вставил ключ в скважину, повернул его… Тут дверь распахнулась, толкнув Баграта, мать выскочила и ринулась вниз по лестнице. Она думала, что вернулся ее оппозиционер Гия, и решила, прорвавшись за открывающуюся дверь, бежать на баррикады, в бункер, и сделать-таки под пулями оппозиционеров интервью с президентом.

Она с грохотом понеслась по темной лестнице, а Баграт зашел в квартиру, надеясь найти там отца. Не нашел, вышел на балкон и дождался, когда из подъезда выскочит мать. Он еле до нее докричался. Она остановилась, оглянулась на свой балкон, узнала Баграта и очень обрадовалась. Вот кто пойдет с нею, проводит ее до линии фронта! Баграт мало что понял и неспешно отправился вслед за матерью вниз по лестнице. Анаит тем временем проверила, работает ли диктофон, — не работал. Все вокруг отказывалось работать. Она решила заодно проверить свои журналистские удостоверения — надо же было что-то предъявить охране президента. Удостоверений было два — газеты «Советская культура» и еще Союза журналистов СССР. Она взяла из сумочки свою гэдээровскую пятицветную шариковую ручку и, выбрав красный стержень, вычеркнула слово «советская» в названии газеты. Закрыла и резко открыла книжечку бордового цвета. Выглядело очень эффектно, правка в глаза бросалась сразу. Ей захотелось так же поступить и с союзной книжечкой, вычеркнуть СССР. Что-то остановило ее. «Пусть пока побудет, — подумала она, — мне и одного удостоверения за глаза хватит». Анаит снова повторила вопросы, которые она задаст президенту. Но для

начала она ему скажет, что народ, а не только сама Анаит, верит ему! Оппозиционерам же, этой горстке любимчиков старой власти, народ не верит. «Может, вообще не показывать никаких удостоверений?» — снова подумала она. И внезапно похолодела: вдруг охрана президента проверит ее сумочку, а там, вместе с паспортом — партбилет!.. И тут она решилась на самый важный и самый мужественный шаг: она достала зажигалку и подожгла свой партийный билет. Руки у нее тряслись. Горел партбилет плохо, смердя корочкой. Но все же сгорел. Последняя акция стоила Анаит невероятного стресса. Просто ноги подкосились. Слава богу, в дверях подъезда появился Баграт. Он шел важно, вразвалочку и глупо улыбался.

«Что ты медлишь! — рассердилась Анаит, повернулась и побежала, крикнув сыну: — Догоняй!» Она бежала к президенту, как в юности на свидание к своему футболисту. Ей казалось, что президент сам назначил ей встречу в строго определенный час и она на нее позорно опаздывает по семейным обстоятельствам.

«Что случилось, мама?» — Баграт, как на тренировочной пробежке, подобрал могучие руки к груди и легко догнал Анаит. «Ничего! Я иду делать интервью к президенту», — ответила она, стараясь не сбиться с дыхания. В конце концов сдалась, перешла на шаг.

«А папа где?» — как ни в чем не бывало снова спросил Баграт.

«Твой отец… твой отец… когда мы вернемся, я все скажу ему прямо в глаза. А молодым сыновьям слышать такое не полагается!» Баграт замолчал. Он шел, не отставал и все примерялся, как бы сказать свою новость маме. Но она так была чем-то взволнована, так горько и гордо улыбалась и что-то иногда проборматывала на ходу…

Они почти пришли к Главному дому. И остановились. То, что открылось, они оба не ожидали увидеть. Вокруг не было ни души. И между колонн дома никого. А вся площадь утопала в мусоре — немыслимом, варварском, небывалом. Хуже любой помойки. Это были развороченные и растерзанные останки дорогих резных кроватей, шкафов и комодов, вытащенных из гостиницы. Концертный рояль стоял на боку, с оторванной декой и вывернутыми наружу струнами. Разбитые в щепы школьные доски и парты из гимназии были свалены, как дрова… Но больше всего поражали большие холсты на подрамниках, картины, писанные маслом. На них радостные люди как ни в чем не бывало занимались всевозможным благородным трудом — лесорубы, монтажники-высотники и хлеборобы, доярки и поварихи, балерины и рыбаки… Почти все задумчиво смотрели вдаль, а

некоторые улыбались, сверкая крепкими зубами… Полотна были изодраны, в них зияли дыры… Да что же это такое?.. Картины просто приковывали к себе глаза. И только наглядевшись, не сразу, Баграт и его мама увидели, что ни гимназии, ни гостиницы, ни Союза художников вокруг площади больше нет. Пепелища.

Все знали, что у Главного дома по ночам гремели выстрелы и что-то горело. Но чтобы так…

— А где все? Не одни же мы тут?.. — почему-то шепотом спросил маму Баграт.

— Лучше скажи мне, где президент? Скажи, где Он, вот что важно, — ответила сыну Анаит. — И как мне к Нему попасть?..

Она замолчала, задумалась.

И наконец решилась:

— Пора! Жди меня здесь. Час, два, три… Сколько надо, столько и жди.

Анаит сделала два шага, первые два шага, чтоб перейти площадь.

И тут же почувствовала, что сын идет за ней.

— Баграт! Жди меня за углом! — она почему-то говорила тоже шепотом.

— Я не пущу тебя одну! — упрямо и перестав шептать, громко сказал Баграт. Он успокоился и только все удивлялся, глядя по сторонам. Недоумевал.

— Нет, ты не пойдешь! — Анаит даже топнула ногой. Но вдруг растрогалась тому, что с ней рядом ее мальчик. Она снова с обидой вспомнила Гию. Анаит оперлась о руку своего могучего сына. — Мальчик мой, не геройствуй. Помни, это только мое задание, мое журналистское расследование. Меня не посмеют тронуть.

Они уже шли посередине площади.

Пока что все было хорошо. Только платаны перешептывались, позванивая бронзовой листвой в глубоком небе. И вдруг треснуло несколько выстрелов, и сразу зачиркало по мостовой.

— Ой! Что это? — Анаит, как и Баграт, не испугалась, она, как и он, просто удивилась.

Баграт прижал ее к себе, прихватив за плечи одной рукой, и почти понес, петляя между растерзанным барахлом. Вторую руку он поднял, как будто подавая знак вовсе не стреляющим, а, как бывало, бибикающим здесь на площади машинам: погодите ребята, мы с мамой сейчас пробежим… Выстрелы продолжали трещать, но пули уже не чиркали по мостовой, воюющие стороны занялись друг другом.

Вот Баграт с мамой и на «той стороне». Они весело, как

напроказившие дети, скачут по широким гранитным ступеням Главного дома, вот уже и колонна рядом, за которой можно спрятаться. «Все! Добежа-а-али! — радостно пропела мама сыну, ныряя за колонну. — Ты герой, мой мальчик!»

— Стоять! Кто такие!

За колонной их поджидал маленький, весь перетянутый ремнями, туго набитый качок — шире себя поперек. На плече у него болтался еще горячий автомат. Лицо у качка было вполне ужасное. У Анаит наконец-то екнуло сердце. Она испугалась:

— Мы к президенту… Я к президенту!

Трясущимися руками она стала расстегивать свою сумочку, искать правильное, с вычеркнутым словом «советская», удостоверение корреспондента. Качок сумочку вырвал и стал в ней шарить сам. Забрал диктофон, остальное вытряхнул к подножию колонны. Не глядя, высунул из-за колонны руку с автоматом и дал короткую очередь в божий свет, как в копейку.

— Собирай, старуха, свою дребедень и дуй отсюда.

— Как?.. — переспросила Анаит. — Это вы мне?..

У Анаит заложило уши от выстрелов. Баграт все отлично услышал. Он побелел, потом покраснел, взял одной рукою за дуло автомат, другою — за горло его хозяина. Автомат отобрал и откинул подальше. Потом осторожно, чтоб не придушить насовсем, двумя руками, сомкнувшимися прямо под ужасным, нечеловеческим лицом качка, оторвал его от земли. Тот даже ногами не задрыгал, так и висел, растопырив руки.

— Извинись, — сказал Баграт качку и поставил его на землю. — Извинись перед моей мамой, — повторил он, не убирая руки с толстой шеи.

— Госпожа, извините, я не хотел, — просипел качок.

— Теперь собери все в сумочку и то, что прихватил, тоже аккуратно положи на место. — Баграт отпустил качка, и тот буквально рухнул к сумочке, сразу начав поспешно собирать все эти рассыпавшиеся глупости — помаду, зеркальце с пудрой, валидол, жвачку, дамские сигареты и нарядную зажигалку, духи и блокнот с авторучкой…

За колонной появилось еще двое гвардейцев.

— Что здесь происходит? — спросил старший. У него были очки в тонкой оправе и сухое лицо школьного учителя химии. — Кто вы такие?

Качок, не в силах встать, отдал Анаит сумочку, и она вспомнила, зачем пришла сюда. Но что-то у нее в голове отключилось. Она как воды в рот набрала. Кроме того, от всех мужчин так ужасно пахло. Просто воняло.

Баграт решил все объяснить сам.

— Моя мама пришла взять интервью у вашего президента, а я ее провожаю.

Старший переглянулся с третьим гвардейцем. Они чему-то обрадовались, один другому даже подмигнул. Улыбающийся старший перестал походить на учителя химии, он посерьезнел и ответил вполне официальным тоном:

— Интервью не состоится. Президент не дает интервью. Никому. Это его принципиальная позиция. Отправляйтесь домой.

— Как? — спросила Анаит.

— Так же, как пришли. Через площадь.

Анаит с Багратом не стали спорить, они повернулись и сделали несколько шагов от колонны. С той стороны в них никто не стрелял. Только чувствовалось: оттуда внимательно смотрят.

— А ты, парень, куда? — вдруг негромко окликнул Баграта старший. — Тебя никто не отпускал. Мамаша пусть катится, если ее не подстрелят. А ты здесь нужен.

— Ага, сейчас, — сказал Баграт, даже не оглянувшись. Он снова прижимал мать к себе одной рукой и почти нес ее, подняв вторую руку, словно в приветствии тем, кто смотрит с той стороны.

— Что сидишь? — спросил старший у поникшего качка. — Бери свой дюбель и шмальни в него.

Качок не заставил себя ждать. Он подобрал автомат, прицелился и дал короткую очередь.

Очередь перебила Баграту позвоночник и прошила печень. Он постоял секунду, опустил Анаит, она тут же легла на землю, прикрыв голову: голова у нее гудела, как колокол. Баграт и сам повалился, прикрывая собою мать.

Анаит ничего не поняла. Она что-то говорила сыну, говорила, жаловалась на Гию, ругала оппозицию, которая всех предала. А Баграт умирал, смотрел на свою маму и жалел ее. И еще он жалел свою молодую жену, которая была беременна. Она боялась. «Как рожать во время войны? — говорила она сегодня ночью. — И света нет, и воду отключают…» — «А я не боюсь войны, — с тоскою думал Баграт свою последнюю мысль. — Поздно бояться, меня убили».

— Сыночек, — вдруг спросила мама, она отогрелась возле сына и успокоилась, — что ж ты к нам прибежал сегодня? Случилось что?

Баграт ей так и не ответил.

Три дня до похорон Анаит у всех спрашивала, где Баграт и почему приходил к ней, что хотел сказать. Ей отвечали или не отвечали, все были заняты и не смотрели ей в глаза. И Гия, став в

одночасье седым, смотрел мимо Анаит. Наконец, она увидела того русского соседа, старенького и вечно под мухой. Он пришел в затрапезном кителе с орденскими ленточками и смирно сидел на кухне. Анаит подсела к нему и заговорила с ним по-грузински об оппозиции и ее подлости. Русский кивал, кивал и сказал, наконец, по-русски:

— Бедная ты моя, бедная… где тебе все понять. У тебя не все дома.

— Не все дома! — воскликнула Анаит. Она обрадовалась, что кто-то выслушал ее и все понял. — Не все у меня дома, не все… Вот ведь что, не все… Но куда ушел он, мой мальчик? И что хотел мне сказать?..

Горячая точка (1991)

Ей приходилось бороться со страхом. Она узнала, что, когда страшно, надо набрать побольше воздуху, не только в легкие, но и в живот, чтобы держать диафрагму в напряжении, чтоб воздух стоял столбом до самой гортани, как будто ты сейчас запоешь. Но при этом не петь, а быть как бы готовой запеть в полный голос. Слова «набраться духу» были, оказывается, буквальным рецептом от страха. И еще она узнала, что очень полезно спокойно смотреть всем встречным в глаза. Не то чтобы подолгу вглядываться, а так — посмотреть, понять и жить себе дальше, в полной готовности запеть. Действительно, эта готовность, как ни странно, очень важна. Особенно если у людей вокруг много оружия. Особенно если эти люди — мальчишки-сопляки. Со взрослыми может оказаться сложнее. У них есть свой опыт, свои приемы побеждать и утверждаться, им, взрослым, либо гораздо сложнее, либо гораздо легче нажать на курок, чем соплякам, мальчишкам. Мальчишки сами не знают, чего им от себя ждать. Тех взрослых мужчин, которые знают про себя, что им совсем легко нажать на курок, она почти не встречала. А то бы ее уже не было на свете. Несмотря на весь ее опыт. В конце концов она встретила такого человека, его имя Давид. Но с ним она встретилась уже после войны…

Война, говорят, всегда не подарок, но нет ничего гаже гражданской войны, особенно если она разгорается в красивейшем и счастливом городе, в котором к тому же ты живешь.

С нею так и вышло. Именно в таком городе и на такой войне она и разобралась, как надо вести себя, если страшно. А страх — вещь опасная, он притягивает беду. Но страшно не может быть все время, присутствие духа, способность спокойно встречаться глазами с незнакомыми вооруженными людьми — ей не всегда были нужны. Бывало, она безмятежно засыпала в холодной своей квартире с пробитым пулей оконным стеклом, и бывало, что просыпалась в хорошем настроении после странных счастливых снов. Сны были о том, что никакой войны нет, что это война — сон.

Свою дочь она отправила к бабке, на север, когда только-только мерзостно запахло войной. Все началось именно с запаха — перестали вывозить мусор.

Через несколько месяцев она и сама с кофром через плечо,

улетела на переполненном, как трамвай в час пик, самолете, где люди стояли в проходах, и многие пили чачу и вино, угощая друг друга, а многие плакали, ссорились и смеялись. В столице метрополии, хотя и постреливали, настоящей войны не было, там она поселилась у подруги-художницы в мастерской и почти сразу нашла работу. Она была фотограф, и в агентстве «Гамма» француженка польского происхождения по имени Ядвига предложила ей летать в «горячие точки». Ядвига пообещала договариваться о транспорте и давать пленку. По возвращении нужно было сдавать непроявленную пленку Ядвиге и ждать гонорара. Удостоверения, зарплаты и авторских прав ей не обещали. Она согласилась, потому что самой горячей точкой был в те времена как раз тот город, где у нее осталась квартира с простреленным окном, залепленным бумажным крестом… Она подглядела такие кресты еще в детстве, в старинных фильмах о большой войне. Крест не давал разлететься стеклу, кроме того, получалось, что среди всех случайных домов, встречавшихся ей в жизни, один — свой — она отметила крестиком.

Она летала в свою горячую точку на военных самолетах с другими корреспондентами или одна, самолеты были обыкновенными «тушками» — «Ту-134», но кресла были железные и в один ряд, а вместо пола в проходе была железная канава с люками для бомб, правда, канава была пустая, без бомб. Как-то самолет сел не на взлетную полосу, а на шоссе рядом с аэродромом, сбив несколько столбов и повредив крыло. Но это не было особенно страшно. Это было… как в кино. Тем же бортом летел знаменитый кинорежиссер с женой и внучкой. Он держал девочку на коленях, перед посадкой крепко обнял ее и побледнел. Все обошлось, и, когда он съехал с девочкой по надувному трапу, как с ледяной новогодней горки, он некоторое время не мог встать, улыбался и все повторял: «Вот кино так кино!..»

Аэропорт, в который она прилетала, был то в одних руках, то в других, документов, кроме паспорта с местной пропиской, у нее не было никаких, и, может, к лучшему. Но кто бы ни держал в руках аэропорт, это всегда были нетрезвые сопляки, маменькины сынки с автоматами Калашникова, городская шпана в краповых беретах или черных шерстяных подшлемниках с дырками для глаз. Проходя через их остро пахнущий потом, чачей и оружейной смазкой строй, она всегда по обретенному знанию набирала воздух в живот, и, если дело было не глубокой ночью, внимательно и спокойно смотрела в глаза этим несчастным убийцам, многим из которых еще только предстояло научиться убивать, и многим — быть убитыми. Как-то раз, пока один из этих юных героев листал ее паспорт, другой потянул к себе ее камеру,

ее рабочий, старый, механический «Nikon», висящий на шее: «Он тебе не понадобится». — «Не тебе решать», — ответила она, легко, как маленького, шлепнув его по руке. Шлепнула-то она легко, но вот голос, подхваченный тем самым воздухом, который она набрала, прозвучал отчетливо и грозно, как глас божий. И все эти вооруженные парни оглянулись на них, и тот, кому она ответила, уже не мог просто так отступить, он заматерился по-русски, четырехэтажно, и что-то такое металлически клякнуло в его «калашникове». Она точно не знала: то ли он взвел курок, то ли передернул затвор, то ли снял с предохранителя. В общем, он устрашающе лязгнул и собрался стрелять. Она не посмотрела на него, не хватило духа. Но она посмотрела, как водится, по полной программе, в глаза его товарищей и заметила отсвет смерти в их уклончивых, не готовых к ответу глазах. Смерти вообще, но главным образом — ее смерти. И еще она заметила, что лица-то у мальчиков в большинстве своем были красивыми. Матовые высокобровые лица кавказской национальности… Ах, сколько еще достанется этим лицам, когда они врассыпную покатятся отогреваться и выживать по северным провинциям ее необъятной родины. Что ей оставалось? Она передернула свой «затвор», ее «Nikon» тоже вполне отчетливо клякнул — она сделала свой первый снимок. Один из немногих снимков, которые ей хотелось бы иметь на память о своей «работе в горячих точках». И не потому совсем, что это был горячий эпизод, почти военное действие. Ей просто показалось, что кадр похож на персидскую миниатюру, простую, хрупкую и вечную.

А собеседник так и не выстрелил.

Работа была гнусная — мотаться по гражданской войне и снимать беду за бедой, безумие за безумием, не участвуя, не сходя с ума, наблюдать и фиксировать, как в гостях у инопланетян. Особенно мучительны были поездки к морю, в ее любимые места, к любимому морю. Женщины, голосящие по убитым, старуха, палочкой разгребающая головешки родного дома, морг с десятками голых парней, у каждого на босой ноге картонная метка с номером… Нечто подобное и без нее все время показывали по ящику, печатали в газетах и журналах. Она догадывалась, что в каких-то пестрых мусорных журнально-газетных кучах в неведомых ей странах и городах тиражировалось все, что она видит и снимает, снимает, снимает. Под чужой фамилией. Ну и что? Авторское самолюбие ее не мучило.

Она плыла по течению. Кто-то куда-то вез, привозил или не довозил, и нужно было топать в туман и в гору, чтобы куда-то прийти. Боев не снимала. Да их и не было. Никаких рукопашных с криками «ура». Были обстрелы, были анонимные пулеметные

очереди, были гранаты, летящие через забор прямо на обеденный стол, накрытый в райском садике с виноградом. Были «акции», ночные бандитские налеты одной стороны на другую. «Стороны» были повсюду и ничем не отличались друг от друга — ни языком, ни верой, ни одеждой, ни оружием. У них только тосты в застольях случались разные, и то редко. И чем возвышенней и благородней были тосты, тем отвратительней, поганей и загадочней казалась эта война.

Похоже было, что люди и ни при чем, что воюют не они, оружие само стреляло, попав им в руки. По Чехову: на сцене появилось ружье — оно должно выстрелить… Правда, многие воевали за деньги, просто чтоб прокормить себя и семью. Просто за деньги. Иногда — за будущие деньги. Точно как она снимала эту войну за будущие гонорары. Которые и в самом деле начали понемногу приходить.

К началу зимы жители успели забыть о баррикадах или митингах. Просто неизвестно почему происходил расстрел города, в котором она так долго и славно жила. Разрушение самой красивой его улицы с прекрасными домами начала века, с гостиницами и театрами в стиле модерн, с гигантскими тенистыми платанами, с кофейнями, со знаменитой гимназией… Дело было глубокой осенью, утром стояли туманы. Ее рабочий день наступал на рассвете, как и у тех, кто расстреливал улицу. Их было всего два человека, два угрюмых, небритых и некрупных свана, привезших с перевала на заработки в город свою старенькую пушку времен давней большой войны. Обычно сваны зарабатывали этой пушкой в горах, сбивая скопившиеся снега, грозившие лавинами. У пушки не было прицела, она умела бить только прямой наводкой. На туманном рассвете сваны зашли в церковь, расписанную великим художником, зажгли свечу, пропитали растопленным красным воском бинты и заткнули уши. Молодой косматый священник, похожий на разбойника, осенил их крестом, они приложились к иконе Георгия Победоносца, забрали в пределе по ящику снарядов и пошли к своей пушке.

А она сфотографировала разбойника-попа, поставила свечку Богородице, уши затыкать не стала и пошла за сванами. Пушка стояла возле сожженной дотла гостиницы, напротив Дома Правительства, возле которого еще недавно толпились патриоты, оппозиционеры и безумные женщины в черных одеждах с портретами президента — усатого красавца с нервным пучеглазым лицом. Сейчас площадь была завалена ветвями, ржавой листвой и зеленоватыми стволами платанов. В самом Доме Правительства, в подвале, как говорили «в бункере», скрывался тот самый президент с верными ему патриотами.

Сваны не спеша, без всякого азарта стреляли по колоннам Дома и вдоль по улице, по еще уцелевшим платанам, по окнам несгоревших домов. Прохожих не было и противника не было, не было никого, в кого можно было бы шарахнуть «прямой наводкой», только платаны, но обстрел продолжался, пока не кончились снаряды. Тогда наступила тишина, и в этой тишине у нее мучительно заломило уши. Так поморожeнные руки болят не когда замерзают, а когда отходят в тепле. Сваны, отряхнув запылившиеся штаны и драные солдатские бушлаты, пошли от пушки, на ходу выковыривая из ушей красные затычки.

Она пошла за ними. И в тишине услышала нежный звук, похожий на посвист неизвестной птички. Посыпалась штукатурка со стены дома. Сваны пригнулись и побежали молча, не подымая голов и не оглядываясь. Она тоже побежала. Они остановились в сквере у огромного черного кипариса, который она давно знала и очень любила. Кипарис отличался тем, что даже в безветрие его вершина шевелилась, улавливая тончайшие движения воздуха, и от этого было похоже, что кипарис только притворялся деревом, а на самом-то деле… Впрочем, не важно.

Она сняла сванов под кипарисом, они даже поулыбались ей щербатыми ртами… Вообще все на этой войне охотно фотографировались, никто ни разу ее не прогнал. Людей утешал вид камер и объективов, им казалось, что они и впрямь только артисты. В этом городе до войны на всех углах снимали кино, а было это совсем недавно.

Сваны хотели есть, города они не знали. Она повела их в знакомый духан, в котором, несмотря на войну, ей удалось пару раз поесть. В городе не было хлеба, не было никакой муки, даже кукурузной, но мясо, фрукты, овощи можно было достать.

Духан был за рекой, они шли по туманному осеннему городу, изредка встречая прохожих и совсем не встречая машин: бензин исчез, как и мука. Перешли красивейший мост, носящий имя поэта-романтика, и еще на мосту почувствовали божественный запах шашлыка. Сваны засмеялись и прибавили шагу. А она поотстала и сняла туманный и пустой город, погружающийся в сумерки. Кое-где зажигались окна — там еще не кончился керосин в лампах.

В духане было шумно и многолюдно, за всеми столами пили вино и чачу, и, хотя хлеба не было, но были, к всеобщей радости, хинкали, правда, из ржаной муки. Эта мука, как объяснил духанщик, была из рациона русского полка. Полк из города давно вывели, а продовольственные склады растащили.

Когда она вошла в духан, не было в нем ни одного человека, который бы не заметил, что вошла женщина. Все посмотрели на

нее, но никто не сказал ни слова. И она уселась со своими сванами за дощатый выскобленный стол, и знакомый духанщик подлетел к ней с огромным блюдом горячих хинкали, как будто ждал эту женщину, и тут же принес вино, и чачу, и лимонад, и сыр, и шашлыки, и зелень.

А она тем временем заметила, что по всем углам духана, как трости и зонты в английском пабе, стояли автоматы, ружья и даже пулемет. Только она со сванами пришла сюда без оружия, свою пушку они с собой не таскали. Сваны, в отличие от собравшихся в духане горожан, ели практически молча, только изредка произнося короткие тосты на трудном своем языке. А вокруг шумно и многословно кутили представители обеих сторон конфликта — те, кто сидел с президентом в бункере, и те, кто его оттуда выкуривал. К какой из сторон принадлежали сваны, никто не допытывался. Иногда она ловила на себе как бы случайные взгляды, тосты вокруг становились уж очень пылкими, но ссоры между столами не возникали. Здесь был водопой в период засухи, и буйвол со львом радовались жизни, не мешая друг другу…

В следующий раз она прилетела в город под Рождество. Агентство «Гамма», вернее, та девица, которая выдавала ей пленку и называла даты вылетов и прилетов, внезапно разговорилась. «Последний материал с пушкой и стариками хорошо пошел. Когда полетишь, попробуй их снова найти. И побольше подробностей, эмоций, крови, крупных планов. Ну, ты понимаешь, это же война… Сделаешь?» Она не ответила. Расписалась в бумажке за двадцать пленок, раздумывая про себя: не эта ли девица ставит свою подпись под ее кадрами?.. Ну, а какая разница? Никакой.

Нервный президент все еще «сидел в бункере», война, как говорили, продлится до весны, в городе стало еще туманнее и холодней, вслед за бензином и мукой бесповоротно исчезли электричество и вода в кранах. С аэродрома ее довезли в центр города на подрабатывающей извозом боевой машине пехоты. Она спрыгнула с брони на главной площади и отправилась навестить сванов, но нашла только искореженную пушку среди поваленных платанов. Неподалеку дымился скрюченный остов перевернутой «самоходки». Похоже было, что динозавр с ихтиозавром подрались в фильме Спилберга, переломав при этом окружающий пейзаж, и в конце концов оба сдохли. В церкви шла служба, разбойник-поп, не переставая читать псалмы, приветливо помахал ей большой ладонью, и она заметила татуировку на запястье — чье-то имя. Сванов и здесь не было, но прихожан было много, и маленький чистоголосый хор славил сына Бога, которому

предстояло вот-вот родиться…

Война на сегодня отменялась. Она поняла это и, не раздумывая, пошла через весь город праздновать Рождество к своему старому любимому другу. На улице по-прежнему появлялись пугливые и тихие прохожие, не знавшие, что надо набирать воздух в живот и отважно смотреть в глаза встречным. Только дети, которые пробегали иногда, громко разговаривали, даже смеялись, потому что шел снег и приближался праздник. С присутствием духа у детей всегда было все в порядке.

Она шла, и шла, и шла по огромному городу — удивляясь, какой он огромный, — и пришла под вечер к знакомому дому, погруженному в снегопад. Дом казался пустым, но в полуподвале светилось окно. Хозяин был дома, и жив, и почти здоров, и страшно рад гостье. «Ты моя рыжая, ты моя умница, жива!» — встретил он ее у порога. Рыжим был сам хозяин, у нее же были просто веснушки. А у него были хлеб, и вино, и чача, и окорок, и огромное количество стеариновых свечей, которые он все зажег, так, чтоб стало не только светло, но и тепло. Это был один из счастливейших вечеров за несколько лет.

«Доктор! — кричал он своей гостье (хотя и доктором был тоже он сам, отличным рыжим доктором, во многих отношениях — лучшим в мире. Он был костоправ, и психиатр, и уролог, и эндокринолог, и, конечно, педиатр, и умница. Оттого-то у него и в войну водились мука, бензин, свечи и окорок. А вино на Рождество в этом городе, несмотря на войну, водилось у всех). — Ты подумай, что наделал этот горшок! Недаром он прячется в бункере. Его повесят, как Муссолини, попомни мое слово. А если не повесят, все равно он кончит нехорошо, это написано на его физиономии. Как и то, что у него базедова болезнь и не работают почки. Это я тебе говорю…»

К ночи в полуподвале у доктора стало тесно от гостей, окно запотело, свечи оплыли, лица собравшихся раскраснелись, плечи расправились, и стройное многоголосье песен смыло все унижение, весь бред войны. Лица поющих были так таинственны, так благородны и печальны, как ее знакомый гигантский кипарис. Как сам этот прекрасный город, переживший за полтора тысячелетия столько бед, нашествий и эпидемий.

А тем временем президент, страдающий почками и базедовой болезнью, не пил и не ел в своем бункере, а собирался дать деру. И дал-таки! Утром, когда она, как всегда, отправилась на свою постылую работу, она нашла у Дома Правительства обескураживающую суету. Под покровом ночи, снегопада и праздника президент и его близкие на нескольких машинах отбыли из столицы в неизвестном направлении. Дом

Правительства оказался пуст. И те, кто его то ли собирался штурмовать, то ли стерег — не сразу это поняли. А когда догадались, пошли посмотреть: как там и что. Она пошла с ними. И нашла там тоску запустения в пыльных залах с выковырянным и сожженным паркетом. Она снимала неопрятную мерзость, уйму подробностей этой мерзости, их-то и ждала от ее снимков Ядвига из «Гаммы». В бывшей огромной столовке и кухне много недель ели, пили, перевязывали раны, буянили и спали мальчишки из хороших семей, безумцы-патриоты и просто бандиты, и всех этих героев объединяло то, что в отличие от обычных солдат они не догадывались о необходимости стирать портянки.

Никакого бункера не было. Были столовая с поломанными столами, кухня, бойлерная и продовольственный склад без продовольствия. На этом складе она нашла одного своего свана. Он лежал на голом полу, уткнувшись мертвым лицом в стенку. У другой стенки лежал сочившийся кровью соломенный матрас, бинты и разбитые шприцы. Она не стала это снимать… уволилась из инопланетян.

В тот же день Оппозиция дала пресс-конференцию, на которой военные корреспонденты «отстреляли» последние кадры фотопленки, а командир гвардии оппозиции, в недавнем прошлом профессор театрального института, подвел общий итог. Он сказал: «Finita la komedia!»

Он ошибался.

Когда она шла с пресс-конференции, то увидела странное зрелище: сотни людей пытались гулять по расстрелянной улице. Люди были точно такими, какими должны быть преуспевающие горожане на Рождество: румяные, сытые, в чистеньких дубленках, в дутых куртках и ярких лыжных шапочках. Они двигались гуськом и толпочками мимо искромсанных деревьев и каменных руин, с трудом, помогая друг другу, перебирались через гигантские стволы платанов, обходили кучи битых кирпичей, остовы сожженных машин и воронки от взрывов снарядов. Вокруг сванской пушки возились дети. А взрослые солидные мужчины трогали ствол самоходки, качали головами и цокали языками. Странным было то, что некоторые вдруг смеялись. Так бывает в кино, когда какой-нибудь зритель вдруг хихикнет ни к месту. И замолчит, смутившись. Они не понимали. Праздничная театральна публика пришла в театр, в котором режиссер-авангардист взорвал зал и сцену. И в этих декорациях занималась новая пьеса.

Утром она улетела.

В горячие точки больше не ездила. И так ни разу не увидела и не стремилась увидеть ни одной своей фотографии. Хотя

гонорары какое-то время приходили и приходили.

Русский доктор (1992)

Это была деревня в долине между гор, на слиянии двух речек. Однажды весной сюда пришла война. Потому что небольшая прекрасная страна разделилась на Запад и Восток. Принцип детской игры в «Зарницу», или штабных учений, или войны за свободу негров в США — Синие и Красные, войска Юга и Севера, Республиканцы и Федералы… Предупреждаю читателей газет и любителей новостей по ящику — не будет Белых и Красных, опускаю. Потому что на самом деле на войне не бывает Белых и Красных. Война — это яма, клоака, в которую слиты чистая кровь, грязные портянки, детские и взрослые слезы, мертвые тела людей и животных, холод подвалов и просто дерьмо. Подумайте, какого цвета эта смесь, а потом отыщите в ней Синих и Зеленых. Поймите также, что во время войны ничего не стоит ухнуться в эту клоаку с головой и стать ее содержимым. И хватит об этом.

Я просто хочу рассказать о Боре, как он спас свою семью и стал, кем стал. Начну я с давних времен, когда мы еще не были знакомы.

Боря приехал в свой рай вполне взрослым, но молодым и сильным доктором. Приехал в цветущую деревню на слиянии двух рек с заснеженных просторов Урала, из промышленного города, коптящего небо над этими просторами. После окончания медицинского института он работал вначале патологоанатомом в милиции, потом в психушке терапевтом, потом венерологом в вендиспансере. А пока учился в институте, работал по ночам сначала санитаром, потом фельдшером, а последние два курса врачом на «Скорой помощи». Все эти годы — и в институте, и после — он жил в общежитиях. Вот такой у Бори был жизненный опыт.

Потом он влюбился, в Машу. Она была обычной и несказанной северной красавицей, которые невесть откуда берутся в заснеженных промышленных городах Урала и Сибири. У нее были синие глаза, очень белая кожа, темные волосы, длинные-предлинные ноги и необыкновенно добрые лицо и сердце. Она была замужем. И жила со своим мужем-боксером тоже в общежитии. Как Боря добивался Машу — история на три года, и, хотя эта история хорошая и правдивая, ее я тоже опущу.

Но чтобы жениться на Маше и, главное, народить с нею детей, причем много, Боря хотел получить квартиру. Получить квартиру можно было, только работая на одном из огромных

заводов, коптящих небо над городом. И то к концу жизни. Если очень повезет. Но все-таки он пошел устраиваться в заводскую больницу, хоть кем. Вот тут и выяснилось, что Боря еврей, а международное положение было в тот момент таково, что евреев начали выпускать в Израиль, зато окончательно перестали брать на работу на военные предприятия. С целью предотвращения возможной выдачи на исторической еврейской родине советских военных тайн — примерно так.

Невоенных же предприятий, которые бы давали квартиры, в стране не было вообще.

Боря, который, чтобы жениться на Маше и завести с ней много детей, стал боксером и побил несколько раз, причем не на ринге, ее мужа-боксера, глубоко задумался. Он не хотел в Израиль, но что гораздо важнее — не хотела Маша. Вот тогда, как это всегда бывает, совершенно случайно он узнал от приятеля, что в одной теплой советской республике не хватает сельских врачей и что при этом простому доктору там обещают не то что квартиру, а дом с садом. Боря написал несколько писем, получил обстоятельные, но бестолковые ответы, и поехал, один, без Маши, искать место доктора с домом и садом. Он нашел место. Правда, дома не было, но был сад на берегу чистой и холодной речушки, текущей с ближних гор, и разрешение построить в саду дом. Сад на несколько месяцев стал домом. Боря спал в палатке под инжиром, утром умывался в речке и шел на работу.

Слава о Боре, русском докторе, за две недели облетела округу. Почетное звание «русский доктор» не было связано с национальностью, оно просто означало, что Боря был специалистом с настоящим, не купленным дипломом. То есть он умел лечить. Несмотря на то что Боря поначалу совершенно не знал местных языков (грузинского, абхазского, армянского, греческого, азербайджанского и еврейского), а местное население не говорило по-английски, по-русски же могло неплохо материться, обсуждать международное положение, торговаться на базаре с лицами промежуточных национальностей и, кто служил в армии, отдавать и понимать строевые команды — так вот, несмотря на это, все очень быстро поняли, что Боря не просто «русский доктор», но «очень хороший русский доктор». И Боря стал обнаруживать десятирублевки и даже четвертные в кармане халата после каждого визита к больному. Поначалу это привело его в смятение, он стал бегать по тем, кого лечил, чтобы возвращать мзду, перессорился с пациентами и узнал много местных слов и выражений. «Шени чири ме!» — кричал он через забор бабушке своего больного (значило это: «твои беды — мне»), «кал батоно!» (а это значило: «мадам» или «госпожа») «возьмите

обратно ваши деньги. А то я больше не приду к вашему внуку!» На него обижались. Однако здоровье внука, дочери, брата было дороже обычая платить доктору. Платить перестали. Но на поляне посреди Бориного сада откуда ни возьмись появились щебенка, камень, цемент, песок, известь, доски и черепица. Не все сразу, а в необходимой и разумной последовательности. Соседи, которые гордились Борей как чемпионом мира по медицине, по счастливой случайности выбравшим именно их деревню для проживания с будущей женой и будущими детьми, шли к нему с советами и с помощью. Так что за полгода в саду вырос дом. Ну, не дом, но и не времянка, а настоящий капитальный чулан в глубине будущего дома. Чулан стоял гордо и одиноко, а вокруг него уже ждал будущих стен могучий и прочный фундамент.

Была ранняя весна, зацвели абрикосы, когда Боря понял, что пора ехать за Машей.

Они вернулись, когда цвел гранат. Пока Боря ездил за Машей, соседи поставили вокруг сада новый забор и ворота. Боря привез Машу на рейсовом автобусе в полдень. Первым их увидел Вахо, хозяин и шеф-повар «точки» у моста через реку, ту реку, в которую впадала речушка, возле которой цвел Борин сад. Вахо стоял в дверях своей «точки», прислонясь к дверному косяку, и смотрел на реку под мостом, где его младший брат Миша мыл мотоцикл «Индиан». Мотоцикл был старше Миши лет на сорок. Вахо смотрел на Мишу и на его мотоцикл, но на самом деле, каким-то загадочным образом, боковым зрением, почти что ухом, но очень зорко, Вахо смотрел на Машу. Он разглядел ее хорошо и понял: в деревню приехало счастье. Вахо, человек на редкость громоздкий и молчаливый, перестал подпирать косяк, сошел с крыльца, чтобы взять сумку из рук Маши и чемодан у Бори. Уже у самого сада их догнал Миша на сверкающем мокром «Индиане», сложил чемоданы и сумки в мотоциклетную коляску и с треском доставил имущество доктора и докторши к фундаменту будущего дома. А вечером в гости к русскому доктору и его Маше пришла вся деревня. Молодым подарили все, что нужно для семейной жизни, включая большую кровать, телевизор, умывальник и даже детскую коляску, которая была пока не нужна. Еще подарили щенка кавказской овчарки по имени Барс. Маша стала звать щенка Барсиком.

Через семь лет у Бори и Маши было трое детей, два мальчика и девочка. Барсик стал огромным псом, добрым, как Маша, и неутомимым, как Боря, дом из чулана, как из семечка, вырос в разлапистое дерево, к которому каждый год прирастала новая ветка — то веранда, то мезонин, то гараж. В гараже стал жить «жигуленок». Не новый, но зато цвета морской волны.

Еще через год началась война.

Нельзя сказать, чтоб совсем внезапно. Она началась, как стихийное бедствие, с предчувствий, со слухов, с мигрени и ломоты в костях. Казалось, приближается гроза, или ураган, или сход лавины. Но вместо этого однажды днем с востока на запад по мосту мимо «точки» и стоящего на пороге Вахо промчались три боевых машины пехоты со странными знаменами на тонких длинных древках. Что-то средневековое было в этих белых знаменах с рыцарем и драконом. Через несколько дней с запада на восток в деревню проследовало четыре танка. На броне сидели с дюжину галдящих парней, все они палили из автоматов, как им казалось — в воздух. Однако они умудрились подстрелить мальчика, взобравшегося на орех возле моста. Рана была несерьезная, но, падая, мальчик сломал руку и ногу, так что русскому доктору пришлось повозиться. С этого времени Вахо перестал стоять в дверях своей «точки», а рядом с деревянной стойкой, набухшей и растрескавшейся от вина, поставил свою старенькую двустволку. Она ему не пригодилась. Как-то утром, не рано, часов в десять, Вахо смотрел в окно за реку, когда вдруг почувствовал, ощутил всем большим телом, что как раз оттуда что-то несется, со свистом раздирая воздух. И вдруг грохнуло, разорвалось прямо перед окном. Стекла лопнули и просыпались в котел с красным лобио. Все, кто был в «точке», бросились к окну, посмотреть — в чем дело, когда из того же мелкого леска, из зарослей акации за рекой раздалась короткая пулеметная очередь. Все посетители «точки» так и торчали в окне, головы не пригнули, ведь невозможно было представить, что кто-то всерьез стреляет в живых людей. Самой крупной мишенью в этой толпе раззявивших рты мужчин был Вахо. Со странным звуком, знакомым каждому повару, прямо в сердце вошла смерть. Этот звук — последнее, что слышал Вахо в жизни. Боря, которому пришлось доставать пулю, поразился, с каким тщанием была сделана эта штуковина, одна из сотен в пулеметной ленте. Пуля для Вахо. И еще Боря подумал, что у кого-то хранится сейчас пуля для Бори. Дальше его воображение не пошло. Он запретил своему воображению идти дальше. Однако с этого дня вся Борина семья перебралась жить в подвал. Только Боря и огромный Барсик бродили по ночам в пустом и тихом доме.

Бои за деревню продолжались все лето и осень. Мост взрывали и восстанавливали одиннадцать раз. На кладбище за деревней почти каждый день появлялись свежие могилы. В них лежали деревенские жители рядом с любителями езды на танковой броне, стрельб из винтовок с оптическим прицелом, ночных разведок, а также металлических пуговок и ремешков,

тяжелых пулеметных лент, больших и грубых ботинок на слоеной подошве, пестрых нашивок, шейных платков, по-пиратски повязанных на голове, галунов, орденов, бляшек и кокард. Многие, прежде чем умереть, попадали в руки русского доктора. Племя дикарей, купленное за пеструю хрень, любители фильмов про Рембо, жвачки и конопли, хвастунишки без капли мозгов — в последние минуты своей единственной и драгоценной жизни они умнели на глазах, становились тихи, задумчивы и даже красивы. Но видел это только русский доктор, пытавшийся их спасти. Некоторые из них оставались жить с перевернутыми кишками и мозгами, поумневшие или окончательно спятившие, уползали из этой нешуточной и чужой игры, из этого бедствия — на костылях, на своих двоих, но без рук, или без памяти, или без сердца и совести. Как они впустили в себя эту заразу? Какого черта, с чего началась эта черная оспа, болезнь, которой заболевает весь народ, но умирают главным образом мужчины в возрасте от пятнадцати до тридцати пяти? Боре некогда было думать. Он кромсал, чистил, сшивал людскую плоть, чернел лицом, худел и, чтобы уснуть, пил спирт. Он засыпал в кухне своего дома, обнявшись с псом, который терпеть не мог запах спирта и эфира, но очень любил и уважал своего хозяина. Барсик ждал, когда Боря уснет, а потом выбирался из-под его волосатой руки и шел в чулан в сердце дома, в котором пряталась дверца в подвал — проверить, все ли в порядке. За дверцей и узкой каменной лестницей, пробитой в глубь гранитной скалы, была заветная комнатка — прихожая к винному погребу. Без окон, но очень чистая, с низким, побеленным голубоватой известью потолком. Там всегда стояла ровная температура — плюс четырнадцать по Цельсию. Маша поместила в одном из углов комнатки икону Николая Угодника, перед иконой и днем и ночью горела лампадка. Маша и дети редко выходили наверх, только по особому разрешению Бори и под охраной Барсика. Мальчики компенсировали утрату свободы драками и возней на широком, сколоченном из душистых туковых досок топчане. А девочка притихла, побледнела и только просила все время сказок от мамы и братьев.

Дни шли за днями, надвигалась зима, война становилась все серьезней, все взрослее, все страшнее и гаже, все больше детей, стариков и женщин стало на ней погибать. Половина деревни была сожжена и разграблена, почти все мужчины воевали на чьей-либо стороне, а иногда попеременно то на той, то на другой, уже и регулярные войска, называвшие себя гвардией, которые трудно стало отличать от бандитов, укатывали и разбивали старую

дорогу своими самоходками и танками. В небе над деревней несколько раз появлялись военные вертолеты, а по ночам с воем на нижайшей слышимой ноте пролетали бомбардировщики…

В середине октября ранним утром, перед самым рассветом Боря услышал, как к дому подъехала машина. «Козел», — подумал Боря и не ошибся. На таких военных «козликах» «УАЗах», или на самоходках, или на БМП, или на чем попало, включая огородные тачки, к нему возили раненых. Либо к раненым увозили его, Борю. Доктор старался как можно реже покидать дом и никогда не закрывался изнутри, чтобы не возникло соблазна ломиться и стрелять. И сейчас он продолжал ждать гостей, лежа на своем матрасе в кухне под окном. Боря не спал на кровати с тех пор, как пулеметная очередь, скорее всего случайная, сдуру, прошила всю комнату, разбив светильник на тумбочке и продырявив ковер над диваном.

Боря услышал ворчание Барсика, перешедшее в радостное горловое урчанье, и понял — приехал кто-то свой.

Это был майор Витя Ермак, связист с военного аэродрома километрах в десяти от деревни. Боря принимал трудные роды у его жены, множество раз пил с ним коньячный «материал», про который Витя говорил — не хуже самогонки, и пару раз ездил рыбачить на закрытое водохранилище в Шамхор.

Витя выглядел странно. Он был в армейских галифе и сапогах, но вместо гимнастерки на нем нелепо топорщился тесноватый пиджак, а на голове глубоко на уши была надвинута кепка с пуговкой на макушке.

Занимался рассвет, в кухне стояли холодные сумерки, но керосиновую лампу они зажигать не стали. Просто сели за стол и поговорили.

— Где твои? — спросил Витя.

Борю давно не спрашивали, где семья, а если спрашивали, он коротко отвечал: «Уехали».

Вите Боря сказал правду:

— Здесь. В подвале.

— Плохо, — сказал Витя. — Совсем плохо. Мы уходим. Оставляем аэродром. И оружия остается — на две армии хватит. Представляешь, какая зима здесь будет?

Боря ничего не ответил. Он налил себе и Вите чачи в граненые стопки, достал из трехлитровой банки пригоршню соленых перцев.

— Есть хочешь? — спросил он Витю.

— Нет, не хочу.

Они выпили.

— Я приехал позвать тебя с собой. У нас в самолете есть

место, одно. Только одно… Летим завтра, аккурат через сутки, в Москву. Я с Наташкой и Олежеком оттуда в Новосибирск, на новое место службы. А ты бы…

— Не трать порох, — сказал Боря, усмехнувшись. Так в точности сказал бы сам Витя Ермак, он любил всякие солидные обороты, приличествующие легендарному Ермаку вообще и майору связи Советской армии в частности. Боря налил еще по стопарю.

— Да ты не понял!.. — Ермак притянул голову Бори к себе и зашептал ему что-то в самое ухо.

Боря слушал долго и не верил. Ничему не верил. И тогда Витя сказал:

— Я тебе своим Олежкой клянусь, что все так, как я говорю. А тебе выбирать надо. Зимой тебя подстрелят, что с твоими будет?.. Ну, все. Думай. Я тебя жду.

Витя уехал, а Боря остался думать.

Он думал часа два, пока не рассвело, потом спустился в подвал, разбудил Машу, поднялся с нею в дом и сказал:

— Маша, завтра утром я уезжаю, в Москву. Через неделю… Или через две недели… Или через три… В общем, я приеду и вас увезу.

Маша заплакала. Не потому, что она усомнилась в Боре, в том, что он приедет и всех их увезет, а потому, что она любила его, и знала его, и понимала, что он чувствовал, уезжая сейчас.

Маша ни о чем Борю не спросила, а просто, проплакавшись, принялась собирать мужа в поездку и заодно готовить дом к жизни без хозяина. Они вместе с Борей забили досками окна, выходящие на дорогу, и обвили забор колючей проволокой — затеи пустые, но все-таки не совсем же бессмысленные.

Потом Боря пошел к Мише, брату убитого Вахо. Миша несколько месяцев пропадал на войне, а в начале осени его привезли едва живого, с перебитыми ногами и выгрузили на носилках возле родного дома, вернее, возле того, что осталось от дома. А осталась только летняя кухня да хлев, в котором вместе с осликом и тремя козами жила старуха-мать, да вдова Вахо, да двое его ребятишек. Боря Мишу собрал по частям, но части еще не срослись хорошенько, так что на ноги Миша пока не встал. Но собирался.

И вот на виду у всей деревни и у тех, кто в тот момент ею владел, Боря перевез все Мишино семейство и самого Мишу в свой дом. Миша переезжал в коляске «Индиана», которую толкали дети Вахо. А сам мотоцикл вел в поводу Боря. Бензин в деревне исчез, казалось, навсегда. Только солярка, необходимая для танков и БМП, была кое-где запрятана по домам, но солярка была

валютным, стратегическим товаром. Редким и тайным. Вот керосин в деревне был припасен в изобилии, в этом сказывалось благословенное соседство военного аэродрома.

К вечеру к русскому доктору привезли нескольких раненых. Уже ночью, осмотрев, подштопав и перевязав всех, Боря вышел на поляну перед домом и сказал угрюмому бородатому греку, бывшему в этом битом отряде за главного:

— Больше раненых не вози. Уезжаю я. К семье.

— Куда это? — подозрительно поглядел на Борю грек.

— Говорю тебе, к семье, к своим. Вот дом на соседей оставляю. Довоюете — вернусь.

Грек забрал своих раненых в БМП и уехал, а Боря спустился в подвал, поцеловал спящих детей, обнял Машу, которая больше не плакала, взял сумку, с которой в былые времена уезжал или уходил на вызовы, и отправился пешком на военный аэродром.

С Мишей он прощаться не стал, между ними все уже было договорено: где в доме спрятан автомат, где патроны, где гранаты и в каких случаях надо ими пользоваться, а в каких не стоит. Миша за последние месяцы стал взрослым. На это, во всяком случае, надеялся Боря. Больше ему надеяться было не на кого и не на что.

У меня Боря оказался примерно через неделю, его привел с вокзала, где русский доктор ночевал, мой старый приятель.

В то время я только начинала жить в Москве, меня поселила к себе в мастерскую подруга-искусствовед. Мастерская была просто комнатой в прелестном ампирном «допожарном» особнячке, чудом сохранившемся с начала девятнадцатого века в переулке возле Поварской. Хлебный переулок… Место бойкое. Кто только у меня там не бывал! Подруга-искусствовед была женщиной очень интеллигентной и, главное, доброй, она терпела. Ей, когда она изредка опасливо появлялась в особняке, даже нравились люди, которых она заставала — то это были молодые поэты с Урала, то многодетная семья немцев, которая из родных моих краев переселялась в Германию и ждала документов, то великая армянская художница с племянницами, да мало ли еще какие странники. Было это Время Странствий, достойное Книги Перемен.

Боря был из странников странник… Потом, много после, он оказался улыбчивым, остроумным малым, рассказчиком забавных историй. Он и свою историю рассказывал как цепь анекдотов… Потом. А в те две недели, что он у меня жил, точнее — приходил ночевать, он почти не говорил. Мой друг объяснил мне, что Боря хочет арендовать военный самолет, чтобы вывезти семью из

горячей точки. Дело это безнадежное. Еще и потому, что денег нет. А деньги нужны огромные.

У меня был кое-какой опыт по части полетов в горячие точки, и однажды я попробовала поговорить об этом с Борей. Пока я перечисляла ему начальников, механиков и пилотов, он внимательно слушал и только кивал и говорил: «Знаю. Не годится». И коротко объяснял — почему. Потом он сам стал говорить, просто перечислять организации и фамилии, где бывал, с кем встречался… Это была целая империя авиации, империя средневековая и разваливающаяся. Боря знал о ней все. Он встретился со всеми авиационными начальниками всех ведомств и частей, от тех, кто тушил пожары, до тех, кто ловил бандитов. В это время тушить пожары и ловить бандитов никто и не думал. Так почему было бы не слетать в одну маленькую горячую точку, где в саду, в подвале уцелевшего дома сидела с тремя малыми детьми русская женщина, привезенная в этот самый рай самим Борей? Женщина слишком наивная и добрая для войны, слишком красивая, чтобы хоть нос высунуть в мир обезумевших, с цепи сорвавшихся вооруженных и голодных, потерявших честь и совесть мужчин.

Когда Боря говорил со мной, он ни разу не повысил голос. Он был очень задумчив, расчетлив и тверд. Как будто операцию делал — без наркоза и на самом себе. Он не имел права терять сознание от боли, и он обязан был выжить.

Я поняла и перестала его расспрашивать. Но он уже не мог остановиться, разговаривая со мной, он словно думал вслух. Тогда я и узнала, что шептал ему в ухо майор Ермак. Он назвал имена и телефоны членов одной банды, все это были летчики высокого класса, асы, зарабатывающие доставкой чего угодно куда угодно. С ними, считал Ермак, можно было договориться. Конечно, если отыскать денег. Много денег.

Боря этих бандитов нашел сразу. Они сидели неподалеку от Главтелеграфа, в неприметном офисе, в который вела прямо с улицы покрашенная суриком стальная дверь без таблички. Они назвали сумму. Эти хотя бы назвали сумму и сроки. Остальные просто не хотели слушать. Так что Боря как начал свои поиски с этих бандитов, так к ним и вернулся. Главным у них был полковник по фамилии Альпеншток, так мне запомнилось.

Боря прекратил поиски самолетов и летчиков. Оставалось найти деньги…

И вот на несколько дней он исчез. А вернулся на бензовозе с уральским номером. Он ворвался в мастерскую, сунул руку за шкаф и достал оттуда, к глубокому моему изумлению, пистолет. Сунул его за ремень, как это делалось испокон веку во всех

детективах, и сказал:

— Дня через два-три Маша приедет, с детьми. Можно?

— Можно-то можно. А разве ты не приедешь?

Боря ответил не сразу:

— Нет, я попозже.

И ушел. Я вышла за ним, и тут-то и увидела бензовоз с крупной надписью «Огнеопасно!»

Прошло два дня. Были сумерки, шел первый снег, когда мне в окно постучалась чья-то робкая рука. Я пошла открывать и увидела перед крыльцом небольшую толпу. Впереди всех стояла молодая женщина, про которую я сразу поняла — Маша, а за нею человек пятнадцать, из которых больше половины — дети, остальные — женщины преклонных лет и один долговязый парень на костылях, Миша — догадалась я.

Мастерская моей подруги была в окружении еще трех комнат-мастерских, самая большая комната с камином была общей гостиной, вот там с согласия всех художников поселился на несколько дней этот табор. Главной сложностью было — не засветиться. В буквальном смысле. По соседству с нашим особнячком было посольство одной небольшой европейской страны, его обитателей очень волновал свет в окнах домика, про который было точно известно, что это мастерские художников, где по ночам никто не живет. После девяти вечера мы не зажигали свет, ребятишки облепляли окна гостиной, за которыми валил и валил мягкий московский снег, гуляли толпы спокойных, сытых людей, сияли фонари. Дети вели себя необыкновенно тихо, они и разговаривали шепотом. Как в кинотеатре. С каждым днем наш табор редел, стариков и детей разбирали родственники и друзья, для них начиналась новая жизнь. А Боря все не появлялся.

Я в те времена работала сразу в нескольких местах, возвращалась поздно и всякий раз заставала детей спящими, а Машу вяжущей свитер для Бори. Мы с нею подолгу разговаривали — о детстве, которое обе провели на Урале, о доме, который они с Борей построили и оставили, об их детях, о том, как они жили три недели без Бори. Автомат и гранаты Мише не понадобились, но, если бы не Барсик, вряд ли они бы дождались Борю. Почти каждую ночь незнакомые мужчины со страшными голосами колотили прикладами в дверь. Им отвечал только Барсик, отвечал таким рычанием и лаем, что страшные голоса пришельцев линяли и блекли, переходили на шепот и в конце концов удалялись вместе с шарканьем тяжелых ботинок по гравию тропинки. Она рассказывала мне об этом на разные голоса, изображая все происходящее, — так она привыкла рассказывать

детям бесконечные сказки в подвале. Она рассказывала, и сама смеялась над собой. Но бывало, и плакала потихоньку. Маша горевала о многом, о соседях, о доме, в котором собиралась прожить всю свою жизнь… Но Барсик — был главной ее болью. Она знала, что рассталась с ним навсегда.

На вопрос, почему Боря не приехал со всеми, Маша отвечала просто: «У него дела». Она ждала его каждый день, я видела, как она слушает шаги под окном, как встречает любой телефонный звонок и стук в дверь. Но Боря все не ехал.

Однажды, а было это за день до Нового года, я вернулась, как всегда, поздно вечером, открыла двери своим ключом, зажгла ночник и увидела такую картину: на полу поверх ковриков, одеял, диванных подушек, пальто и шалей, раскинув руки, спал Боря в новом, связанном Машей свитере, в ватных штанах и теплых носках… На правой его руке спала Маша с девочкой, на левой — мальчики.

Утром я узнала, что за дела делал Боря и как они ему удались.

Во-первых, про бензовоз. Решив во что бы то ни стало достать деньги, Боря сходил на Главтелеграф и сделал несколько звонков в родной уральский город. После чего отправился на вокзал и в общем вагоне укатил на Урал. Через сутки он встретился с бывшим мужем Маши, боксером, который уже больше не занимался боксом, а работал «крышей» на нефтехимическом заводе-гиганте. Бензин они «одолжили» с охраняемого боксером завода, нашли бензовоз с водителем, как могли, заплатили шоферу, и Боря на бензовозе погнал в Москву, где большую часть бензина продал знаменитому бензозаправщику Колерову. С вырученными деньгами и остатками бензина он отправился к полковнику Альпенштоку (за фамилию не ручаюсь) и отдал ему задаток, честно предупредив, что окончательно расплатится к Новому году. Летчик-ас согласился, и через три часа они уже летели за Машей на штурмовике. Не на пустом, а с бочками все того же уральского бензина.

Эти бочки у них с душевным трепетом купили те, кто на тот момент владел тем самым военным аэродромом, на котором совсем недавно, но казалось — тысячелетие назад, нес службу майор Витя Ермак. Не зря он клялся своим Олежеком: все получилось именно так, как он говорил…

Вооруженные до зубов благодарные покупатели снабдили Борю «козлом», возможно, все тем же, на котором осенью к нему домой приезжал Витя, а также шофером. Предлагали в придачу станковый пулемет с гранатометом, для безопасности. Но Боря

отказался. Через двадцать минут он был у родимого сада и дома, запорошенных сухим колючим снежком. Дом выглядел необитаемым. Сердце у Бори сжалась до размера грецкого ореха.

— Барс! — позвал он осипшим, не своим голосом.

Дверь распахнулась, и огромный Барсик выкатился с непристойным, щенячьим визгом. Борю он, конечно же, повалил и не отпустил, пока не облизал всю его покрытую до глаз черной щетиной физиономию.

Так наступило короткое, ослепительное счастье. Все обошлось. Почти все обошлось. Маша и дети были здоровы и готовы в дорогу.

Боря проехал по деревне, зашел к соседям, у которых, он знал, была родня в России, предложил «подбросить». К вечеру туго набитый старыми и малыми «козел» доставил пассажиров к борту самолета и съездил во второй рейс — за Бориной семьей и Мишей, которого необходимо было показать в хорошей клинике в Москве. Так закончилась эта история.

Почти закончилась. Ведь сам-то Боря остался в своей «горячей точке». Он остался, потому что помнил о долгах: летчику-асу, бывшему Машиному мужу-боксеру, да и уральскому гиганту нефтехимии за шестьдесят тонн экспроприированного бензина. И русский доктор отправился через воюющую горную страну с заваленными снегом перевалами к морскому побережью, в мандариновые края, из которых очень трудно, но все же ходили поезда на север. Там он на оставшиеся бензиновые деньги купил пять «секций» мандаринов и покатил в мерцающем режиме, напоминающем пульс умирающего, в родные края — на Урал. Пару раз он пожалел, что отказался от станкового пулемета. И раз тридцать благодарил бога за то, что отказался. Он приехал в свой заваленный сугробами тихий город под Новый год и продал мандарины. А затем уже отправился за женой и детьми ко мне, в московский Хлебный переулок. В сумке, той самой, докторской, с которой Боря ходил к деревенским своим пациентам, он привез мандарины. Мы встретили Новый год.

Что было дальше? Карьера русского доктора для Бори закончилась. Он навсегда оставил свою профессию, как пришлось оставить свой любимый, главный в жизни, дом, как и Барсика, лучшего в мире пса.

Сейчас он живет в Торонто, в будни играет на бирже, а по воскресеньям — во дворе своего двухэтажного дома — в баскетбол с детьми и соседями. Дети учатся в колледже и говорят по-русски с изрядным акцентом. С Машей мы переписываемся по электронной почте. Недавно они завели собаку. Все забываю

спросить, как ее зовут.

После войны (1996)

Он был из тех, кого сделала та война, локальная, в «горячей точке». Он не погиб на ней, но она его сделала. Он стал одним из тех зомби, что не боятся нажать на курок, потому что не видят разницы между жизнью и смертью, не видят границы. Они эту границу нарушили.

Оружия у него в тот раз не было, ни «макарова», ни «калашникова».

В тот раз у него была машина — красная «Лада»-«восьмерка», и в баке бензин, и еще канистра в багажнике, и он гонял по городу как ненормальный. Он знал, что у него не все в порядке с головой, но ему было до лампочки. Он был не один такой, и он это видел. По темнеющему городу, по разбитому асфальту пустынных улиц с оглушительным треском катались такие же, как он, многих он знал и знал, что у многих есть оружие.

Чего он хотел? Он не знал.

Но когда он увидел женщину, то решил, что хочет ее. Она была одна и трясла рукой, в надежде остановить машину.

Она уже полчаса стояла на этом углу со старым отцом Ники, который вышел, чтоб проводить ее, «усадить на такси». Он был крупный интеллигентный седоусый старик, к тому же многим известный в городе: когда-то возглавлял строительный трест. Он полагал — это поможет ей добраться до дому живой. Ведь даже бандиты, думал он, только сейчас стали бандитами, а раньше кем-то были, кем-то, кто мог знать его или его сына… Он не знал эту русскую, знал только, что у его сына есть знакомая на дальнем конце города, почти в «Африке» (так назывался самый дальний район). Уезжая в Германию, сын оставил ключ и сказал: «Если приедет русская (только не говори мне, что ты о ней не знаешь!), отдай ключ и помоги, чем сможешь». Кем была эта женщина его сыну? Когда она приехала за своим ключом, старик, увидав ее, подумал: «Нет, это не женщина Ники. А жаль». В общем, она понравилась старику, и он действительно хотел ей помочь. Проще всего было бы оставить ее ночевать у себя. Но она приехала только на день, чтоб забрать кое-какие бумаги. Завтра утром у нее был самолет обратно в Россию. Оставалось только «усадить на такси»… Какие уж тут такси!..

Они стояли на краю тротуара, у старика онемела и замерзла поднятая рука, стало смеркаться, но редкие машины, как сговорившись, неслись на сумасшедшей скорости, ни одна даже

не замедлила ход. «С ума они все посходили!» — возмущался старик. И чувствовал, что говорит правду.

Сомнения не было, мир свихнулся. После того как президент бежал из бункера, лучше не сделалось. Становилось все хуже, и хуже, и хуже. Даже весна не принесла облегчения. Даже лето всего и позволило горожанам согреться, но не отдохнуть, не расслабиться, не наесться досыта, не придумать, чем и как жить. Все, кто погиб на войне, были похоронены, так что кладбища спустились с холмов и подступили к жилым кварталам. Все, кто мог уехать, — уехали. А кто не мог — затаились, легли на дно, или стали бандитами, или сошли с ума. Или все сразу…

Стало смеркаться. В конце концов, она сказала старику: «Вы бы спрятались ненадолго. Я сама остановлю машину». — «Это опасно!» — возразил старик и все-таки уступил, потому что она была права. Он зашел за куст, и действительно, очень скоро завизжали тормоза, запахло паленой резиной, и старик поспешно вышел из-за куста. Она уже садилась в машину, в ободранную красную «восьмерку». «Дочка! — крикнул старик. — Позвони, как приедешь! Я буду волноваться!»

Все это он кричал нарочно, чтоб тот, кто, как сумасшедший или как бандит, без дела гонял по городу, знал — она не одна в этом городе, она не шалава, она «дочка».

Старик не видел, успела ли она помахать ему рукой, не рассмотрел, как ни пытался, номера машины. Фонари в городе не зажигались больше года. Эта русская исчезла из его жизни навсегда, и старик даже не был уверен — помог ли ей.

Она села бы сзади. Но это была не «девятка» и не «шестерка», а «восьмерка», у «восьмерки» нет двери для заднего сиденья. «Не повезло», — подумала она, запрещая себе бояться.

Она успела посмотреть на человека за рулем, когда садилась в машину. Слабая лампочка загорелась в «восьмерке», когда он открыл дверь. Его лицо не было каким-то особенным. Это было измученное, небритое, нервное лицо человека лет за тридцать. Ей не понравилось только, что он не посмотрел ей в глаза.

Мотор взревел, машина сорвалась с места, и они понеслись по расковырянным гусеницами танков улицам. Единственная фара металась по рытвинам, вырывая стены домов и темные окна, за которыми словно никто и не жил.

Она знала город так хорошо, что могла бы прочертить все маршруты к своему дому из любой точки. Многие из этих маршрутов, несмотря на расстояния, она прошла пешком. Но после десяти минут безумной скачки по крутым закоулкам она потеряла направление. Время от времени их машину с воем

догоняла какая-нибудь колымага, или они догоняли кого-то, и начинались гонки, упорные, опасные и бессмысленные. Гонки заканчивались, как и начинались, внезапно, машины разъезжались по переулкам, чтобы больше уже не встретиться.

В конце концов, она решилась спросить:

— Куда это мы заехали?

Лучше бы она не спрашивала. Ей не понравился собственный голос. Он выдавал страх. Не понравилось ей и то, что ответа на ее вопрос не последовало. Она попробовала глубоко вздохнуть, но внезапные повороты и толчки сбивали дыхание. Страх превращался в панику, но тут мелькнуло знакомое здание — круглый, в форме ротонды ресторан у подножия одного из холмов. Она вдруг вспомнила, как в этом ресторане один старенький толстый жулик, добрый милый жулик довоенных времен пытался привлечь ее внимание: он сидел, не снимая белой ковбойской шляпы, закинув ноги в аккуратных дорогих башмачках с толстой подошвой на стол, покрытый крахмальной скатертью, и пытался раскурить сигару. Сигара не раскуривалась, короткие ноги не желали лежать на столе, шляпа сползала на нос… Она внезапно засмеялась и успокоилась. И тут же почувствовала на себе взгляд, тяжелый, холодный. Тот, кто сидел рядом с ней, не собирался производить впечатление, он просто в любой момент мог убить ее, она поняла это и удивилась. Зачем? Зачем ее убивать?

— Куда мы едем? — спросила она резко.

— А куда ты хочешь? — она наконец услышала его голос. Голос был глухой, бесцветный.

— Да ведь мы договорились, на Ленинградский проспект.

— Это далеко. Зачем туда ехать?

Она изумилась:

— Я там живу! Вы же согласились меня подвезти…

— Кто тебе сказал?

У нее перехватило дыхание. И ведь действительно он ей ничего не сказал, когда она назвала адрес, только кивнул. Кивнул, чтобы она села, а собирается ли везти по адресу — не сказал.

— Но я вас так поняла…

— Как ты поняла — это твое дело. А я так понял, что ты согласна ехать, куда я захочу.

— Да вы с ума сошли!

— Еще не сошел, только ты лучше замолкни.

Из переулка, подрезав красную «восьмерку», вылетел тяжеловесный допотопный «ЗИЛ», и снова начались гонки. «ЗИЛ» был посрамлен, слышно было, как он с грохотом влетел своей

никелированной мордой в какой-то сарай.

Водитель чуть снизил скорость, выбрался из узких улиц на дорогу, которую она не могла никак узнать, и погнал по ней, не сворачивая, словно знал, куда едет. Она больше не спрашивала — куда. Она спросила:

— Что вам от меня нужно?

— Мне нужна женщина, — ответил он и закурил.

Она снова попыталась рассмотреть его. Он был моложе ее лет на десять, лицо красивое, только глаза какие-то неуловимые, запавшие, тусклые и скользкие одновременно.

— Я старше вас, и я не ваша женщина. Вам что, трудно найти женщину?

Он не обиделся. Он просто ответил:

— Ты уже здесь.

— Послушайте, я не подхожу, со мной так нельзя… В этом городе наверняка есть много женщин, с которыми вам было бы действительно хорошо.

— Мне не надо хорошо. Мне надо сейчас.

— Да нет же! Этого не будет!

— Слушай, сука, ты села в машину, и я сделаю с тобой, что хочу. Или я тебя убью.

«Этого не может быть, — подумала она. — Быть этого не может!» Но она уже верила каждому его ужасному слову. И стала искать спасение, или хотя бы надежду на спасение.

— Послушайте, вы же видели, меня провожал пожилой человек, он просил меня позвонить, он меня хватится, он видел ваш номер, вас найдут!

— Что ты ему делала, что он тебя хватится? А ведь он тебя старше… — Кажется, он пытался издеваться. Но если он и шутил, голос его, все такой же бесцветный, не выдавал никаких настроений. — Говоришь, номера знает… У меня в багажнике штук десять номеров. Слышишь, гремят. Номера он знает… Расскажи мне, что вы с ним делали, пока он не вывел тебя на улицу.

— Послушай, ты! Ты откуда родом?! Ты что, нормальных людей не видел? Нормальных, порядочных людей!

— Скоро я узнаю, какая ты нормальная и порядочная.

Она почувствовала, как с лихорадочной скоростью понеслись мысли и образы в ее голове. Вот ее дом с белым бумажным крестом на оконном стекле четвертого этажа. Она не была в нем год. Господи, как она хочет оказаться сейчас в этом доме и немедленно проснуться на старом диване! Она приехала на один день просто забрать документы, мамины фотографии, пару книжек. Она и представить себе не могла, что застанет город,

который любила, людей, которые, как и она, пережили наконец эту чертову заваруху — такими вот. Кто этот парень? Кем он был до войны? Студентом? Младшим научным сотрудником? Актером? Инженером на стройке? Водителем троллейбуса?.. С ним надо познакомиться, он просто забыл сам себя, его контузило, он не в себе!.. Надо познакомиться, знакомые не насилуют и не убивают!

— Послушай, как тебя зовут? — он молчал. Ему не хотелось знакомиться.

«Ну, нет, — подумала она, — я не буду облегчать тебе жизнь!» И продолжала спрашивать:

— У тебя ведь есть мама? И сестра есть. И девушка. Или будет девушка, которую ты полюбишь! Но когда ты придешь к ней, ты вспомнишь меня. И у тебя ничего не выйдет!

— Да ты просто сука. Замолкни!

Она услышала в голосе у него какие-то живые ноты, грубые, хамские, но живые. И в ней затеплился луч не надежды даже, но просто точка тепла и света. «Ага, злишься! — думала она. — Значит, ты живой, а не мертвый упырь. И у тебя есть мама. И сестра. И девушка. И они мне помогут!» А вслух она сказала:

— Я не сука. И ты не сука. Как тебя зовут?

Он не ответил.

— Слушай! — взмолилась она. — Отпусти меня! Я буду ставить за тебя свечки в церкви, буду отмаливать твои грехи. Ведь есть же у тебя мама, и дети есть или будут. И родится у тебя дочка, ты не сможешь ей в глаза смотреть… Отпусти меня, не бери греха на душу!..

Вот тут он ударил ее, не глядя, по лицу. Она ждала, что он ее в конце концов ударит, но только и успела, что подставить щеку, правую. А когда он размахнулся во второй раз, то она успела подставить левую щеку, и тут же вспомнила Христа. «Женщин в писании по лицу не били. Даже Марию Магдалину», — пронеслось в ее мотнувшейся голове, продолжавшей стремительно думать и даже мечтать. Мечты были о свете, о воздухе, о свободе — о таких простых вещах, которые и были до сих пор — ее жизнь.

И тут она услышала, как он орет, и слова были не слова, а грохот камней в ущелье:

— Заткнись, сука! Обмануть меня хочешь! Какая жена, какие дети? Ты просто сука. Тебя уже нет! Я таких, как ты, сотню имел. И ни одна сама не сдохла. И ни одну я не помню. Будешь выступать — убью… Убью…

Он замолчал. В ее голове что-то сломалось, все стихло, мысли, образы, мечты — перестали сверкать и носиться по кругу.

Она выпрямилась, вздохнула, и стала смотреть в ветровое стекло, в темноту. Страха уже не было, он куда-то исчез. Только тоска, смертная. Она примерялась к разлуке. Разлуке со всем, всем, всем, что было ее жизнью. Они ехали несколько минут молча, пока она не спросила:

— Так ты убивал людей?

— Убивал. — Его голос снова осел до той же тусклой ноты. — Убивать легко, — добавил он зачем-то.

— Легко, говоришь?

— В первый раз трудно, потом легко. Автоматом легко. И пистолетом легко. Сейчас у меня с собой нет. Что-нибудь придумаем… Бензин есть, целая канистра… А если ты мне понравишься, я тебя отпущу. Анекдот знаешь? Постарайся расслабиться и получить удовольствие.

Она вспомнила этот анекдот. Полицейского, почему-то английского, дама спрашивает, что делать, если на нее нападет насильник. И полицейский отвечает этой дуре — расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Этот анекдот когда-то казался ей смешным.

Как всякая женщина, она когда-то, и не раз, думала о насилии. Ну, отвратительно. Но в конце-то концов, мало ли отвратительного происходит на свете, и особенно с женщинами… От этого не умирают. «Ни одна сама не сдохла». Ее голова все подсовывала и подсказывала ей подсказки, почему она может остаться в живых. Все мужчины совершают акт насилия, а девушки теряют невинность. Все мужчины отчасти звери, до конца понять их нельзя. Спасение женщины в покорности. Господи, всего-то ноги развести. Не умирать же в самом деле из-за такой ерунды… Перетерпеть, быть просто сукой, понравиться, не сдохнуть, остаться живой, вернуться под утро в дом с бумажным крестом на стекле, взять мамины фотографии, книжки для дочери, документы и уехать, и обнять свою девочку, и даже не вспомнить, никогда ни о чем не вспомнить…

Они уже мчались где-то за городом по пустой грунтовой дороге в кромешной тьме. Дорога, наконец, вовсе исчезла в прошлогодней траве. Единственная фара «восьмерки» ничего не освещала, упираясь в пустоту.

Он затормозил, заглушил мотор, достал сигарету и закурил. И сказал:

— Выходи.

Она открыла дверь и вышла. Ее окружила темная холодная бездна, а над головой разверзлось небо с миллиардами отчетливых звезд. В их почти нереальном свете она различила сухую траву у дороги, кусты, услышала, как они шуршат на ветру.

Справа от дороги откос горы улетал куда-то вверх, к звездам, а слева, за кустами, угадывался обрыв, и там глубоко внизу спал город. Огней почти не было. В былые времена в любой час ночи этот город отвечал бы звездам, отражал бы их сотнями, тысячами огней…

«Вот и все, — подумала она. И еще она подумала: — Вот здесь». Хлопнула дверь — это вышел из машины он. Она увидела огонек его сигареты, сжала в кармане куртки ключ от своего дома.

— Слушай, — сказала она и удивилась, каким тусклым стал ее голос, почти как у него. Рядом с той границей, которую он перешел когда-то, первым, видимо, умирает голос. — Слушай, я согласна.

Он вышвырнул сигарету, было видно, как красный ее огонек по дуге улетает в ночь. Его глаза, такие темные, запрятанные в глазницах, сейчас слегка светились неживым, холодным свечением. Как гнилушки на болоте — подумала она. Она набрала побольше воздуху, посмотрела на звезды.

— Я согласна, чтоб ты меня убил.

— Согласна? — переспросил он.

— Согласна. Убей.

— Почему? — спросил он. И голос его словно ожил. — Ты кто такая, чтобы решать?

— Я просто женщина, и я тебя слабей. Но я живая. А ты умер. Бедная твоя мама. Ты дал себя изнасиловать этой войне и умер. И думаешь, что можешь теперь сам убивать и насиловать. Теперь можно, теперь легко. Но я пока что есть. То, что ты задумал, невозможно, пока я жива. Тебе придется меня убить. Тогда уж и делай, что хочешь.

Он словно и вправду умер, так глубоко задумался. А она, пока он не убивал ее, подняв лицо к небу, искала Большую Медведицу и нашла. И Полярную звезду. И созвездие Кассиопеи, похожее на W.

Хлопнула дверца. Он сел в машину. А она все стояла в ожидании смерти. Затарахтел мотор, зажглась фара. Она отодвинулась к краю обрыва. «Столкнет машиной», — подумала она. И представила, как летит в темноту, к своему городу.

Но машина развернулась и вышла на дорогу. «Сейчас он уедет», — подумала она и услышала, как застучало, словно ожив, сердце. Но он не уехал. Он открыл дверь и крикнул ей:

— Садись! Довезу тебя на проспект.

Они ехали, и ехали, и ехали, и только когда закрыла часть звездного неба знакомая громада хлебного элеватора, она спросила:

— Так как тебя зовут?

— Давид, — ответил он.

Так они познакомились. Через пять минут, когда выходила возле своего дома, она еще сказала ему:

— Я буду помнить, что ты меня не убил.

— Нехорошо убивать живых людей, — ответил он, и в утренних сумерках ей показалось, что улыбка мелькнула на его неподвижном лице.

— Я буду в церкви ставить за тебя свечку, пока живу.

— Как хочешь, — ответил он и уехал.

Она поднялась на свой четвертый этаж, в квартиру с бумажным крестом на окне, открыла фанерную дверь ключом, который по-прежнему лежал в кармане, вошла в комнату, пахнущую и знакомо, и незнакомо — пылью, холодом, разлукой, села на старый диван, о котором совсем недавно и так несбыточно мечтала. И заплакала. Она плакала над подарком судьбы — продолжать жить в этом измученном мире.

Контрабандный товар (2008)

«И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?»

М. Ю. Лермонтов, «Тамань»

Пути текстов неисповедимы, как и все божьи дела. С Розой Валерьевной мы не знакомы. Знаю только, что эта тетрадь была изъята у нее на армяно-грузинской таможне в 2010 году, поздней осенью, когда на таможне было пусто и уныло и вот-вот должен был выпасть снег. Вежливые грузинские таможенники в красивой форме очень и очень скучали. Они этот не слишком последовательный дневник, как ни странно, прочли, передавая друг другу. Что они по поводу прочитанного подумали — не знаю. Но, однако же, один из них, осматривающий мой багаж, вдруг мне его предложил, а я взяла. Дневник написан чудесным, давно исчезнувшим из обращения почерком в тетрадке, старенькой, с затертым кожаным переплетом. Первые странички три в ней — какие-то подсчеты и выкладки экономического характера, написаны очень, очень давно, помутневшими чернилами. Потом страница пропущена, затем следует картинка, нарисованная не слишком твердой рукой: среди гор по каменистой дороге идет упрямая старушка с задранным подбородком. На ней маленькая шляпка, на носу круглые очки, а в руке сложенный зонтик-трость. Под картинкой подпись: «Я иду по Военно-Грузинской дороге». Дневник не закончен и не подписан. Имя и отчество автора — Роза Валерьевна — поминается в тетрадке один раз в прямой речи. Найти автора у меня нет никакой возможности. И я решилась одну историю из дневника опубликовать, слегка изменив некоторые названия и имена, чтоб не навредить никому из персонажей. Может, автор и сам найдется. А если нет — то все-таки дневник послужит времени и тому странному сообществу, к которому автор явно принадлежит — немногочисленному читающему человечеству.

…Довоенное время запечатано во мне, как «Кагор» в старой бутылке, я пьянею от него, а вино не убывает. Запах, цвет, вкус, градус времени — дают мне силы. Вот, оказывается, кто такие старые люди — закупоренные бутылки… Время моего детства просто необъятно огромно, потому что реально, а реальность бездонна, никому ее не сосчитать. Она живет. Голоса мамы и

папы звучат во мне. Обе мои бабушки — деревенская баба Нюра и питерская бабушка Ася — учат меня каждая своему и никак не могут всему научить. Потому что этого «всего» — у обеих бабушек бесконечно много.

Знаю ли я, что именно меня так «закупорило», почему все сохранилось?

Возможно, начало войны, первый год блокады — вот пробка, застрявшая во времени и во мне.

Последнее воспоминание детства: в сентябре сорок первого наш детский сад вывозят из Комарова, с «летней дачи», которая засиделась на манной каше и компотах из сухофруктов до самой осени. Нас забыли. Но вот вспомнили и прислали за нами два пузатых голубых автобуса со словом «Дети» над маленьким ветровым стеклышком, по которому елозит дворник. Сейчас нас повезут домой, в Ленинград. Мне велят взять за руку и не отпускать сестренку Катю, она в том же садике, только в самой младшей группе, а я в самой старшей. Я помню горячую ладошку, до сих пор крепко держу ее, не отпускаю. Сестренка ревет — оставила зайца в спальне дачи, я на нее сержусь, потому что жалею… Помню все. И курточку на Кате, перешитую из моего пальто. И пуговицы заячьих глаз. И незнакомую тетю в пилотке, командующую нами. Она очень на нас на всех сердилась, и я понимала: она нас жалеет.

Моя Катя уже сорок лет живет в Грузии. Так сложилась жизнь. Я в пятьдесят третьем закончила десятилетку с золотой медалью, и уехала в Москву, поступила в Первый мед, а Катя, девочка удалая, вся в бабу Нюру, после восьмого класса соскучилась без меня в Ленинграде да и сбежала в Пятигорск. Чтобы вместе с подружкой поступить в медицинское училище и пожить хоть недолго в теплом и сухом климате. Так она оправдывалась в прощальном письме. Катя в училище поступила, но не закончила, потому что влюбилась в красивого парня, в Нику Тваури. И он увез мою сестренку к себе на родину. Бабушки наши одна за другой стали в Ленинграде болеть, я вернулась из Москвы к ним, на улицу Марата. А Катя на Новый год приезжала к нам в гости, но потом как принялась рожать — Пашу, Гию, Тимоте и наконец Нану — Нануличку… Ездить ей в Ленинград стало невозможно. У меня своей семьи не получилось, я проработала всю жизнь в Институте космической медицины (не косметической, а именно космической, молодые часто переспрашивают). К девяностым годам в стране стало не до космической медицины, и меня отправили на пенсию… Я с моей пенсией не могла поначалу ни приехать к Кате, ни помочь ей хоть как-нибудь. Но, по счастью, удалось мне пристроиться в детскую

библиотеку, на маленькую, но постоянную зарплату. Там и служу, причем с удовольствием. Ребятишек каждый день наблюдаю, и сама в детство впала, книжки на рабочем месте безнаказанно читаю — Пушкин, Толстой, Лермонтов, Льюис Кэрролл, Стивенсон, Мифы Древней Греции и Сказки народов мира… Как сказал поэт, «Только детские книги читать…» Так и живу.

А Катя, не старея, бурно обитает в Грузии, в своем Гори, со своими детьми, с Никой Тваури и со всеми его родственниками. Не в том, не в знаменитом Гори они живут, где родился Сталин, а в совсем маленьком местечке.

Я туда езжу сорок лет. Самой не верится.

Вся моя грузинская родня почти двадцать лет безработная, пособие по безработице получает. На которое жить нельзя. Но ведь живут! От случая к случаю кое-что перепадает. Один из пожизненных друзей, дядя Веня, уехал из маленького Гори, сказавшись евреем, в Германию. То есть он и в самом деле еврей, через вторую жену. Думаю, это обстоятельство ему никогда в жизни не пригодилось. Но в 1995-м — пригодилось! Он уехал с женой-еврейкой, но, когда она, бедная, скончалась, Веня как-то дотошным немцам еврейство свое вновь доказал. Местечко Гори не только грузинское, не только осетинское, но и еврейское. Они сюда в четвертом веке пришли. И вот живет дядя Веня под Дрезденом один-одинешенек, ходит в синагогу поболтать по-русски или по-грузински, вспоминает свою жизнь в родимом маленьком Гори и посылает друзьям детства и молодости две-три сотни евро не каждый месяц. Да и я посылаю, сущие крохи. Еще кто-то. В общем, с деньгами, как Коля Тваури говорит, у всех «пшик». Правда, если ЧП случается, то друзья, поднатужившись, им помогают все вдруг. Например, когда дом обвалился. Не от войны. А, как говорит Коля Тваури, — от конструктивизма. К дому все пристраивали и пристраивали то веранду, то балкончик, или кухню расширяли, а под конец третий этаж вдруг строить принялись. Дом и рухнул внутрь себя самого. Тогда и скинулись все свои, от Аляски до Кутаиси, вокруг планеты в обе стороны… В результате Коля не только дом поправил, но заодно даже зубы вставил.

Что-то старые все мы… Но и новенькая, молодая родня — не хуже старой. Похожи. На нас похожи.

Каждый, хоть и не работает, но подрабатывает. Сестра моя любимая Катя (давным-давно ее Кэти зовут, зато она своего Нику Тваури переименовала в Колю) вспомнила свое среднее, почти законченное медицинское образование, бегает уколы ставить, сиделкой иной раз нанимается. Муж ее таксует на древнем «Форде», который то бампер теряет, то глушитель. Но мотор

хороший, ход легкий. И цвет неброский, «мокрый асфальт».

Павел, старший сын Кати и Коли, днем спит, ночью торчит в Сети. И, как ни странно, что-то из этого нематериального мира вполне материальное на родню изредка сыпется. Жена и двое детей Пашу уважают и берегут, круглосуточно варят кофе. Ну и остальные как-то крутятся.

Все бы сносно, несмотря даже на войну и на политику. Но будни и праздники у родни какие-то немыслимые. Любови страстные, ревности разрушительные, обиды и примирения бурные, внезапные хворобы и счастливые исцеления, крушения, отключения и неуплаты… Две зимы вообще электричества, воды и тепла не было. Ничего, пережили. Кэти говорит — помирать было некогда. В первую зиму Кэти и Коля повздорили насмерть и как бы даже развелись. Жили, правда, по-прежнему в одной комнате, где же еще, но Николай перешел спать рядом с кроватью. Дом от этого развода снова чуть не рухнул: Ника все молчал, но дверью бабахал так, что штукатурка сыпалась, а в конце концов люстра рухнула. Но на вторую зиму Кэти Колю простила. И такая благодать спустилась, такой праздник… Керосиновые лампы и керогаз из кладовки достали, Коля все почистил. А Паша для своего компьютера какой-то вечный электрический двигатель малой мощности построил. С тех пор выходит на связь с миром два раза в неделю, и мне весточки шлет. Совсем мелкая моя родня тоже участвует, подставляет свои мордки под объектив «мыльницы», которую я им, себе на радость, подарила. В библиотеке, где продолжаю работать, все коллеги мою родню по именам знают… Но на меня удивляются, как это я к ним все езжу. И когда у них война, и когда в России путч или дефолт, и когда они вводят визовый режим, и когда мы закрываем авиасообщение, даже когда они отзывают посла… Так что — граница на замке.

Что поделаешь, я стала контрабандисткой.

Вот Кэти написала, что будет в августе свадьба. И я, конечно, поехала.

Младшенькая моя племянница Нанули согласилась выйти замуж за своего одноклассника Малхаза. Отличница за двоечника. Слава богу, школу этой весной жених и невеста вместе благополучно закончили, Малхаз дотерпел… А может, и не дотерпели оба, Нанули сильно в талии раздобрела. Но об этом на свадьбе не говорят. Все говорили, что девочка очень хорошая, что Малхазу повезло. Это правда. Хотя мне и Малхаз всегда нравился. Я лет десять, то есть с первого класса его знаю. Ласковый, чистосердечный… Как Нанули было не полюбить его, если он все школьные годы вокруг крутился, смешил, сердил, обожал?..

Раскинули, как всегда в Гори, огромную военную палатку, что еще от Советской армии осталась. Снесли столы со всего местечка. Я к венчанию опоздала, автобус сломался. Но и венчание тоже опоздало: Малхаз утюгом белые штаны прожег — этот пижон непременно хотел венчаться в белых штанах, синей джинсовой куртке и белой футболке. Про куртку еще понятно, она удачно прикрывала тощие плечи и торс. Но штаны-то почему именно белые? С утра надев, он во что-то в них сел, потом бросился стирать, потом прожег утюгом, потому что не сохли. Действовал тайно, запершись в своей комнатке в доме отчима. И когда уже все собрались в церкви, Малхаза в ней не оказалось. Послали за ним. Он, дурачок, примеряет штаны отчима, чтобы хоть в чем-то не дырявом прийти на венчание, только отчим у него толще пивной бочки…

Тут и меня в починенном автобусе привезли. А в багаже моем — костюм для Малхаза. Опять все сошлось.

Началась свадьба, небольшая, человек на сто. Больше в военную палатку не входит. Но вокруг костров и мангалов, за столами открытой кухни тоже тосты за молодых поднимают. Так весь вечер и всю ночь. Никто, конечно, в маленьком Гори 8 августа телевизор не смотрел. Несмотря даже на открытие Олимпиады. Паша, и тот вышел из Глобальной сети. Поэтому, когда в темном небе, над горизонтом, расцвели фейерверки, и далекий гром грянул — никто на это внимание не обратил.

А ведь это началась трехдневная грузино-южноосетинская война.

Под утро из-под Цхинвали к соседям приехали родственники — старуха со стариком, молодая женщина, трое детей. На лицах такое, что смотреть больно. А соседи наши пьяненькие, веселые, не соображают, что там стряслось, зовут свою родню выпить и поплясать… Но мы с Кэти переглянулись и танцы свернули. Молодоженов спать отправили, остальная родня и гости живо протрезвели, стали радио слушать и телевизор смотреть. И, конечно, тут же электричество отключили, ну и воду тоже. Телевидение, радио, мытье свадебной посуды, как говорили в годы моей юности, — накрылись тазом. Но Павлуша запустил свой вечный двигатель для компьютера и погрузился во Всемирную сеть. Оттуда он выудил множество противоречивых сведений про то, кто агрессор и сколько жертв.

А в Гори приехало еще несколько семей. Эти люди с серыми, словно погасшими лицами рассказали, как по машинам били, организованно, без суеты. Многие из беженцев там и полегли, а машины горели как факелы. Кто-то разворачивался, чтоб домой вернуться. Что там их ждет?..

У нас в маленьком Гори пока что было тихо. Но мы понимали, скоро тишина эта кончится. Ждали танков.

В последние двадцать лет я в Грузии уйму бронетехники повидала и научилась ею как-то пользоваться в мирных целях. На БМП и на танковой броне всех участников конфликта — путешествовала. Солярку у солдат покупала и скачивала из бензобака сама, с помощью тонкого шланга. Вкус солярки хорошо распробовала.

Давно у меня не возникает животного ужаса от каждой, с жужжанием пролетающей пули. Старость сродни отваге… А война — штука странная: то вот она, то ее нет. Где-то скрылась. Люди об урожае вдруг задумываются, о зиме вспоминают, на виноградники бегут, в поля. И ссорятся по-семейному, и шутят, и свадьбы играют… Иной раз приезжаю к родне, вроде ничего, тихо… Моя Кэти говорит, что за двадцать лет притерпелась так жить. Привыкла не очень-то привыкать к миру. Но маленьких — жалко!

А у меня перед глазами стоит моя трехлетняя сестра в сорок первом году, она нос к автобусному стеклу припечатала, на сумерки смотрит, на город — прекрасный, за лето позабытый. Вот они, обе наши бабушки, встречают нас на улице Марата… Дождь моросит, бабушка Ася, тощенькая и в шляпке, высоко держит старый зонт своего покойного мужа, а баба Нюра прижимает к груди бутыль молока, чтобы сразу нас напоить. Сколько они нас так ждали в тот день, когда Катя забыла зайца на даче? «Я говодная», — сказала Катя, увидев бабушек. Что мы тогда знали о голоде? Ничего.

В Грузии настоящего голода, думаю, не было. Благодатная страна, почва плодородная, крестьянство работящее, умелое… Но ведь без малого двадцать лет гражданская война у порога топчется…

Ночь тихо прошла, а на рассвете заявилась бронетехника, дождались… Как будто древний Сизиф камень свой грохочущий опять на нашу гору прикатил!.. На следующее после свадьбы утро примчались грузины на своих черных чешуйчатых танках. Веселые, гордые. Кричат: «Победа!» Спешили они очень — на восток, на подкрепление к своим передовым отрядам, взявшим прошлой ночью Цхинвали. Танкисты были в этом так уверены! Как и в своем праве на гордость. Словно болельщики победившей футбольной команды. Эти ребята будто и не догадывались, что их товарищи прошлой ночью ворвались не в чужую штрафную площадку с мячом, а в разгромленный тяжелой артиллерией город, ворвались, чтоб утюжить живых людей танками с полным

боезапасом.

Вот это — правда. А все остальное — политика, сиречь вранье. И в Грузии, и в России мы все про это знаем, проходили…

Что ж, победа так победа. Подняли, как положено на Кавказе, грузинские парни главный тост — за мир. И на восток — воевать. Развивать успех.

Но еще до заката того же дня те же черные танки на предельной скорости прогрохотали на запад. А в ночь совсем уж вселенский гром раздался, через маленькое Гори к большому Гори русская колонна бронетехники пошла. Идут и идут, фарами нас, погруженных во тьму, слепят. Гусеницами тяжелые танки развалили мост через речку. Получилась пробка. Пока саперы матерились и мост чинили, кто-то в свадебную палатку русских солдат зазвал. Пришло человек тридцать с офицером во главе. Мальчишки тощие, ровесники жениха нашего, Малхаза. Видимо, новобранцы весеннего призыва, только что из «учебки». Ко мне в библиотеку такие парнишки приходят за юридическими знаниями — кто от армии косить хочет на полном и законном основании. А эти в библиотеку не ходили и не откосили. Сидят тихие. Не гордые. Глаза усталые и блестят, как при лихорадке. Что-то они сквозь щели в боевой машине пехоты сегодня углядели такого, чего не ждали. И в них стреляли, и они стреляли. Не холостыми. Но как-то это их не увлекло, не захватило. Весь их жизненный опыт, все установки зеленой юности сегодня в прах обратились. И прах этот, как пепел, на лицах осел. За сутки, от ночи до ночи, они узнали общую на всех и единственно серьезную военную тайну: разницу между жизнью и смертью.

Солдаты взялись за ложки, они были не голодны, они были… не в себе. Им необходимо было не просто поесть горячего, а набить нутро мясом, сыром, помидорами. Жизнью. И мы это видели, понимали. Все, кроме Малхаза. Его грузинские танкисты потрясли. Герои! А эти — нет, не поразили. Неужели эти тех победили? А не наоборот?.. Почему же тогда не радуются, не кричат: «Победа!» Малхазик мечтает об армии, только не знает, о какой. В грузинской форма красивей. И танки чешуйчатые. Но он осетин, наш Малхазик. Пожалуй, грузины танка ему не дадут. А он бы порулил!..

Потихонечку русские солдаты порозовели, приободрились, мужчины стали их расспрашивать по существу: что в Цхинвали? Они сказали, что центр города разбомблен и пожары еще горят. Убитые на улицах неприбранные лежат. Дети, женщины… Дома разворочены танками, в развалинах живые с неживыми. Пахнет там сильно гарью и мертвыми, дышать нельзя…

Не больно они были разговорчивы. Прошлой ночью по тревоге их подняли, и они из «мест дислокации» все едут и едут, не останавливаясь. Они не знают ничего, кроме того, что видели сквозь щели. И что будет с ними через час, и завтра — не знают. А сейчас они просто от души поели на чужой свадьбе. Осовели, спать хочется… Пить офицер разрешил только воду. Раздали мы им с собою сладких чурчхел. И они ушли в ночь. Моторы взвыли, гусеницы загремели, колонна двинулась на запад. А мы остались гадать: дальше-то что? Что с Грузией? Что с Россией?.. Громкоговоритель под конец проорал по-русски, чтоб жители сидели в укрытиях и не высовывались. То есть о нас, как могли, позаботились.

Родню мою разве удержишь… Малхаз, как проснулся, на велике к друзьям покатил, на южно-осетинскую сторону, похвастаться свадьбой и проверить, как в ближних деревнях живут. Вернулся с подбитым глазом и без велосипеда, слава богу, живой. Встретил «казачий добровольческий корпус» из трех «Жигулей», катили добровольцы при шашках, в орденах невиданных, в папахах, с гранатами боевыми в авоськах… На крышах машин барахло везли из разбитых и брошенных жителями домов. Поставили они Малхазу фингал за то, что больно весело на них глазел, велосипед на крышу закинули и покатили дальше. Кэти вернувшемуся живым зятю по физиономии от души смазала, чуть второй синяк не поставила. И я ее не осудила, сама бы добавила, да Малхаз к Нанули убежал, соскучился. Тут и Николай пропал. На своем «Форде» без глушителя кого-то куда-то срочно и за большие деньги повез. Вернулся тоже пешком и без денег. Но пьяный.

На следующий день дали свет, и вода к ночи в кранах забулькала. Война, кажется, на тот час в основном закончилась. И все мы к теленовостям припали. Среди прочего я увидела в новостях один сюжет — про начальника смены на Ингури-ГЭС… Кто бы мог подумать, что этот несчастный начальник не только встретится мне через сутки, но кое-что объяснит очень важное. Отчего я, собственно, и пишу все это… как будто свой же сон смотрю заново…

Уезжала я от родни в свой Санкт-Петербург ранним утром на пятые сутки после свадьбы и начала войны. Кэти мне полную сумку всякой стряпни уложила, помидоров «Бычье сердце», сулугуни, чурчхел. А также персиков и груш. И вот стоим мы с ней на фоне дороги пустой и неба бескрайнего. Дала я Коле свою «мыльницу», чтоб снимок на память сделал, обнялись с Катей, Коля нас снял. И потащил мою сумку на колесиках к своему

«Форду». Который нашелся-таки в кювете и был усилиями соседей вытащен. Я оглянулась напоследок и вижу: вся родня проводить меня вышла. Сестренка Катя — вождь целого племени. Четверо взрослых ее детей с женами и мужьями, с их братьями и сестрами, со всеобщими детьми, а также с пятью Катиными внуками… Стало быть, и моими. Весело и печально смотрит на меня моя родня, топчется на фоне рухнувшего дома, кое-как слепленного к свадьбе и к новой войне… Неправедной войне. Хоть с востока на запад смотри, хоть с запада на восток. Неправедной.

Коля довез меня до ближайшего городка, чуть больше нашего. А там, как будто меня поджидает, стоит на пустой главной площади пузатенький голубой автобус, тоже совершенно пустой. «Анахронизм! — восхитился Коля, потому что в безработные времена пристрастился кроссворды разгадывать. — Никогда таких не видал».

А я — даже ездила! Это был он, тот самый автобус: маленькое ветровой стекло вековой пылью заросло, а так ничего, колеса есть…

По совершенно пустой, разбитой гусеницами дороге вез меня на анахронизме совершенно не изменившийся за шестьдесят семь лет шофер в тесном пиджаке. Автобус подпрыгивал и бренчал, как разбитое пианино, и я умудрилась под эту музыку задремать ненадолго. Но только замаячил сон из детства, как автобус остановился, и я проснулась. Пусто было и на дороге, и на виноградниках вдоль дороги. Нигде ни души. Взяла я сумку на колесиках, сунула шоферу сколько-то лари и пошла пешком. Прошла с километр, слышу — машина позади. Подумала, уж не мой ли пузатый автобус. Нет, «жигуленок». А за рулем — казак! Ах, думаю, ну я тебе покажу… Остановился, дверцу мне открыл: «Садись, мамаша!» Ус крутит, а глаз нетрезвый. Но добродушный вроде. Села я к нему, а он все балагурит, все присказками размовляет. А я сержусь все пуще. Спрашиваю казака: «Откуда у вас гранаты?» А он мне подмигивает и говорит: «В станице раздавали. Мы добровольцы!» И жмет на газ, так что машина вместе с гранатами прыгает из колдобины в колдобину. Тут я как начну его чихвостить, сама не ожидала. За велосипед, у мальчишки сворованный, за фингал у жениха нашего под глазом, за мародерство. Я его по всем статьям завиноватила, а он, что ж, винится: да, «могет быть». «Что ж, — говорю, — ты-то сюда приперся, серьезный же вроде мужик?» И тут он мне очень просто все объяснил: «Может, и серьезный, да только не мужик, а казак. Мы такие. — И добавил: — Скучно нам! Смекаешь, старая? Скучно!..» Я не то чтобы поняла, но замолчала.

Казак меня довез, денег не взял, на прощание подмигнул.

В знаменитом Гори, на родине Сталина, в тени его огромной статуи стоял как вкопанный русский солдат в каске, с автоматом Калашникова наперевес. Было похоже на почетный караул, но нет, это был просто караул, и на других перекрестках стояли такие же солдаты, и по городу ходили по трое, с красными повязками на рукавах. Я зашла в магазин, который работал, и даже покупатель в нем оказался. Вот с этим покупателем мы и разговорились. Мне всего и надо было посоветоваться, как добраться до Санкт-Петербурга… Но он ни о чем больше разговаривать не мог, как только о Ленинграде. Он там живал, и подолгу, там был его головной институт Гипрогор и его любимый театр БДТ с главным режиссером Товстоноговым, который до этого был главным режиссером в Тбилисском театре имени Грибоедова… Останавливаться мой собеседник не мог и не хотел. Наконец, стал зазывать меня домой, чтоб познакомить с женой и внуками, а дети его живут и работают где-то в Салехарде и в Перми. В конце концов, он занялся и моими делами, достал мобильник, переговорил с половиной Грузии и в конце концов нашел мне машину не до Питера, но до Тбилиси. Какой-то родственник его родственника должен был из Гори срочно выехать на похороны в Тбилиси, а другой родственник добыл пропуск у русского коменданта для того родственника, и в него можно вписать меня как тоже родственницу, только надо спешить. И вот мы, два немолодых человека, дунули к чужой родне. Потому что — «выезжать необходимо немедленно». Это «немедленно» затянулось до вечера, родня чужой родни собиралась на похороны обстоятельно, хоронили завтра, все успеется. Накормили меня горячим хачапури, напоили чаем с ореховым вареньем, о России расспросили. Телевизор в их домике работал беспрестанно, и мы с хозяйкой, моей ровесницей, молча его смотрели. Очень там доставалось русским, особенно президент их, Миша, очень шумел. Грузинам тоже доставалось, но не так уж. Мы с хозяйкой переглядывались. Она была в черном и ждала, когда ее посадят в машину и она поедет прощаться с покойным младшим братом, с Вахтангом, внезапно скончавшимся от инфаркта. Вдруг она спросила меня:

— Скажите, зачем все это? Зачем они все это с нами делают? Ведь жизнь так коротка… Совсем коротка…

Переночевать меня устроили на чистенькой лоджии, на сундуке постелили, среди цветов. Хозяйка очень извинялась, что не в комнате — народу много, квартирка маленькая. И я извинялась, что с неба на них свалилась… «Всякий гость с

неба», — отвечала мне грустная хозяйка. Разбудило меня солнце, и мы, попив кофе, поехали в Тбилиси хоронить Вахтанга. Мне на рукав, как и всем, надели траурную повязку. Нас останавливали и русские посты, и грузинские. И все пропускали.

Так я оказалась в Тбилиси у вокзала Навтлуги, напротив базара Навтлуги. Базар был закрыт, да и вокзал, хоть и открыт, толку в том не было.

Я-то надеялась добраться до Армении, чтоб из Еревана улететь в Санкт-Петербург. Не получилось. Поезда в Армению не ходили. И я отправилась на метро в другой конец Тбилиси, на главный автовокзал. Здесь даже внутренние, грузинские, автобусы были отменены. Да и не очень-то я понимала, куда мне ехать? И склонялась даже к мысли, зароненной казаком. Он, пока меня подвозил, рассказал, что их добровольческая армия добралась на «Жигулях» в Грузию по старой Военно-Грузинской дороге, вообще-то давно закрытой… Когда-то и я по этой знаменитой дороге выбиралась в Россию: из маленького Гори до большого, потом через Кутаиси, а потом направо и вверх, к международному лыжному курорту Гудаури, а потом, если слева его объехать, то по старой дороге, через галереи, пробитые в скалах, на перевал, где стоит каменный крест, который и Пушкина, и Лермонтова, и Грибоедова помнит… Но тогда меня Коля возил, его «Форд» был еще хоть куда. Да и Коля Тваури был хоть куда. Да и я… И то мы чуть в пропасть не свалились. За перевалом по оползню прямо в Терек бы упали… Но обошлось.

Не хотелось бы мне без Коли перевал брать. Может, лучше через Батуми, в Турцию?.. Чего гадать? Утро вечера мудренее. И я уснула, привалившись к собственной сумке на скамье автовокзала. На этот раз я увидела, как моя бабушка Ася в шляпке с полями, идет по Военно-Грузинской дороге и поет «Сулико». Входит в какую-то саклю, а это наша квартира на улице Марата. Бабушка Ася окликает кого-то: «Рогоро хар, май дарлинг?» («Как дела, мой дорогой?..») А это мой папа, в рубашке апаш, с очками на носу, пришел домой с огромным мокрым букетом сирени. И я так ему рада, так рада…

Рано-рано утром сонный голос по-грузински начал объявлять об автобусах, впервые за последние четыре дня они отправляются в рейсы по стране. Народу к утру скопилось много, все ринулись к кассам. А я все еще не придумала, куда мне надо. Всегда я какого-то знака жду. Сбоку или лучше сверху. Увидела беременную, спокойную женщину, похоже что русскую, которая так неспешно и уверенно не к кассам двинулась, а к выходу на платформу. Я пошла за ней. У платформы в сумерках три больших туристских автобуса стоят, ждут пассажиров. Но и

маршрутные такси поблизости притулились, а в них надо с шоферами расплачиваться лично. И спросить можно спокойно и подробно, куда лучше ехать. Ко всем шоферам я подошла, посоветовалась, и поняла, куда мне надо. Одна из маршруток шла до самого моря, до города Поти.

За десятилетия моих рейдов к родне появились у меня свои правила путешественника, совсем простые: выбирай транспорт помельче и попроще, держись подальше от любого начальства, сторонись больших очередей. Забралась в маршрутку до Поти, уселась на второе сиденье. И оказалась за спиной у беременной блондинки, за которой ведь я и двинулась, как за судьбой. Она принялась семечки тыквенные грызть, причем аккуратно и всерьез. Из одного полиэтиленового мешка семечки берет, в другой шелуху складывает, и похоже, что она не успокоится, пока мешок с семечками не опустеет, а мешок с шелухой не наполнится… Я вдруг подумала, что она молоканка.

Потому что в точности таких некрашеных и упертых русских теток разглядела когда-то давным-давно в Тбилиси. Как со дна моря всплыло: «Навтлуги» назывался вокзал, и базар напротив вокзала назывался «Навтлуги»… Вот там они обосновались. Тетки были действительно молоканки, они жили большим селом в Армении, оттуда и наезжали торговать в Тбилиси. Их было на базаре больше десятка, все разные, но в то же время одинаковые, они толклись с черпаками у здоровенных бочек, полных соленых огурцов, помидоров и всевозможной квашеной капусты — с хреном, с яблоками, со свеклой, с красным перцем и с морковкой. Занимали целый ряд под навесом. Торговали бойко, но аккуратно и строго. Все они были наряжены в настоящие русские сарафаны из набивного ситца и в клеенчатые фартуки. И все они дружно, не мусоря, грызли тыквенные семечки, создавая приятный шорох. Будто дождь по крыше шелестел… Тем временем запах от их солений растекался по базару, щекоча носы. Одна молоканка казалась совсем девчонкой. Она семечки не грызла, стояла в ряду справа, мордаха в крупных веснушках… И вопила задорно, хвастая: «А я первая в ряду! А я первая в ряду!..» Похохатывала, стреляя зелеными глазками.

Бодрый такой, совершенно русский культурный центр на зимнем тбилисском базаре — функционировал и в ус не дул. Был всем нужен. Потому что и другие товары под яркий капустный дух уплывали бойчее. На том базаре всегда всем выпить хотелось и закусить.

Я была в Навтлуги за полжизни несколько раз. Молоканки там все торговали и торговали, не меняясь, только вначале

взрослея, а потом и старея вместе со мной… Но примерно за год до всесоюзной войны суверенитетов — исчезли. Говорят, снялись всем селом и уехали. То ли в Канаду, то ли все же под Рязань…

С покупателями и меж собой торговки соленьями разговаривали на чистом, позабытом в России, богатом и разумном языке… Но на том же базаре мне объяснили, что молоканки русскими себя не считают, в России при Никоне патриархе молокан каленым железом выжигали. И при Екатерине их жгли. Бежали они за Кавказ, на земли хоть и дикие, горные, но теплые и плодородные. В Армении они богато жили двумя большими деревнями, в Азербайджане селились отдельными небольшими общинами и огородничали, в Грузии умудрялись выращивать рожь, а также пшеницу с кукурузой. Лучшая кукурузная мука для мчади была молоканская. Все бы хорошо, только вера молоканская, откуда и взялась такая… Вроде русское протестантство… Но женщины у них, говорят, были колдуньи и умели делать «джадо»…[4]

Давно на Навтлугском базаре молоканок нет как нет. Скучнеет мир…

Не знаю, когда эти молоканки из воспоминания в сон перешли.

Проснулась, когда маршрутка уже из Тбилиси выехала и двигалась мимо скучного бетонного забора с колючей проволокой поверху — мимо тюрьмы. А с другой стороны дороги рассвет вставал и такая красота открывалась — на долину, на речку Куру, на горы за нею… Вдруг маршрутка наша остановилась, от забора человек отделился, вошел в микроавтобус, стал себе место приглядывать и приглядел рядом с моей молоканкой. Мы тронулись. Я снова задремала и тут услышала обрывок разговора, голос у говорившего был такой горестный!.. Я поняла, почему: он три дня провел в кутузке.

Я его разглядела. Лысый, маленький, мешковатый… Вспомнила! Сюжет про него дня два и грузинские, и русские каналы крутили, и CNN, и Евроньюс.

Сюжет был коротенький. По огромной плотине Ингури-ГЭС идут трое русских военных в некрасивой своей и запыленной форме, один офицер и два рядовых. А навстречу им бегом бежит этот вот человек. Подбегает и начинает руками махать, то вверх показывает, то вниз, на воду. И так внимательно, с полным пониманием офицер на него смотрит. И солдаты тоже что-то серьезное кумекают. Снимали, видимо, очень-очень издалека, нынешняя техника позволяет. Сначала крупно всех и каждого показали, потом картинка стала так красиво расширяться, а фигуры солдат и начальника смены все отдаляются, и вот уже

вода с огромной высоты падает и, видимо, крутит гигантские турбины… Вот и все. Из русского комментария к сюжету следовало, что наши военные по просьбе грузинского руководства Ингури-ГЭС во избежание провокаций выставили посты на плотине электростанции, поскольку грузинская охрана разбежалась. Из грузинской информации получалось, что русские оккупационные войска напали на охраняемые стратегические объекты грузинской энергетики, создавая опасность техногенной катастрофы. CNN комментировала по-английски, и я не поняла, что они сказали. А на Евроньюс политкорректно сообщили, что в Грузии представители власти не ожидали появления русских войск на стратегических объектах в центре страны.

— Знаешь что, — говорил молоканке начальник смены, — я русским парням тогда обрадовался. Правда. Может, я и предатель, но все эти молодые грузины, которые мной командуют, о чем угодно думают — о карьере, о девушках, о будущем великой Грузии. И не понимают, что нам воевать — нельзя. И не потому, что мы маленькая страна, что правда. И не потому, что грузин совсем мало, а это тоже правда, ведь четверть населения из страны смылась и не спешит возвращаться. А потому, моя дорогая, что, если какому-нибудь негодяю захочется действительно нас победить навсегда, ему не надо ни пехоты, ни танков, ни тем более атомной бомбы, которая есть у России. Один подлец, или дурак, или псих — принесет на Ингури-ГЭС одну картонную коробку из-под обуви со взрывчаткой вместо башмаков. Вот и все. И не будет всей Грузии вниз по течению Ингури и Куры. Не будет Тбилиси, и крепость Нарекалу — смоет… Огромная волна унесет нас и наших детей, и даже наших предков из могил — в Турцию. И Вардзию смоет. Какая война, зачем, зачем глупости затевать?! От моей плотины наша окончательная погибель зависит! И я действительно бежал к этим русским, чтобы объяснить, как все серьезно. И они меня выслушали. Выслушали и поняли меня… Офицер куда-то позвонил и сказал правильные слова своему начальству. Потом ему позвонили, и он сказал: «Есть!» Знаете, я успокоился. Они сказали, что вокруг плотины никаких военных действий не будет. И случайных психов не будет. Действительно, не было. И я поехал в Тбилиси, отчитаться перед начальством, что агрегаты работают нормально… Свет и вода, вода и свет — что может быть важнее! А эти молокососы, эти менеджеры с американскими дипломами и без капли воображения, они меня в тюрьму…

Начальник смены с Ингури-ГЭС замолчал. Вскоре он домой приехал. Едва простившись, он побежал от остановки к какому-то шлагбауму, возле которого стоял грузин в черной красивой

форме. Видимо, русская армия уже ушла… И вдруг я заметила, что даже себе самой не называю ее нашей армией, а по государственной принадлежности… Мальчики-то в армиях все наши. Да армии-то — наши ли? Вон что!..

Маршрутка тронулась дальше, в салоне осталось нас четверо, все ехали в Поти. Я пересела к молоканке — ее звали Зоя — и спросила попросту, не знает ли она, можно ли из Поти в Россию уплыть. Или хотя бы в Украину, в Крым, например.

— Почему нельзя? Можно… — она так спокойно и уверенно это сказала. — Муж у меня украинец, Петро. С ним поговорите, как приедем.

Я приободрилась и стала в окно смотреть.

Вот тут-то и увидела впервые в жизни всю Ингури-ГЭС. Сначала высоченную плотину — снизу доверху. И потоки воды по ней мчатся, грохоча низвергаются. Боже мой!.. Именно грохоча низвергаются, это правда! Потом по серпантину мы все поднимаемся, и вот открылась огромная чаша голубой, светящейся воды. О, господи… Гигантское водохранилище все разворачивалось и расширялось, сдерживаемое на этой высоте, в этом горном воздухе… И чем же? — тоненькой, хрупкой на фоне гор и воды — плотинкой. Вот она, зона ответственности начальника смены Ингури-ГЭС… И двух русских мальчишек с офицером, дошедших до этого чуда и его вполне оценивших. И красавца-грузина, которому вернули его шлагбаум, его стратегический объект. И просто каждого нормального человека — зона ответственности…

Вот чудо! — капля чистейшей, святой, ни в чем не виноватой горной воды, которая если прольется, то снесет нас всех, недоумков…

Эх, эх, Военно-Грузинская дорога…

Вот мы уже и проехали Ингури, вот спустились с гор в долину, и снова поднялись в горы, но не такие уже высокие. А солнце склонилось к западу и залило все вокруг золотым, августовским, жарким туманом. Внезапно морем пахнуло. Его сияющий треугольник мелькнул на пару секунд впереди и снова исчез за зеленым морем лесов. Мы нырнули и долго петляли в них. Буки, дубы, платаны, потом сосновые рощи. Потом поля поспевшей кукурузы, и поля подсолнухов, и снова сосновые рощи, а потом эвкалипты. Солнце совсем садилось, когда мы добрались до Поти.

Дальше можно и не рассказывать. У Лермонтова все написано. Муж молоканки часто ездил в Тамань, там, в России, его украинская мама жила. Мы с Петро вышли из Поти на катере безлунной ночью, море было не очень бурным, меня даже не

укачало. Перед рассветом увидели песчаный обрывистый берег и белые хатки Тамани. Береговая полоса была каменистой и бурной, и я снова вспомнила контрабандистов, едва не погубивших Печорина. Да и он им налаженную жизнь поломал мимоходом… Петро был опытным моряком, и мы, благополучно пройдя каменистую линию прибоя, совершенно точно описанную автором «Героя нашего времени», воткнулись носом в берег.

В белой хатке над обрывом — в Музее имени Лермонтова, где меня без разговоров приютил сторож, под шум прибоя я вдруг поняла, что за товар вожу через все кордоны. Мой контрабандный товар — я сама. Все, что хранится в старой бутылке моего тела.

Потом был автобус, Краснодар, аэропорт, самолет, и через сутки я вошла в свою квартиру на улице Марата, сразу включила компьютер и написала Павлуше Тваури для Кети: «Контрабандный товар доставлен. В Ленинграде все нормально, идет дождь. Бог даст, сестренка, еще увидимся».

IV. Все ли по-новому в новом веке?

Соляной столп (2009)

Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся…

Библия. Бытие. Глава 19, стих 17

Что-то произошло, стало трудно читать. Вагон раскачало — бортовая качка пошла, на моей боковой верхней полке она очень заметна. И даже опасна — ничего не стоит загреметь и костей не собрать…

Или все же не в качке дело, а просто свет переменился, солнце перевалило зенит, катится на закат. Чересполосица света и тени падающим забором замелькала по страницам детектива, и стало вдруг до лампочки, куда это собрался резидент болгарской разведки и доберется ли, куда собрался… Я еще не закрываю книгу, но уже не читаю, смотрю мимо страницы, в окно. Там, за монотонно (вот уж сколько суток?) мелькающими столбами, действительно что-то произошло. Смотрю, смотрю, смотрю. И понимаю. Вон что произошло: мои родные края пошли. Чем они отличаются от не родных? Елки, овраги, столбы… Осень. На самом-то деле — бабье лето.

— Идем ходко. Ходко идем, — громко говорит женщина. Она сидит внизу на смятой постели в пустом плацкартном купе, продуваемом ветром из приспущенного окна.

С кем это она?

Есть еще один пассажир, под моей полкой, и мне его не видно. Но я о нем знаю, потому что у него кашель. Он едет с ночи. У него хриплый, кирзовый кашель. Ночью, когда он только пришел и устраивался спать, он кашлял надрывно, просто бухал и бухал, а потом долго возился и весь скрипел. Как сапог, которым раздувают самовар. И не так, как скрипит добротный хром, а именно как кирза, глухо, шершаво. Он старался не кашлять, чтоб как-нибудь да уснуть. И уснул. Утром, когда я шла умываться, он спал, отвернувшись ото всего на свете. Он не храпел, но при каждом вздохе в нем что-то булькало… Потом он тихонько жил под моей полкой, ворочался, возился, покашливал осторожно. Чай нам не носили за отсутствием в поезде сахара и заварки, слезать мне было незачем, соседа я так и не видела. А что он

сейчас?.. Я свешиваю голову с полки. Смирно сидит, положив крупные руки на столик. На голове кепка, стало быть, совсем собрался. Лица не видать. Ну и что, что не видать? Я знаю, оно у него большое и худое, с голубыми медвежьими глазками, вокруг рта непременно крупные складки, забитые серой щетиной. Не складки, а трещины. Глаза, может, и не голубые. Но медвежьи. Как у графа Льва Толстого. Пассажир не смотрит на женщину, он смотрит, должно быть, в свое окно, на елки, столбы, овраги. И женщина не смотрит на него, она тоже смотрит в окно — в свое, на такие же елки, овраги, столбы, сквозь которые бьет предвечерний солнечный свет.

— Лупит, как палкой по штакетнику, — говорит женщина.

А разговаривает она со мною. Потому что мы едем очень, очень давно, вернее — издалека, мы заметили друг друга еще до Москвы. За наши тысячи совместных верст вагон по меньшей мере дважды набивался и пустел. Мы с ней ветераны вагона, вот мы кто. Я вспоминаю, как встретила недавно друга детства, он мне сказал с глубоким волнением: «Я ведь ветеран дискотечного движения! А этого никто не хочет понять…» Я его поняла. Ну и что, что ему сорока нет. Лет двадцать назад он действительно был пламенным борцом за шейк, за рок, за светомузыку. И в конце концов победил. Мы страна победителей в борьбе, страна ветеранов всевозможных битв. А этого никто не хочет понять. Особенно новые, которые только сейчас пришли побиться. Где наши ордена, пенсии и льготы, черт возьми!.. И женщина говорит именно со мной, как ветеран с ветераном. Мы с нею вместе боролись. Против челноков, которые пытались поставить чемоданы в проход…

Я думаю не спеша эти мысли, но и они, как детектив про резидента, совершенно все же напрасные и лишние, они улетают вслед за столбами и елками, назад, как улетела бы яблочная кожура из вагонного окна. Но яблоки кончились. Как и бутерброды с пластмассовой колбасой под названием «салями». Все подъели… А поезд с необыкновенным напором и страстью мчит вперед, к городу моей юности. Вот мы снова пролетаем над сырым и темным оврагом. Да почему же овраг этот — родные края?

А просто я знаю, как там, в глубине, под мгновенно промелькнувшими овражными елями, среди папоротников — пахнет. Знаю, как пружинит под ногами мох, как чавкает и скользит глина у ручья. А цвет у глины розоват, с мутно-зелеными — купоросными — разводами. Где-то под этой глиной пролегают тонкие жилы медной руды и малахита…

Вот оно что, родные края… И я проеду их насквозь, почти не

глядя, проеду с точным знанием всего обо всем. Пассажир, дядька этот, навек простуженный, кирзовый, выйдет в родном моем городе, вот он уж и в кепочке. И непременно чемодан его уже стоит на сиденье по другую сторону откидного столика, хотя ехать еще часа полтора. И я даже знаю, какой у него чемодан, непременно крашенный половым суриком, с металлическими, закрашенными и ободранными уголками. Я снова свешиваю голову, вижу пуговку на кепке, застиранный воротник рубахи, само собой, застегнутой до самого горла, хотя этого мне и не видно. А чемоданчик на скамье — вот он стоит. Я снова откидываюсь на тощий блин подушки и закрываю глаза. Тоска-то какая райская, скука и грусть…

Так все насквозь можно знать только про любимое. Когда-то в детстве я любила яблоки. Любовь к яблокам была такая, что можно было их и не есть. Я про каждое, которое видела, знала, какой у него запах, хруст, вкус. Идешь за прохожим, у которого в авоське яблоки болтаются, и про каждое знаешь все. Кроме названия сорта, конечно. В наших исключительно не яблочных краях (яблоки привозили в город на баржах раза два за лето) мне хватило одного, первого — для любви и понимания всего про все яблоки… До ломоты в висках, до озноба, до захлеба слюной возник вдруг умопомрачительный, тот, детский вкус зеленых, самых любимых, яблок, которых уже нет в природе. Потому что это уже меня, той, зеленой, нет.

Ну и что?.. Ну и ничего.

Вагон накренился, что-то скрежетнуло под ним, и началась уже не качка, а мотание из стороны в сторону с лязгом и подпрыгиванием. Это стрелки, пригородные станции пролетаем. Ерепеты, Буртым, Курья, Тулумбасы?.. Не смотрю я в окно и не собираюсь смотреть. И пассажир подо мной, хоть и смотрит, все равно не смотрит, потому что он тутошний, чего смотреть-то? Мы оба тутошние. И вся-то разница, что через полтора часа он сойдет в родном моем городе, а я пролечу насквозь, навылет, как уже много раз за последние годы.

Знание — любовь. Любовь — знание. Окончательное знание, окончательная любовь. И то, и другое хорошо тем, что ими можно не пользоваться. Они все равно есть и будут. Окончательные люди так и поступают — не пользуются. И пассажир подо мной не просто кирзовый, он окончательный. Он и знать-то ничего не знает ни про какую такую любовь…

В общем, я засыпаю. И город родной пролетаю во сне.

Просыпаюсь оттого, что солнце перестало мешать спать, оттого, что сумерки, оттого, что свалился с полки мой детектив, оттого, что женщина внизу что-то все говорила и говорила, да вдруг и замолчала. Солнце погасло, книга упала, женщина замолчала, я проснулась. Женщина встала, чтобы поднять мою книгу, пока она делает пять шагов, наклоняется за детективом, выпрямляется, я почти вспоминаю, что она говорила, пока я спала, последняя фраза снова звучит в пустой и печальной моей голове.

— …Можно было всю жизнь прожить и не знать.

О чем это?

О любви, конечно. Угадывается история, то ли уже рассказанная, то ли еще предстоящая. Небольшой роман.

Вот женщина хозяйственно сует книгу мне под подушку. И не отходит. Она смотрит, смотрит на меня, как-то особенно пристально, может, потому еще, что уже сумерки и свет в вагоне смутный и ненадежный. Я вижу ее бледное лицо совсем близко, в широко раскрытых глазах проплывает заоконный пейзаж — сиреневое светлое небо, темная земля с дрожащими огоньками какой-то деревни. Вот глаза темнеют, это наш поезд въехал в лес.

— Слушай, я рассказать хочу… — наконец говорит она. — Переходи в купе, мне рассказать надо.

Женщина смотрит на меня с сомнением.

— Ладно, — говорю я и спрыгиваю.

В два счета мы переносим мою постель вместе с матрасом и подушкой в купе. Дядька с чемоданом сошел, в вагоне совсем уже пусто, только в том конце, где едет проводник, слышны голоса. Там выпивают.

Некоторое время мы молчим. Она смотрит в окно, в котором уже и не видно ничего, темный, почти ночной лес обдает еловым запахом. Женщина встает, подымает сильными, ловкими руками фрамугу окна.

— Дует, — говорит она. И снова садится, и снова смотрит в окно.

Профиль красивый — думаю я про нее и вспоминаю, что уже думала так несколько дней назад, когда вагон опустел впервые, где-то после Харькова. Не молода… а хороша… И не красавица, а вот свет на нее с удовольствием падает — и вечером, и утром. И ночной, как сейчас, едва уловимый. Плечи и нежные, и сильные, волосы темные, тяжкие, добротные бабьи волосы. Глаза странные, и маленькие, и большие. Глядят так окончательно безнадежно…

Я перестаю ее рассматривать, и она, словно почувствовав это, словно освободившись от моего внимания, переждав его, говорит не мне, а куда-то в окно, смутным нашим отражениям на темном, улетающем пейзаже…

— Старая я, ну, не девочка, думала — все про себя знаю. Воображала — так просто, смеха ради, — что подцеплю там какого ухажера, подтруню над ним, а то и поцелуюсь. У моря, вечером. А почему бы нет? Мой-то, когда в Гагры ездил, погуливал… Мне докладывали… Давно это было, когда и жизнь совсем другая была. Мой ко мне домой ехал, а вести впереди него неслись, что гулял… Сообщество не дремало… оно тогда еще было — сообщество. Тоже не всегда это нравилось, а все же… Люди — сообщались. Ни мобильников, ни Интернетов не было… По радио — «Театр у микрофона»… Теперь не то. Везде про все брешут, но — ни о чем. Раньше в очередях стояли за ничем, сейчас сериалы смотрим ни о чем. Лишь бы только легко прожить. А в молодости было не так, почти всем хотелось быть хорошими… Хотелось жить пусть уж трудно, но хорошо. Конечно, грешили, но и виноватыми были. Сейчас виноватых нет.

Да, молодость… Тайна… А еще ведь — юность!.. Да и в детстве всякое случалось. Впервые я влюбилась задолго даже до юности. Во втором классе. Приехала к нам на шахту семья, народ в поселке «свозной», постоянно люди наезжали и уезжали. Детей в той семье было много, их родителей я не помню, а к нам в класс пришла одна из девочек, Шура. Была она стрижена наголо и обросла уже, но в классе нашем ее, конечно, сразу Лысиком прозвали. Лысик и Лысик. Вот в кого я влюбилась в первый раз — в Лысика. Трогательный у нее такой затылок был, и голова как будто светилась — от волос, от мягкого ежика. Помню, сердце мое падало, когда я видела ее или голос хотя бы слышала.

Когда они уехали, я неделю в школу не ходила, больна стала… Именно болью больна… А как — не помню. Вот если ты рожала, то знаешь: родовую боль вроде бы пережить нельзя, а как переживешь — вспомнить нельзя… Вот так оно и с Лысиком… — Она запрокинула голову, закрыла лицо руками. — И снова, снова… болит у меня… Пережить бы как-то…

Опустила руки, замолчала. И я молчала. А потом спросила:

— Так ты что, влюбилась?..

И голос мой стал мне глуп и противен, а рассказчица не ответила. Так что больше я уже не спрашивала. История ее пошла своим чередом, с остановками и отступлениями:

— …Сама знаешь, девяностые годы — несуразные были,

никакой жизни. Ни усталости, ни отдыха. Ни о каких отпусках никто не думал. Вот и мы. Я работала на трех работах, и муж тоже — то вкалывал, то в безработных сидел и водку пьянствовал, как говорится… Тем временем двое детей выросли, дочь в седьмом году даже замуж вышла, а сын год назад ушел в армию. Тут и случилось заработать. Не важно — как, повезло, как только дуракам везет. И решили с мужем эти дурацкие деньги по-дурацки, да и побыстрей потратить. В прошлые времена все собирались вместе на юг съездить, но не вышло. В Гагры его когда-то по профсоюзной путевке одного направляли, после чего мы едва не развелись. А сейчас уж и не захотелось вместе. Мужу лодку резиновую купили, сапоги болотные и спиннинг, а мне — путевку в Анапу. Вот оттуда я сейчас возвращаюсь… Две недели, всего-то…

Приехала в Анапу — жара! Нашла свой пансионат и перестала от духоты ночью спать. Но ведь — у моря! Стала, как стемнеет, на пляж уходить и плавать, так что даже ночь и день перепутала. Приходила в номер, накупавшись, наплававшись, когда светлеть начинало. Просыпалась от жары, когда все в пансионате не то что позавтракать — пообедать успевали. Вот зеваю, потягиваюсь, иду, сонная, к дыре в заборе, прямо к морю, бросаюсь в прибой, и от воды, как от счастья, просыпаюсь. На волнах валяюсь, в небо гляжу. Потом бегу в пустую столовку, ем, не глядя, что дают… Дней пять так жила. И чувствовала я себя… ну, как ангел на небе. Никаких мыслей — одна радость. Похудела, загорела, одышка прошла вовсе. Не познакомилась ни с кем. Даже говорить отвыкла.

Как-то в столовку с моря пришла, а она не вовсе пустая. Сидит в углу парень, весь заспанный. Видно, тоже день с ночью перепутал. Не умыт, не причесан и не загорелый — видно, и к морю не ходит. Мы с ним едва переглянулись. После столовки я опять к морю, плавать до ужина. Да что-то меня остановило. Может даже, этот парень встрепанный и остановил. Думаю, что ж я, взрослая женщина, веду себя кое-как. То есть совсем себя не веду, а живу как пацанка. Развернулась я, зашла в номер за шампунем, потом в душ, помылась как следует, расчесалась, косы туго заплела, как будто я снова в школе, только теперь отличница, сложила их на затылке корзинкой, только что без бантиков, платье надела нарядное, синего шелка с белым кружевным воротничком, вместо сандалий пляжных — туфли-лодочки, и пошла снова в столовку — в зеркало большое смотреться. Смотрю — другое дело. И тут же у зеркала старушка

билетами на экскурсии торгует. Купила билет к святому источнику, автобус через полчаса. Успею опять-таки в море искупнуться… Но не стала. На этот раз кружевной воротничок не отпустил. Прошлась до рынка, купила чудные такие фиговины, сочные, потрескавшиеся, с красным нутром. Инжир.

Автобус уж полон был. И одно-единственное место свободным оставалось. Уселась, голову поворачиваю, а рядом со мною, оказывается, мальчонка из столовой, только уже умыт и причесан, да так старательно зализан. И в белой рубашке, ворот распахнут, на шее бусики. Я его инжиром угощаю, а он говорит: «Вас не узнать». Ну, я ему: «Вас тоже».

И ведь ни-че-го я тогда не почувствовала. Кроме легкости и простоты. Можно говорить, можно молчать. Человек вроде чужой и вроде свой, вроде мальчик и вроде взрослый. Приятный человек. И все.

А место, куда нас привезли, вправду святое было. Лес на горе светлый, легкий, как перистое облако, и в том лесу когда-то отшельник монах проживал, много лет. Молился на камне, воду из ключа пил, тот ключ и был святой источник. Воды я попила, по лесу погуляла, на камне постояла, вдаль поглядела. Хорошо.

Сажусь в автобус, и что же: опять все места заняты, только мальчик мой для меня уже сам место держит.

Не помню, чтоб мы разговаривали. Только как приехали, парнишка сказал, вежливо так, учтиво: «Почему вы на танцы не ходите? Приходите, пожалуйста, я вас приглашаю». Мне смешно стало. Как это я с молодым таким танцевать пойду. А он понял и говорит:

— Сам я на танцах не танцую. Я диджей.

Вот тебе на! Ты знаешь, что такое диджей? Я не знала. Но сказала:

— Спасибо. Приду.

И стала я по вечерам в кино ходить, после кино на танцы оставаться, а уж потом — к морю. Режим этот в тот же вечер завелся, как парнишка меня на танцы пригласил…

Не буду я тебе говорить, как его зовут… Знаешь почему? То-то и оно… Потому что черти услышат!.. Черти — есть, но не такие уж они умные, просто схватливые. То, что мы молча думаем или пишем пером, они схватить не могут, ждут, когда скажем. Вот тогда и… Ангелы же — напротив, в молчаливых душах читают…

Все это у святого источника мне как раз дурачок тамошний вдруг выложил, даже напугал…

Танцы в клубе после кино начинались, а кино после ужина.

Клуб со столовкой — в одном корпусе, между ними фойе с зеркалом большим и старушкой. Неудобно мне стало у этой знакомой старушки билет специальный на танцы брать, я и взяла общий. Он так и называется у них — объединенный, все услуги в одном пакете и со скидкой…

Ты прости меня. Я всю эту ахинею нанизываю, потому что к главному подойти не решаюсь…

Ну вот, пошла по объединенному билету после ужина в кино, опоздала, как всегда.

Кино началось, зал полон. Нашла место свободное возле прохода, сажусь, кино смотрю. Не интересное, все стреляют. Голову поворачиваю — а рядом-то со мною — опять тот же парнишка. Будто, кроме него, в пансионате этом и людей-то живых нет, все тени! Разве еще старушка с билетами… Это я так, сейчас только подумала. А тогда — хоть бы что, не удивилась нисколько. Он мне улыбнулся и снова кино смотрит. Я смотрю-смотрю на экран, ничего не понимаю. Там негры на одно лицо и бегают быстро. Был бы телевизор — выключила. Тут не выключишь… Спрашиваю у парнишки, он говорит — после сеанса я вам объясню, а сейчас и сам не все понимаю.

Кое-что я, впрочем, соображать начала. Да в конце фильма для таких, как я, бестолковых, содержание объясняют по второму кругу. Выходим мы из зала, я молодому моему человеку говорю:

— Не надо объяснять, там и понимать-то нечего.

Он говорит:

— Правильно.

Тем временем стулья в зале убирать начали, диджей мой самым главным тут же стал. Лицо строгое. На кого-то нашумел, куда, говорит, диски дели, свет, говорит, вырубить не забудьте, динамики поправьте, стоят не на месте, контакты, говорит, проверить надо… Много так вокруг него народу крутится… Потом сел на высоченную тумбочку, перед ним микрофоны, пульт как на Чернобыльской атомной электростанции… И как шарахнет во все динамики! Слава богу, недолго громыхало. Потом говорит в микрофон, как положено: дамы и господа, прозвучала композиция группы «Роллинг Стоунз»… ну и еще чего-то… А теперь — говорит — будут звучать популярные танцевальные мелодии прошлого века… И понеслось. Танго, фокстроты, вальсы и Алла Борисовна. И диджей молодец, очень все точно подобрал, так что все круче забирает, заводит даже, причем — всех.

Мужиков на этих танцах, как на любых других, вдвое меньше, чем женщин. И все же я спросом пользуюсь. Мальчишки все по

девочкам, а взрослым мужчинам партнерш нет. Особенно один немолодой кавалер очень повадился меня приглашать. Высокий, полноватый, представительный. Оказался их завклубом. Я ему говорю: хороший у вас диджей. А он только бровь поднял… Однако соскучилась я быстро, в паузе между танцев услышала — море шумит. Попыталась диджею помахать, дескать — ухожу, спасибо, а он и не смотрит, сидит как чижик деревянный на столбике, в черных очочках, лицо чистое, серьезное, глядит в никуда…

А я — к морю. Ночью на пляже только парочки кое-где, все больше в дюнах, под кустиками, а я — нагишом, в пустом море. Стесняться некого, разве Луны, так она и сама женщина. Ты замечала, какое у Луны лицо бабье?.. Я из моря хорошенько ее разглядела. И все небо, все созвездия, какие со школы знала. Хороший у нас учитель географии был, Плешков Владимир Васильевич. Он же и астрономию вел, про кратеры Луны рассказывал… Царство ему небесное…

Так и пошло по расписанию: обед, пляж, ужин, кино, танцы, море до рассвета, сон до полудня. Завклубом стал со мною так страстно танцевать, что я уж подумала: надо эти танцы заканчивать. У него и жена, завстоловой, стала с интересом на меня поглядывать, приятная такая женщина, Софья Суреновна… Но диджея обижать мне жаль было, он в кино место для меня занимал, выписал какой-то пропуск бесплатный. А на танцах, когда живая музыка начиналась, нет-нет да и спустится со своего столбика со мною поболтать. Мы с ним на веранду к балюстраде выходили, он курит и рассказывает мне любимые фильмы, а то вдруг из детства что.

Я его как-то спрашиваю, где же ваша девушка, что вы все один?

Я не один, отвечает. Но так грустно… Думаю — у парня трагедия какая-то, надлом…

А как-то он мне говорит: вот если б попалась мне вовремя такая женщина, как вы…

И это меня… тронуло.

Виду я не подала, думаю: это у него мама рано умерла, вот он и расчувствовался от взрослой женщины… Он меня и за руку не взял ни разу. В кино, когда рядом сидим и даже шепчемся — ни локтем, ни плечом не прикоснулся.

А что-то стало со мною делаться. Вот почувствовала я его — как он смотрит, что думает… Нет, не то говорю. Понимаешь, я как воздух вокруг него стала, а он — как вода в море вокруг меня… И просто все, а загадка… Но ничего, слышишь, ничего в этом не было, как это сказать… сексуального. Фу-у-у, слово-то

какое… Еле выговорила. А приходится.

То ли еще будет…

И налетел, стало быть, последний день нашего заезда.

Вечером банкет.

Я опять в белом воротничке и в туфлях-лодочках. Глаза подвела и губы накрасила. Ну — красавица. Как раз для завклуба. Уже стемнело, когда пошла на банкет. Опять, конечно, опоздала, в столовой битком, и все возбуждены радостно. А чего радоваться? Завтра на самолет с утра… Столы как-то по-новому стоят, рядами, вдоль дальней стены один особо почетный стол, вроде для президиума. На нем букеты огромные, за ними еле видны — директор пансионата, завклубом с супругой и какие-то еще солидные люди. Из отдыхающих я так никого и не знаю, диджея не видать, мест свободных нет, ну, думаю, пора к морю. Тут завклубом над букетами возвысился, рукой помавает, зовет. Чувствую — любуется он мною. Настроение мое, надо сказать, улучшилось, села я рядом с Софьей Суреновной, она любезно очень мне салатов нагребает, завклубом рюмочку водки наливает, и я эту рюмочку с большой даже охотой выпиваю. Разговариваем с Софьей Суреновной о том о сем и о детях. Так у вас, говорит, уже дочка замуж вышла, и мальчик в армии! Слава богу, говорит. А то молодежь нынче совсем уж гнилая стала. Не учатся, не работают, колются. Столько соблазнов, столько опасностей!.. Да еще и хамы такие, человека обидеть — ничего не стоит… Я ей отвечаю, что не все же такие. Вон диджей клубный, очень вежливый молодой человек…

Тут Софья Суреновна проницательно так на меня красивыми своими глазами посмотрела, и еще посмотрела, и говорит негромко:

— Да, вежливый мальчик, воспитанный… только ведь он — голубой.

Меня как громом поразило.

Голубой! Никогда я об этом не думала, хотя слово знала…

Может, и думала что когда… Была у нас в поселке пара, Клавка с Зойкой, жили как муж с женой, Клавка за мужика выступала, в штанах и кепке ходила, хотя у нее и дочь от первого брака, говорят, была. Ну, жили… Вроде голубые тетки. Или розовые. Помнишь, новорожденных мальчиков из роддомов в голубых одеяльцах выдавали, а девочек — в розовых… Кроме Зойки с Клавкой, живых примеров у меня не было. Так эта голубизна, я думала, у них от несчастий и от совместного

пьянства завелась, Зойка двух мужей схоронила, Клавка не просыхала, научилась на гармошке играть, чтоб по людям ходить и чтоб выпить подавали… Что ж о них думать?

Но диджей… серьезный такой, строгий даже… Он-то как?

Я сгоряча еще рюмочку замахнула. И стала благодарить, адресами меняться, прощаться — пора мне, вещи не собраны… А какие у меня вещи? Сарафан да кофта.

Выскочила я из душной столовки, и только с крыльца схожу, вижу — из темноты белая рубашка движется. Конечно, мой диджей идет… как раз вовремя.

Все важное, как в воронку, в одну точку закручивается. Ты замечала? Вот и суди, есть судьба или нет? Есть, есть для чего-то… Всякий раз меня к нему, а его ко мне приводило, и вроде случайно, а ни разу мимо. Вот и судьба…

Он мне обрадовался, глаза в потемках светятся, ну и бусы эти на шее. Да ведь и мой Гришка в армию в бусах ушел, да еще и с серьгой в ухе норовил, еле уговорили снять. Все они нынче так… Ах, думаю, хорошо, что темно — не увидит он лица моего. Поздоровалась с ним спокойно. А он приглашает: пока в столовой банкет — в клубе вечеринка собралась, пойдемте, пожалуйста. Я как представила себе, что там его дружки голубые стоят, которые ведь и всегда тут где-то терлись, только я их не замечала… Как и они меня… Ну, думаю, нет! Отвечаю ему, что на банкете я уже побывала, со всеми простилась, а теперь вот с морем проститься пора. Тогда, говорит, я вас провожу, пьяных сегодня много.

Что делать? Пошли к моей дыре в заборе. Над головой акации шуршат, под ногами стручки их черные на белом песке тропинки проступают сквозь тьму. Молча идем, он впереди. И вдруг меня словно кто за язык дернул!

— Мне, — говорю, — сегодня сказали, что вы голубой…

Он так и встал, я чуть не наткнулась на спину. Стоим. Он молчит. Дальше идет. Я за ним.

Подошли к забору — дыры нет! Заколочена. Подергал он штакетины, высокие и хлипкие, не перепрыгнешь, а ломать жаль.

Он говорит:

— При новом заезде забор снова сломают, а в конце опять дыру заколотят.

— И всегда, — я спрашиваю, — дыра на одном и том же месте оказывается?

— Всегда на одном, — отвечает. — Дыру заколачивают, а тропинка под акациями остается, идут по ней следующие люди и снова сюда… куда нельзя…

Потом уже, в поезде на полке, я все вспоминала, думала и

додумала, что он мне у забора что-то про себя объяснил. Понять дал. Про то, как люди приходят, куда нельзя.

Пошли мы обратно, к воротам. Все молча. Ворота высокие, ржавые, и рядом фонарь, один-единственный на весь пляж. Взялся мой диджей за ворота, а они — заперты, здоровенный замок болтается. Поглядели мы друг на друга, и так объяснить друг другу все захотелось… а нельзя. Слов нет. Стоит он, лицо такое хорошее! Молодой совсем. Умный, а глупый. И жаль мне его. Жаль…

Наконец, спрашивает:

— Ну, что теперь будем делать? Перелезать?

Я как во сне отвечаю:

— Перелезать.

Он, хоть и голубой, а все же парнишка призывного возраста, крепкий, тощий, ловкий. Перемахнул ворота в два счета, и так тревожно на меня из-за решетки смотрит, как олень из клетки. Или это я в клетке осталась?.. Сняла я свои туфли-лодочки, аккуратно к столбику поставила, да в лучшем платье с белым кружевным воротничком и полезла на ржавые ворота… Лезу и что же, думаешь, вспоминаю? Кинофильм старый, «Ленин в Октябре», там матросы Зимний дворец штурмуют… Вот и я, как революционерка, на ворота лезу, дура дурой. И ведь ничего страшного, мигом наверху оказалась. А оттуда надо на ту сторону прыгать. Смотрю я на диджея, он руки ко мне протянул, дескать — ловлю. И лицо у него опять такое… просто чудесное… Я и прыгнула, а он меня подхватил. И ведь удержал, на ногах устоял…

А вот дальше… дальше никакого кино, и совсем не до смеху. Все всерьез…

Сколько еду в поезде, вспоминаю, вспоминаю, а понять не получается. Жизнь — в один миг — как наизнанку вывернулась. То, чего нельзя и представить, чего просто никогда не было и быть не могло — взялось откуда-то, оказалось — вот оно! Да так просто… Говорю тебе как на духу: за ржавыми теми воротами другой мир оказался.

Я даже сейчас нет-нет и в него проваливаюсь. Как на тот свет.

Стоим мы прямо под фонарем, а он — какой уж там мальчонка! Мужчина! Держит меня крепко, в глаза смотрит, и я ему в глаза смотрю, и у меня, оказывается, руки на его плечах лежат, то есть я его обнимаю, и плечи у него такие крепкие. И чувствую я — никакая сила нас разъять не может. Никакая! И оба это знаем. Так бы и повалились с ним вместе… да как начали бы

целоваться прямо под фонарем, на мягком песке… Но тут я от него отстранилась, хватило силы воли, а он обнял меня рукою за плечи и пошли мы с ним быстро и уверенно, не сговариваясь, как одно целое, от волшебных тех ворот, во тьму — туда, где море шумит.

Там у прибоя бревно лежало, на котором я всегда оставляла одежду. И стала я у бревна этого, как всегда, раздеваться, только трясет меня всю. И он тоже раздевается. Разделась, глянула на море, и поняла наконец — шторм настоящий, валы так и катят, так и кипят. И ветер холодный режет. А он рядом стоит, горячий. Вдруг за руку меня, как маленький, взял, и снова я почувствовала — мальчик совсем. Ну, шторм так шторм. Пошла я, и его повела.

Господи, как же это было!.. Море теплым оказалось, только мы по колени зашли — как накатит!.. — темное, сильное, соленое, пахнет по-звериному. Накатило, повалило, поволокло нас к берегу, а потом за собою, во тьму грохочущую. Мама родная! Сама-то еле поднялась, как снова накатило, да и понесло, а он меня обхватил и слышу кричит, что плавать не умеет!.. И снова вал накатил, да вверх тормашками нас, не поймешь, где руки-ноги, какое уж там — плавать!.. Но так колошматило только на мели, а как затащило поглубже, по грудь, там уж и плыть бы можно, а он и впрямь не умеет, но умудряется как-то, выживает, да еще и целуемся ведь!.. Качает нас, захлестывает, а страх ушел, и такое счастье, такая свобода, волюшка вольная… счастье… счастье! Однако еле мы выбрались из этого счастья… Вырвались, как из когтей. Вышли и в темноте, на ветру, мокрые — стали на себя натягивать одежду, а он все целоваться лезет, и трясет уже его, а мне жарко, и целуюсь я с ним, целуюсь, даю себя целовать… Оделись кое-как и бегом оттуда, к фонарю, к воротам тем запертым…

И вот что удивительно: они уже и не заперты. Открыты ворота…

Да не до них нам было.

В пансионате праздник гудит, народ гуляет, в каждой беседке, на каждой скамейке компания веселая. Мы вдоль забора диверсантами добрались до черного хода в клуб, вошли, он за нами дверь на задвижку запер и по темной лестнице на самый верх меня повел. И очутились мы в чердачном помещении. Здесь он и жил, мальчик мой… Помещение огромное, пол настелен, окна только в торцах, но зато большие и распахнуты настежь, свежий ветер гуляет. Даже слишком свежий.

Он над кроватью ночник включил и спрашивает меня:

— Хочешь в душ?..

А в душе вода горячая… Помылись мы с ним, друг друга помыли с мочалкой и мылом, согрелись. Вытер он меня большим полотенцем, надо в постель ложиться. И чувствую я — страшно. И ему, и мне. Говорю тебе, мы в ту ночь с ним как одно существо стали, все на двоих, и смелость, и счастье, и стыд, и страх… Достал он бутылку какую-то, налил по полстакана, говорит, это вискарь. Виски значит. Я раньше не пила. Ну да ничего. Я раньше и мужу не изменяла. Выпила. Не понравилось, водка чище, но говорю — налей еще. Налил. Выпила. И уже вроде ничего. Ночник он выключил, забрались мы под одеяло, он уткнулся в меня, я его обняла. А он, чувствую — плачет!.. Плечо мое мокрым стало. Я ему на ухо:

— Ты что?

А он:

— Я плавать не умел, а теперь умею… ты научила…

Я говорю:

— Это тебя, глупенький, море научило, шторм.

Он не соглашается:

— Нет, ты. Шторма и раньше случались, море всегда на месте, а плавать я не умел…

Поплакал и успокоился. И еще говорит:

— Хорошо, что ты знаешь про меня, что голубой. Никогда я с женщинами не спал, ты меня научишь.

Нашел учительницу!.. У меня за жизнь два мужика было, второй — мой муж, а первый — тот, кого я с пятого класса любила. Вот в восьмом у нас с ним грех и вышел… в июле, в лесу, малину мы с ним собирали, ведро еще было одно на двоих…

После того раза мы и смотреть друг на друга боялись…

И как вспомнила я то ведро, и ту малину, и как оба мы ничего не умели, не знали, что это с нами делается и как быть… Так и нынешний мой неумеха словно меня подслушал, словно вспомнил что-то…

И учили мы друг друга до утра… на рассвете виски допили и уснули.

Утром я просыпаюсь — в дальнее окно солнце светит, ветер шторки треплет. А любимого рядом нет. Головушку мою ломит, поднять не могу. Однако огляделась я. Помещение странное, корабль напоминает перевернутый… и я у него внутри. Пол посередине настлан, а по краям шлак с опилками. И чего только нет здесь… Ящики какие-то, и столы колченогие со стульями, и динамики, и барабаны, и пианино — только словно раздетое, все

струны наружу… И бутылки, и журналы, и спальники… А еще кругом футболки, трусы, носки валяются, все по-пацаньи, как у сыночка Гришки… И среди прочего — мое мятое платье с белым воротником… А мне хоть бы что, лежу я, ни о чем не жалею, ничего не думаю. Слышу, как море шумит, и голоса какие-то перекликаются…

— Ну и что?.. — думаю. — Мой корабль затонул, нет мне дела до тех голосов…

Пьяна я, что ли, все еще была?..

И вдруг меня осенило: сегодня самолет, в девять утра автобус в аэропорт!..

И так я от этого открытия устала, прямо изнемогла. Повернулась на бок и уснула, словно рукой махнула.

И приснился мне сон. Будто я по путевке в Китай приехала. И мало того, что там все китайцы, но еще и, судя по всему, древний мир. Какое-то другое время, не наше. И красиво очень, и странно. Все ветхое, деревянное… и шелковое… Не сразу, но увидела еще странность — женщин нет совсем. Нарядно все одеты, многие с веерами, некоторые парами гуляют. На меня глядят как на возмутительное чудо и шепчутся. Кое-что я понимаю прямо по-китайски. Они шепчутся, что я большая, белая, странно пахну. Как если б о полярной медведице или об индийском слоне… Со мною переводчик ходит. И он мне говорит: «Не все наши люди вами довольны, особенно господин Ли. Господин Ли мудрец. Он считает, что вы для нас опасны. Плохо, что вы не мужчина и что вы рожаете детей. Это так… неприлично. И очень, очень опасно. У нас дети запрещены. А у вас другой бог. Вы принесли его в своем дыхании, он вряд ли поймет нас и может нам навредить…»

Я ему отвечаю, что по путевке и не знала. Он кивает, кивает, и приводит меня в ресторан или в клуб. Это здание черного дерева, сидят все на полу на коленках. Едят что-то палочками и слушают музыку. А музыка из пианино, а оно то самое, раздетое, что на чердаке, играет на нем мой ди-джей, по черным клавишам ударяет, получается китайская музыка. Мы с ним увидели друг друга, он разволновался, по черным клавишам не попадает, сбиваться стал. А тут еще как тряхнет, все закачалось. И снова тряхнуло. Страшно! Все покатились, и я тоже, лечу куда-то, а сама думаю: «Господин Ли прав оказался!»

И уже пожар занимается, дышать не могу. И валится что-то на меня. А я думаю — где же тот, что на пианино китайскую музыку тренькает… где же он?!.

И тут же вижу — вот он. Надо мной склонился.

Это я проснулась.

А мой любимый, стало быть, вернулся. Смотрит на меня во все глаза и говорит:

— Я твои туфли принес, они у ворот так и простояли… Самолет мы проспали, он улетел. Все уехали. Я и вещи твои из номера принес. Завтра, даже сегодня, начинается новый заезд… А сейчас будем завтракать.

И быстро так сметает все с низкого столика прямо на пол и собирает этот самый завтрак — кефир из холодильника, пиво из авоськи, сухарики с маком. И кофе варит на электроплитке. Мне халат бросает — японское кимоно. Так все… основательно. Как быть должно. В жизни мне никто кофе не заваривал.

Я сажусь на постель и вдруг вижу себя — там зеркало большущее, только треснувшее. Вижу… бог ты мой!.. ничего не скажешь… И это — я! Вокруг глаз еще и тушь размазана.

Он сел ко мне, обнял и тоже стал в зеркало смотреть. Голову мне на плечо положил и говорит:

— Я нас с тобой навсегда вот так, вместе, запомню. — А я ему: — Ни за что! Не хочу я, чтоб ты меня такую запомнил. — Он мне: — Какую такую? — А я: — Вот такую. Пьяную, помятую пионервожатую.

Он повалился на кровать, да как начал смеяться. И я с ним… И снова мы целовались, но уже так, дурака валяли… А потом серьезно разговаривать стали. Он говорил, а я слушала. Рассказал, как заголубел… что само все вышло. В школе девочек боялся, а тут мужчина, не страшно было, все как-то шаг за шагом, и противно, и любовь с доверием, и соблазн с грехом. Да еще мужчина тот и умный был, и взрослый… заботливый…

Я вроде его с пониманием слушаю, но на самом-то деле как будто он за мутную ширму уходит. И уже он — не он. Там, в собственной его жизни — инопланетянин он какой-то среди инопланетян. Чужое все.

И страшно мне, страшно, и за него страшно, и за себя, и за всех вообще… Что ж это такое делается?.. И вспоминаю, слово вспоминаю. Грех.

Пошла я в душ, долго намывалась. Вот там, в душе, я и вспомнила Лысика своего, Шуру из второго класса. Так вот оно что!.. Ведь, не дай бог, и меня могло куда-то затащить. Любовь — она и святая, и грешная, и страшная, и — всюду. И если суждена она — ее не обойдешь. К ней столько тайных тропинок ведет. И только некоторые заборчиком перегорожены, или ворота поставлены… И кто же их не сломает, кто не перелезет?.. Чего же я горжусь-то! Вон мужу изменила, да еще с мальчишкой, да с

голубым!

Но душевая кабинка не церковь, каяться не получается. Вода сразу все смывает, и тушь вокруг глаз, и чувства постыдные, и мысли горькие, и намерения благие. Помылась, причесалась, косы заплела и уложила, в кимоно нарядилась — все же почище и полегче стало… Вышла и говорю, как будто мы уже и простились навек:

— Пора мне…

Он лежит на кровати, смотрит на меня, и тоже, видно, пока я мылась, словно простился со мною… Смотрит как со стороны, соображает что-то. Засовывает руку под матрас и достает мобильный телефон. Думаю, он его отключал, ни разу ведь никто не звонил. И вот набирает он номер… И, грубо так, как, прости, пожалуйста, с блядью провинившейся, с кем-то разговаривает. Но в то же время из разговора понятно, что с мужчиной. Я ушам не верю… Отчитывает за что-то надменно и приказывает явиться.

Потом поворачивается ко мне — и слышу голос опять другой, грустный и усталый:

— Не удивляйся ничему. Главное, домой ты точно уедешь. Дай паспорт.

Я паспорт достала, вижу, он руку за ним протянул. А я — ну не могу к нему шагу сделать, тем более прикоснуться, положила паспорт на стол и к окну пошла дальнему. Подошла к окну, а там за полосой дюн — море. Синее-пресинее, стеной стоит. И парус в нем. Где же тот шторм вчерашний?.. Ну, думаю, все пройдет. Как вчерашний шторм прошел… Надо дотерпеть. Вдруг чувствую — он рядом стоит. И такой он свой, родной, и тихо так спрашивает:

— Что, очень тебе противно?.. Я и сам себе противен бываю. Но, по правде, редко. Ты только знай, что какой ни есть — я тебя не забуду никогда. Ты моя первая женщина и моя любовь. Я не надеялся… Может, моя жизнь и не изменится, я ведь правда голубой… Правда. Я — такой. Нас много и все больше становится, куда-то мы забрели и все дальше уходим. Как все это кончится? Всегда, всегда плохо кончалось. Вот послушай: «И во дни Лота так же ели, пили, покупали, продавали, садили, строили… но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех…» Ты только не оглядывайся. А то станешь соляным столпом. Как жена Лота… Но если я еще встречу такую женщину, как ты, то я ее смогу полюбить, а она меня, и я не подведу ее, и не предам, и у нас дети будут. У меня шанс появился. Понимаешь? Я детей хочу…

А я молчу, только слезы текут.

Тут, слышу, лестница заскрипела под тяжелыми такими шагами, и в дверь кто-то вошел. Я слезы утираю, смотрю на синее

море и думаю: ладно, не буду оглядываться. И в то же время думаю, с кем же это мой диджей мог так страшно по телефону разговаривать?.. кто с ним так поступил, что он мог так разговаривать?..

Оглянулась я!..

И теперь знаю, как в соляной столп превращаются…

Гостя, что увидела, я никак не ожидала. Ну да бог с ним совсем… Я бы и от любого другого остолбенела, наверное.

Гость этот тоже, как меня увидел, изумился. Поначалу онемел. Но быстро очнулся, любезен даже стал. Паспорт мой взял, и билет для меня через полчаса принес на вечерний поезд. Извинялся очень, что плацкартный вагон. Предлагал телеграмму домой послать. Я все молчала. И мужу телеграмму сама на вокзале дала, что вот, Федя, на самолет опоздала. И что поездом еду… Все еду, и еду, и еду…

Уже подъезжаю…

Она посмотрела в окно, и я вслед за нею. Рассвет. Местность уже не моя родная, уже без оврагов и без елок, но тоже знакомая. Едем не быстро вдоль бурной реки, за которой громоздится скалистый берег, собранный сплошь из столпов каменных, громадных и поменьше. Над водою туман стелется, в расщелинах скал желтеют лиственницы. Моя спутница достает из-под своей скамьи сумку и корзину с фруктами, купленную на маленькой украинской станции. Надевает кофту, одергивает сарафан. Поезд тормозит. И мы прощаемся просто и навсегда, не обмениваясь адресами.

Потом я минут десять вижу сквозь окно, как она спокойно стоит одна на пустом перроне. И только когда поезд уже трогается, вижу, как по перрону бежит мужик в кепке, в новых болотных сапогах и со спиннингом. Пиджак тесноват и рубаха застегнута до ворота. Бодрый такой, уверенный такой рыбак, опоздавший к приходу поезда, но все-таки успевший.

Красота (2016)

Памяти переводчика Альберта Тодда

В начале девяностых в моей жизни ненадолго возник один человек, переводчик, американец. Возник и вскоре исчез, казалось бы — навсегда. Времена были невероятно бурные, и я о нем почти не вспоминала… хотя все же помнила. Никак нельзя было совсем позабыть… Прошло четверть века. И его имя всплыло.

Из моего письма, написанного в «личку» Фейсбука Соломону Волкову сразу после премьеры на 1-м канале его фильма «Диалоги с Евгением Евтушенко»:

> «Спасибо за Евтушенко! Прекрасная, глубокая, человечная работа. Мы с Евгением Александровичем знакомы, точнее, были знакомы в Тбилиси много лет назад, вряд ли он меня помнит, да это и не важно. Пишу вам, поскольку в последней серии фильма вы упомянули о „близком друге Евтушенко Альберте Тодде, человеке мало кому известном и таинственном“. Вот с ним я была знакома — в Москве, в самом начале девяностых. Знакомство было смешное. Мы сидели в ресторане ЦДЛ с Андреем Битовым и Резо Габриадзе, а между столиками потерянно бродил очень высокий, седой и тощий загорелый красавец. Он чуть прихрамывал. Уходил и возвращался, явно ждал кого-то. Андрей и Резо заспорили, уж не грузин ли он. Битов говорил — грузин, Резо — нет, ни в коем случае. Наконец Битов его окликнул, пригласил, и „грузин“ с радостью согласился, сел к столу, от выпивки-закуски отказался и сам ничего предлагать не стал, просто объяснил на очень старательном русском, что полтора часа ждет Евтушенко, чтоб отдать ему его же рукопись. Битов посмотрел на Габриадзе и сказал: „Ты прав, я проиграл. Не грузин…“ Гость засмеялся, представился и сказал, что Грузию любит, бывал там как альпинист и горнолыжник… Кто-то из нас заинтересовался — не в грузинских ли горах повредил ногу. Нет, как-то странно улыбнулся Алберт Тодд, он хромает из-за Жени… И, наверное, рассказал бы — каким это образом, но Битов с Габриадзе уже опаздывали, все мы встали, и Берт пошел

с нами к выходу. Резо с Андреем взяли такси и уехали на Ленинградский вокзал, мы с подругой пошли на метро, Берт вроде бы собирался вернуться в ЦДЛ, ждать Евтушенко. Но махнул рукой и попросился в гости. И вот у меня в гостях мы с моей подружкой услышали удивительную историю — мистическую, роскошную, неправдоподобную… Рассказать?»

Соломон Волков почти сразу ответил: «Расскажите!»

Я тут же принялась записывать рассказ Альберта Тодда, который жил во мне четверть века.

Так эта история попала на бумагу.

История о железной ноге Альберта Тодда,
рассказанная им самим в 1991 году
и пересказанная мною по памяти

— Вы слышали что-нибудь о Сальвадоре Дали? — спросил Берт.

Говоря по-русски почти без акцента, он произносил нерусские имена в нерусской транскрипции. Он сказал: «сАльводор дАли», мы такого и не признали. Берт стал объяснять: испанский художник, друг-враг Пикассо… русская жена… сюрреализм, усы… Мы с подругой дружно крикнули — знаем! Дальше рассказ Берта не прерывался.

Дело было в Нью-Йорке. Берт жил за городом, преподавал в университете славистику, переводил стихи и поэмы Евгения Евтушенко и вообще с ним очень дружил. В тот давний приезд Евтушенко в США они с Бертом уже повидались несколько раз и даже простились. Через день поэт должен был улетать — то ли в Москву, то ли в Лос-Анджелес…

И вот Берт у себя дома просыпается ранним утром от телефонного звонка. Звонит Женя[5], с которым вчера простились, просит приехать в четыре вечера на Манхэттен, потому что внезапно позвонила из Испании Гала, жена Сальвадора Дали, и сказала, что они с Сальвадором прямо сейчас вылетают в Нью-Йорк, чтоб с ним (с Евтушенко) повидаться. Как бы по делу… «а ведь я недавно гостил у них в Испании, отказываться поздно, да и вообще нельзя… но мне рано утром улетать… в этой истории что-то не так, не просто… в общем, друг Берт, приезжай ОБЯЗАТЕЛЬНО».

Берт стал собираться.

Встречу Дали назначил на Манхэттене, в знаковом и легендарном ресторане, на вершине какого-то отеля-небоскреба.

В том ресторане все было черное — стены, пол, потолок из толстого черного стекла, и окна тонированные, и назывался он «Черный кристалл» или «Черный квадрат»…

Берт пришел несколько позже назначенного времени, прошел в огромный черный зал, вошел в черный зал поменьше, но тоже огромный и почти пустой. Там был единственный накрытый стол, за которым сидели Евтушенко, Сальвадор Дали и Гала. Два стула свободны. Берт выбрал тот, что рядом с Женей. Разговор, который был прерван приходом Тодда, возобновился, и Берт понял, что, опоздав, — пришел вовремя, непосредственно к накалу страстей… Закуски стояли на столе, но мужчины не закусывали, только пили, а Гала только ела, поглядывая то на одного, то на другого с язвительной полуулыбкой. О чем шла речь? О недавно переведенной на английский Альбертом Тоддом поэме Евтушенко «Братская ГЭС». Сальвадор Дали цитировал ее, причем перевирая, Женя негодовал, поправлял, а Дали настаивал на своем бредовом, сюрреалистическом варианте, но вообще поэму как бы очень хвалил. Жене, да и Берту, казалось, что он издевается. Разговор шел на все более высоких тонах. Однако прямого повода к ссоре пока не было.

Берт сидел спиной к двери и вдруг услышал, как сзади по каменному полу цокают подковки… или каблучки. Все замолчали, Женя оглянулся на звук шагов, и лицо его побелело. Берт не спешил оборачиваться, он успел заметить, как побледнел Евтушенко, заметил и то, как внимательно, с каким любопытством следят за происходящим Дали и его жена. А когда обернулся, то и сам, возможно, побледнел. По черному залу мелкими шажками шла худенькая, очень молодая девушка в строгом черном платье до пят. Потрясающая, необычайно красивая японка. Платье было глухим, с длинными рукавами, из-под которых выглядывали только кончики пальцев. Но когда она стала обходить просторный круглый стол, Берт увидел ее абсолютно, от шеи до предпоследнего позвонка голую спину… Девушка дошла до свободного стула, села между Сальвадором и Галой. Она ни на кого не смотрела. А Берт — смотрел на нее. Гладкие черные волосы — идеальное каре. Лицо по-японски выбелено, тонкий нос с легкой горбинкой, короткие и высокие черные брови, из-под которых едва мерцают длинные глаза с полуопущенными ресницами. Дали склонился к уху японки, так что его длинный изогнутый ус бросил тень на ее лицо, и что-то прошептал, и она, совсем неожиданно, рассмеялась — как фарфоровый колокольчик прозвонил негромко. На мгновение ее детский рот приоткрылся, мелькнули влажные зубы…

Дали поднял бокал с вином и стал говорить по-испански.

Берт, прекрасно зная испанский, некоторое время его не понимал, он не мог оторваться от этого чуда — девушки напротив. Но вдруг почувствовал справа какую-то угрозу и повернулся к Жене. Тот был вне себя. Нос обострился, глаза сверлили Сальвадора Дали, руки сжимали край черной столешницы, казалось, Евтушенко сейчас перевернет стол, опрокинет его на Сальвадора… Берт расслышал, о чем говорил Дали. Всего-то о красоте… Однако, все поднимая и поднимая голос, Дали уже почти кричал о том, что НАСТОЯЩАЯ КРАСОТА не имеет никакого отношения к поэме «Братская ГЭС». И не будет иметь никогда. Что эту прелестную японку он привез специально, чтоб объяснить Жене природу красоты, которая — БЕСЧЕЛОВЕЧНА! Красота не принадлежит людям, она не для мужчин, не для женщин, она именно бесчеловечна, она разбивает людям сердца и сводит с ума!.. Внезапно Дали замолчал, выпил, поставил пустой бокал, полез во внутренний карман бархатного пиджачка и, достав в несколько раз сложенный бумажный плакат, стал его разворачивать над столом, опрокинул пустой бокал, который дзынькнул, но не разбился, а за столом все молча смотрели, ждали. Наконец Дали задрал голову вверх, усы его тоже торчали вверх, к черному потолку, и последним резким движением он распахнул плакат перед Женей Евтушенко и Бертом Тоддом.

Взрыв атомной бомбы — вот что на нем было.

Фото, сделанное с самолета над эпицентром взрыва, во время испытаний в какой-то пустыне. Подробнейшая, отлично пропечатанная фотография. Не гриб, а гигантский, подробнейший цветок…

Берт услышал, как вскочил Женя, в ярости отшвырнул свой стул и бросился к выходу. А Сальвадор Дали орал ему вслед, потрясая плакатом:

— Вот он, ЧИСТЕЙШИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ, друг мой! ВЗРЫВ — вот цветок, который одним махом разобьет все сердца и разметет осколки с пылью по вселенной!!!

Берт встал, учтиво простился и побежал за другом.

Он застал Женю в главном зале, разговаривающим с черным метрдотелем. Евтушенко требовал счет. А метрдотель объяснял, что все оплачено господином с усами. Тогда Евтушенко достал бумажник — Берт заметил, что руки у него слегка тряслись, — выгреб весь свой недавно полученный немалый гонорар до последнего цента, положил на стойку и пошел к выходу. Берт за ним.

На улице Женя одолжил у Берта денег, закурил, и, пока курил, сказал следующее: «Он все нарочно, он все спланировал… Он хотел меня убить. Но я не умер. Не умер…» Дальше

разговаривать не стал, сразу простился и ушел к себе в отель. А непьющий Берт в раздумье отправился в кафе на Бродвее, выпил крепкого кофе, потом виски, потом снова кофе. И пошел к своей машине.

И вот Берт едет по Манхэттену в сторону аэропорта Кеннеди и попадает в пробку. Он никуда не спешит, думает о том, что же такое стряслось и что будет дальше.

Нет, не об атомной войне он думает и не о красоте атомного цветка, а о потрясающей женщине, которая сидела напротив него, так на него и не глянув. «Может, и к лучшему», — думает он. Но кто она Сальвадору? Знает ли ее Женя? И что думает обо всем этом умная Гала?

В параллельном ряду машины потихоньку двинулись, Берту захотелось свернуть в этот счастливый ряд, но не тут-то было. Его не захотел пропустить двухместный японский кабриолет с откинутым верхом, непреклонный до наглости, чуть фару не разбил. Берт опустил стекло, чтоб наорать, но глянул на водителя и чуть сам не врезался в «Форд» впереди. Ряд, в который Берт не втиснулся, единственный продолжал двигаться… вместе с белой машиной, в которой сидела она, та самая юная японка в черном.

«Этого не может быть!» Вот тупая и единственная мысль, которая гудела следующие четверть часа в мозгу Берта, пока он, чертыхаясь и сигналя, выруливал за белым кабриолетом, чтоб разглядеть водителя. Наконец усомнился: у японки голая спина, а спина в кабриолете была не голая, что-то вроде черного пиджака… Он думал глупости, глупо их толковал и не отпускал в нервно ползущей пробке маленькую юркую машинку… Но вот пробку прорвало, машины рванули вперед, наверстывая потерянное время, и кабриолет оказался далеко впереди. Берт ринулся его догонять. Это напоминало слалом на невероятно крутом склоне вершины Кохта-1 в Бакуриани… как будто падаешь, но одновременно закладываешь виражи, как кукурузник в штопоре… Главное, не думать о скорости, вообще не думать, только вписываться в повороты, перескакивая на автобане из ряда в ряд. И вот — догнал! Пошел параллельно белой машинке, ноздря в ноздрю, и та самая японка повернула к нему голову, посмотрела на него, и улыбнулась своим свежим, как лепесток пиона, ртом, и, может быть, засмеялась, как фарфоровый колокольчик… Он не услышал.

В следующий миг что-то огромное надвинулось слева, Берт успел среагировать, он ударил по тормозам, не для того, чтоб уйти от удара, а напротив, спасти от удара маленькую белую машинку с открытым верхом.

Берт очнулся в больничной палате, не чувствуя ни рук, ни ног, ни головы. Над ним склонялось некрасивое, похожее на розовую картофелину в очках, лицо. «Вы о'кей?» — спросило лицо. «Не знаю», — ответил Берт Тодд. И провалился в сон. Поспал, проснулся, и почувствовал, что он более или менее именно о'кей, только ног не чувствует. Раздался телефонный звонок, и женский голос произнес:

— А… вы тот русский… Нет, ваш друг приходил в себя, а сейчас уснул. Ему повезло, в клинике оказался подходящий протез с двумя суставами, да-да, и бедренный тоже… Теперь он на четверть Железный Дровосек, хи-хи… Что-что? В чем это вы виноваты? Почему из-за вас?..

Берд потребовал трубку. И услышал голос Евтушенко.

— Слышишь меня? Я в Лос-Анджелесе, прийти не смогу. Берт, это я виноват!.. Я ведь знал, что должен был умереть. Но удрал в отель и подставил тебя.

— Скажи, кто она?.. — спросил Берт. — Я гнался за ней и подсек грузовик…

— О ком ты? За кем ты гнался?

— За японкой.

Трубка молчала. Отмолчалась и ответила.

— Этого не может быть. Она не умеет водить. Она НИЧЕГО не умеет. Ничем не занята, никого не любит. Как та атомная бомба. Дочь японского посла, аутистка. Живет у Дали в Фигуересе, привязалась к его дому, как кошка… Я в нее влюбился без памяти, до смерти. И сбежал. Он нарочно привез ее, чтоб мучить меня. Чтоб убить. А я подставил тебя.

И Берт ответил:

— Знаешь, я рад.

P.S.

Я рассказывала эту историю со слов Берта несколько раз, а вот не записывала ни разу. Это уже скорее рассказ, чем пересказ. Во многих деталях я не уверена — дело было в начале девяностых. Берт еще приезжал в Москву, снимался у Евтушенко в «Похоронах Сталина», мы виделись несколько раз… Переводил ли он «Братскую ГЭС» — не помню. Что-то переводил. Но сАльвадор дАли, ослепительная японская девочка с голой спиной, погоня за ней, авария, протез, в ту же ночь вставленный в ногу горнолыжника и альпиниста, плакат с атомной бомбой, которым потрясал Дали, черный зал на вершине небоскреба, разговор о красоте — все это в изложении Берта Тодда у меня, в съемной квартире на улице Павла Корчагина — было. И Габриадзе с Битовым, поспорившие, «грузин ли он», тоже были…

Про самого Альберта Тодда я помню, что по рождению он был мормон из штата Юта, но еще в юности расстался и с Ютой, и с религией предков. Он любил и прекрасно знал русскую литературу, но куда больше любил горы. И еще: как многие настоящие альпинисты, он умел быть настоящим другом.

А сейчас Берт лежит под каменной плитой, я увидела эту плиту с надписью ALBERT TODD в фильме Соломона Волкова. Он лежит там, на четверть Железный Дровосек, вместе со своей железной ногой… Я не знала, что он умер. Светлая память.

Дырка в заборе (1948–2016)

«…К дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему играть на дворе, первое движение его было — к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему… письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия…»

«Черная курица, или Подземные жители» — волшебная повесть Антония Погорельского (Алексея Алексеевича Перовского), написанная в 1829 году.

Мой случайный пермский знакомый позвонил в конце зимы и сказал:

— Я нашел место, где вы родились. Совершенно точно нашел. Даже космическая карта у меня теперь есть.

Космическая карта… о господи!

Знакомый, таким образом, оказался совсем не случайным… Мы договорились встретиться в Перми в середине июня.

Что я знала о месте своего рождения? Довольно долго — ничего. Когда мне исполнилось лет девять-десять, впервые кое-что для меня выяснилось. И вот при каких обстоятельствах.

Мы жили на небольшой станции Свердловской железной дороги, когда к нам нагрянул Виктор Михайлович, гость из Москвы. Не совсем к нам. Он работал, кажется, в обществе «Знание», колесил по стране с лекциями по литературе — куда общество пошлет, туда и ехал. В наш клуб «Прогресс» его однажды уже заносило, и он нас запомнил. Мама работала художницей в клубе, в нем мы и жили, в комнате за сценой под названием «гримировочная». Чуть не каждую неделю в гримировочной появлялись новые артисты и лекторы, оставались и на ночь, так что я первого визита Виктора Михайловича не запомнила. Но уж наверняка мама поила заезжего человека крепким чаем, и они допоздна говорили о далеких городах, о новых книгах и людях.

Ардов — была у гостя фамилия. Лет через двадцать она стала по России довольно широко известной — Ардовы близко дружили с Ахматовой, всякий раз, как Анна Андреевна приезжала из Ленинграда в Москву, она подолгу гостила на Ордынке у Ардовых. Факт этот, конечно, важный и интересный. Но Виктор Михайлович Ардов был и сам по себе хорош: яркоглазый, веселый, смуглый, с копной седеющих непослушных волос… Он нас с мамой по первому своему визиту запомнил, так что, когда судьба и общество «Знание» снова забросили его на Западный Урал, Ардов уже сам выбрал среди прочих пунктов назначения нашу маленькую станцию и деревянный клуб.

На этот раз в ночном чаепитии я принимала молчаливое участие. А мама с Ардовым разговаривали. Имена звучали — Маяковский, Ахматова, Олеша, Прокофьев, Брики, Зощенко, Пастернак… От разговора в моей вполне еще детской голове ничего не сохранилось, осталось только чувство многолюдного и радостного мира, который они оба знали, а я еще нет, не знала. Однако мир этот для меня возник тогда в гримировочной, витал и клубился…

Еще от той ночи осталась металлическая коробка. Ардов, помня прошлое чаепитие, привез нам в этой роскошной упаковке гэдээровское шоколадное печенье. Печенье, на мой деревенский вкус, оказалось как из пыли, горькое и неинтересное, но коробка!.. Под утро гость устроился на длинном столе гримировочной, поспал немного, укрывшись собственным пальто,

проснулся затемно, и мы пошли провожать его на станцию. Ардов сел в зеленый вагон маленького поезда, запряженного в черный пыхтящий паровоз, помахал из мутного окошка смуглой рукой и укатил в светлеющие сумерки, на восток. Через станции Янычи, Кукуштан, Тулумбасы, в сторону Кунгура и за Кунгур…

Мы доели печенье. Осталась коробка. Предмет был по тем временам редкий и выбрасыванию не подлежал ни в коем случае. Вот только картинка на коробке… в золотом круге сладко улыбался розово-пухлый мальчик в кудерьках, толстые щечки и нос в шоколаде. Нам этот обжора не понравился. И мама не поленилась, она в течение нескольких дней ребром новой пятикопеечной монетки обжору соскоблила. После чего из разных случайных хранилищ в новый жестяный «сейф» переехали на постоянное жительство все наши важные документы и памятные мелочи… Выплыли на свет божий облигации госзайма, мамин «Знак почетного донора», похожий на орден Боевого Красного Знамени… только в центре вместо звезды красный крест. И мой вязаный носочек, самый первый, нашелся… Ну и разнообразные листики собрались все вместе. Большинства из этих бумажек давно нет, истерлись в прах. А тогда мама их разворачивала, читала, некоторые выбрасывала. Над одной бумажкой неожиданно рассмеялась. Этот неожиданный мамин смех… Она как будто впервые прочла и осознала то, что было написано почти детским, старательным почерком.

Именно тогда, когда мама перекладывала документы в коробку Ардова, для нее заново возник — как новость — странный факт моего рождения. Она прочла и рассмеялась, и я подошла к маме сзади, заглянула ей за плечо…

Получается, что, если б не Ардов, который привез немецкое печенье в клуб «Прогресс», если б не переезд бумажек в новое блестящее гнездо, то я бы еще не скоро заинтересовалась местом, где родилась.

Да, именно странноватый был документ, но не скажу, чтоб смешной… всего половинка тетрадной страницы в клеточку:

АКТ

Сегодня, в 4.30 утра у З/К Якубовой родился ребенок. Пол женский.

Вес 4 кг. 100 г, роды без патологий.

Сведения для ЗАГСА:

мать — Якубова Агния Ивановна;

отец — Маратов Лев Валентинович;

дочь — Даева Фаина Львовна.

Роды приняла, о чем акт и составила, фельдшер-акушер — З/К Ек. Федорова.

Акушерский пункт л/п[6] п/я[7] № 33 Усольлага, 7 окт. 1948 г.

В правом нижнем углу листика теснились крючок подписи начальника женской зоны и смазанная, бледная треугольная печать.

Бумаги, попадавшие в лагерь, шли главным образом на самокрутки и козьи ножки. И этот «Акт» был цвета махорки, он должен был стать дымом… но уцелел, потому что был важен. Думаю, прочитав впервые, я в этом «Акте» ничего толком не поняла. Но привкус тайны возник, любопытно стало…

Уже много-много лет я знаю: плотнее, чем клинописью на глиняной табличке вавилонян, на этом листике был уложен конспект всей маминой, да и моей, лагерной жизни. Все здесь полно смыслов. Все имена, фамилии, сам почерк, канцелярская лагерная тайнопись в сокращениях и цифрах, цвет печати… Как ничто другое листик сохранил время. И место. Я знаю это, потому что почти всегда, когда мама рылась в ардовской коробке, отыскивая, к примеру, облигацию, чтоб сверить номер с таблицей выигрышей, всплывала не похожая на остальные документы эта бумажка в клеточку, она лезла в руку. Мама всматривалась в нее, и, ухватившись за какую-то деталь, забывала, что искала, и начинала рассказывать, как будто бесконечный бинт разматывая, пятилетнюю историю своего заключения. Злоключения. Не все сразу, это было бы невозможно. Но одну какую-нибудь нитку из бинта вытягивала. Я, или кто угодно, слушал… и крючок подписи начальника л/п превращался в суховатое лицо в роговых очках, в тощую сутулую фигуру самого этого капитана внутренних войск, почти что не матерящегося, мучающегося бытовыми лагерными условиями: отсутствием воды, кое-как сколоченными холодными и вонючими сортирами, нехваткой дров и электролампочек, которые то и дело перегорали от скачков напряжения, так что в бараках становилось темно и жутко… А когда лопались по ночным морозам прожектора на вышках и начинала волком выть сирена, близорукий капитан в своей казенной квартире в трехстах метрах от лагеря просыпался в поту, ему казалось: весь лагерь, все З/К и попки с вертухаями — разбежались в кромешной тьме по бескрайним лесам и окрестным рабочим поселкам к ебене матери, а он, капитан, завтра же загремит по этапу к той же матери… Капитан остро болел хроническим колитом, стыдом за беспомощность, страхом ареста и еще — завистью к начальнику

«мужской зоны», в которой все было как у людей — и вода, и рубленные из бревен теплые сортиры для начальства, и в избытке дрова на зиму… Там была библиотека и показывали кино! Было даже двухэтажное здание областной лагерной больницы. Больничку построили пленные немцы в конце войны, и лекарями в ней были не вольнонаемные заштатные недоучки, а матерые доктора-зэки из клиник Москвы и Ленинграда. И даже один профессор-гинеколог из Вены. Был гинеколог эмигрантом первой волны и русским патриотом, он вернулся, бедолага, на родину в сорок пятом, сразу после победы. И тут же, в качестве австрийского шпиона, попал в Усольлаг. Через КПП старичок-гинеколог проходил со своим венским саквояжем, в черном пальто с бархатным воротником и зонтиком, минуя три забора и два досмотра, в убогую женскую зону. «Л/п п/я № 33 для престарелых, инвалидов, молодых матерей и беременных женщин» — так оно называлось полностью и официально. Профессор регулярно приходил осматривать всех З/К женского пола, в первую очередь беременных и молодых матерей. Потом старух смотрел, ругался по-немецки «доннерр веттерр!» и выписывал справки, чтоб по факту опущения женских органов их не гоняли на строительство желдороги… Однажды его за эту благотворительность посадили в карцер. Но быстро выпустили, потому что заболела по-женски супруга высокого чина Уральского военного округа. Еще профессор натаскивал по специальности молодую акушерку Катю Федорову, недавно осужденную на семь лет. Арестовали ее за то, что сделала аборт[8] своей начальнице, заведующей родильного отделения, у которой уже было четверо детей и не было мужа, и об этом криминальном событии донесли куда надо сослуживцы… В лагере первой роженицей у Кати Федоровой оказалась моя мама, первым принятым младенцем — я, и Катя мною гордилась, показывала всем желающим, как показывал бы Мичурин только что выведенное яблочко, образцово показательное: вес за четыре кг… А мама дрожала за меня как осиновый лист, потому что услыхала от других матерей, что грязные детские пеленки уносят в мужскую зону, где их не стирают, а мочат в чанах с щелочью вместе с мужицкими подштанниками и портянками и возвращают со всеми какашками… и что младенческая смертность высокая, есть даже детское кладбище «вон в той стороне, за детской зоной, у самого забора»… Так или нет, но на четвертый день от рождения у меня поднялась температура, пошли нарывы по телу, так что из больнички прислали педиатра, и он определил сепсис. А на седьмой свой день я начала отходить, то есть уходить. За меня молились все верующие и неверующие товарки по

лагерному материнству. Катя от ужаса объявила голодовку, а мама нет, она старалась есть, чтоб молоко не пропало, но я перестала брать грудь, так что молоко все равно перегорело, и вся женская зона стала шушукаться, собираясь на бабий бунт… И вдруг мама встала и, себя не помня, пошла к начальнику зоны. Она вошла в кабинет без спросу и кричала так, как в лагере никто до того не слышал, а теперь слышали все, и попки на вышках. Она пообещала, что повесится, но прежде упечет на Колыму начальника женской зоны и главврача больнички. Она кричала: «Дайте пенициллин! Найдите пенициллин!!!»

Пенициллин уже был в СССР, но его — не было.

Мама потеряла голос и замолчала. Капитану поплохело, вертухаи унесли его бегом за три забора, а оттуда пришел главврач.

Это был страшный мужчина во всех смыслах слова. Огромного роста, он с трудом передвигал отмороженные как раз на Колыме ноги. Рожа у него была тоже поморожена, нос сломан, а голос глух и сипл, он им редко пользовался. На Колыме главврач провел десять лет, потом штрафбат на передовой, потом медбрат в госпитале, потом разрешили хирургом работать, потом вдруг вернули в звание зэка, но сделали главврачом. В полной лагерной тишине он вошел в женскую зону, перешел в детскую подзону, там нашел мою маму со мной на коленях. Она была еще страшнее, чем он, и ничего не говорила. Он не сразу, но сказал: «Не спеши вешаться». И ушел. Через сутки принесли пенициллин, и Катя начала ставить мне уколы. Я очнулась и запищала. «Есть просит!» — сказала Катя. У мамы молоко не вернулось, и меня кормили по очереди все кормящие матери зоны, включая налетчицу Натку-Звездочку, маму двухлетнего Славика, который сосал ее, кусая сосок правой груди, а я, еще беззубая, сосала из левой.

Одна из ниточек маминой лагерной саги. Их не сосчитать, каждая ветвилась, переплеталась с другими… и продолжалась. Вот небольшое продолжение.

Я не умерла, а бедный начальник зоны совсем расклеился и через год был комиссован навсегда. Отмучился. На его место был назначен лейтенант Устюгов. Этот разговаривал только матом, однако же организовал в женской зоне воду — технику добыл, скважину пробурил, в городскую канализацию проник. И баню построил. В остальном жизнь текла так же. Текла, как везде, только за дощатым забором. Три метра в высоту, сверху проволока.

Были среди маминых историй повеселее, например, как прибыла по этапу из Норильлага костюмерша Малого театра и стала громко возмущаться: «Почему это у вас тут театра нет! В Норильске — есть!» Начальник зоны Устюгов костюмершу обычным своим матом отчитал, но, странное дело, тем же матом ее светлую идею и поддержал. Ему, когда он уже и прачечную на шесть корыт создал, скучновато стало. А тут — театр! Стали молодухи, старухи, беременные женщины и инвалидки создавать драмкружок, в котором и художница Якубова пригодилась, сначала сценографом, а потом и актрисой на главные роли, преимущественно мужские, потому что вышла ростом, а природная мамина худоба позволяла московской костюмерше создавать для нее из мешковины изумительно мужественные наряды с накладными плечами. Женская аудитория просто выла от разных чувств, а начальство, сидящее в первом ряду на премьере Пушкинской «Русалки», заволновалось — как это начальник тридцать третьей женской зоны Устюгов посмел протащить на роль старого мельника живого мужика? Неслыханно! Устюгову выговор, мужика в карцер, театр запретить!.. Но спектакль им все же захотелось досмотреть, а на поклон моя мама — бородатый сумасшедший мельник — выбежала, слава богу, без бороды, в женском платье из марли и с блестками. Полный восторг и овации…

Все, все это было. И как-то… одновременно. Клуб «Прогресс» еще не сгорел, голос мамы звучит в гримировочной, рассказывает мне про лагерный театр… а коробка Ардова — вон уж в 21-м веке — на моей книжной полке в Москве стоит… за дверцей, на клубной сцене развернут киноэкран, доносится смех из зала, потому что чахоточный киномеханик Володя крутит свой любимый, сто раз мною смотренный фильм «В джазе только девушки».

Я до сих пор слышу маму и как стрекочет кинопроектор, а два шалопая из фильма, саксофонист с контрабасистом, спасаются от убийц, переодевшись в девушек…

Везде игры с переодеванием — в вертухаев, в бандитов, в начальников, в стариков и красавиц…

А вот и Мэрилин Монро запела глуховато и нежно — о любви…

Значит, так. Настал июнь 2016-го, и мы едем с моим неслучайным знакомым фотографом Анатолием на его маленьком «Пежо» по городу Соликамску. Я не была здесь лет тридцать. Из Перми доехали удивительно быстро, по новым мостам через широченные реки, по отличной трассе, не хуже

немецкого автобана. Но Соликамск со времен моей молодости изменился не сильно. На подступах к окраинам города пошли громоздиться отвалы соляных шахт, замелькала путаница железнодорожных путей, проводов и трубопроводов, и заборы, заборы, заборы… А в центре Соликамска семь холмов, как в Риме, и на них Строгановские терема и церкви. Они все те же, но окрепли, помолодели, им вернули кровли, купола, кресты и колокола. А сотни одинаковых, совсем недавно новеньких пятиэтажных «хрущоб» постарели, кажется, лет на двести и скоро рухнут навсегда…

У Анатолия на коленях лежит цветной распечаток космической карты… она с сайта Мемориала. Все лагеря Советского Союза можно теперь на карте найти.

Как удивительно… как все, не меняясь, вдруг изменилось, а меняясь — не изменилось вовсе. Уму непостижимо…

День облачный, для июня душноватый, и дождиком пахнет. Мы сворачиваем с главной дороги. Пошли двухэтажные однотипные дома на два подъезда. Соликамск — большой город, не по населению, по площади. Он всегда из рабочих поселков состоял, соляных шахт, лагерных зон и предприятий «большой химии».

Мамино лагерное подразделение было «немецких кровей», как и окружающие дома лагерного начальства. Пленные немцы в конце войны зону п/я 33 первоначально для себя строили, да и поселок вокруг лагеря они же соорудили — для тех, кто их стеречь должен был. Пожили пленные в лагере года три-четыре, а потом их с богом домой в ГДР отпустили, а лагеря и поселки нам остались.

И слышу я мамин голос из гримировочной:

…среди пленных строителей наверняка художник был, фронтоны бараков в зоне были расписаны сюжетами на античные темы, сплошь герои и чудовища… Гарпии, Медуза Горгона, сын Зевса Геракл, сын Посейдона Персей… С красками у мастера было туго, писал явно малярными — свинцовыми белилами, суриком, охрой, синькой, шаровой да салатовой. И кисти были малярные. Но кое-какая школа и сумрачный германский гений в немце гнездились…

Еще поворот, останавливаемся мы у Дома культуры с колоннами. Анатолий уткнулся в карту, я разглядываю ДК. Вижу немного, дом огорожен забором, за которым визжит пила «болгарка», идет ремонт, а маляры на лесах колонны белилами красят… ДК с излишествами, еще сталинский. Таких после

Сталина не строили. И вспоминаю я — о мельнике из пушкинской «Русалки»… не здесь ли метался по сцене безумный старик? «Какой я мельник!.. Я ворон!!!» — в хрип срывала голос, пугала и восхищала строгое начальство З/К Якубова, размахивая, как крыльями, лохмотьями сумасшедшего мельника…

И снова мамин голос:

…лагерь был на взгорье, в городской черте, хотя рядом сосновый бор, от пристани километров за десять… Дом культуры неподалеку, нас на выступления привозили уже в гриме в крытом брезентом грузовике…

Голос мамы слышу, но не вижу я никакого соснового бора, только неухоженная, как на заброшенном кладбище, поросль за Домом культуры, ну и сам Дом культуры… Где же взгорье и сосны?..

Анатолий космическую карту сворачивает и объявляет:

— Приехали! Тут, в этой зеленке — слева от просеки — ваш лагерь и был. Пойдем пешком, чтоб не пропустить чего.

Сквозь дикий этот парк-зеленку-кладбище идем то ли по просеке, то ли по аллее. В конце ее маячит красное здание.

— А что там, в конце? — спрашиваю я.

— На карте помечено — психбольница, — отвечает Анатолий.

Иду по маминому времени, по ее следам. Живое, точное чувство, но… смазанное. Вот как на «Акте» о моем рождении треугольная печать была совершенно ведь подлинная, но… смазанная, вглядеться, прочесть — невозможно… Зеленка. Военное слово. Ольха, осины, бузина, но и тощие сосенки торчат. Там шиповник расцвел… тут колокольчики. А рядом крапивный остров на полувековой мусорной куче… Взгорья нет, но местность вроде наклонная… как бы поднимаемся потихоньку… и подходим к двухэтажному зданию, кривоватому, в окнах сгнившие рамы. Если из космоса на него посмотреть, будет похоже на букву «П». Проверяю по Толиной карте — есть такая буковка в зеленке, видна из космоса. А нас с Толей из космоса не видно…

Дом, в котором психобольница, когда-то тоже был не чужд излишеств, с фронтоном, с пилястрами, с флигелями. Ну, да, обветшал… Лет сорок без ремонта… Фасады линялые, размытые дождями. Когда-то темно-красные. Кровавые застенки, дом Дракулы… фильм ужасов. Но обнищало и обветшало, все здесь как-то мелко, буднично, знакомо. По-советски. На гнилых окнах между рамами кривые решетки… И — никого нигде. Пусто. Однако клумба посередь площади и за нею две серебряных, с

иголочки, иномарки: джип большой и джип маленький.

Стою как в забытьи.

Побывала я за долгую жизнь в европейских столицах, дружу с архитекторами, благодаря чему на ум приходит, что здание психушки не что иное, как курдонер[9] — вдали крыльцо парадного входа с дверью высокой, двустворчатой… но перекошенной и облезлой. А между мной и крыльцом — парадная клумба. Безумием от нее несет!.. Вкруг плоского холма с клочковатой, отказывающейся цвести растительностью, в качестве бордюра плотно натыканы разноцветные полиэтиленовые бутылки попками вверх. Сотни выпитых кем-то бутылок на эту красоту пошло, литровых, разноцветных, из-под всевозможных нектаров и соков. Понимаю, кем они выпиты и вокруг клумбы натыканы… обитателями дома скорби. Взгляд мой ползет по фасаду психушки вверх, по облупленным пилястрам к фронтону. На котором — надо же! — роспись. Линялая ваза на ножке, ее обвивает змея, удав средних размеров. Но, если судить по синюшному цвету, удав ядовитый. С раздвоенного языка в вазу капает что? — Яд, конечно.

И нет у меня никакого сомнения: может, сейчас это психушка, но был этот дом когда-то — областной лагерной больницей. Гордостью Усольлага. И все тот же «сумрачный гений» намалевал на фронтоне вот эту вазу с этим синюшным удавом…

Наша, мамина и моя, больничка… Которую мама никогда в глаза не видала, только знала: есть она за тремя заборами, в мужской зоне. Заборы сгнили, а больничка стоит. Как и стояла, совсем близко от родильного отделения зоны женской, от барака, в котором, согласно Катиному «Акту», в 4.30 утра я появилась на свет. Если очень громко из детской зоны крикнуть — главврач за заборами мог услыхать… А мама ведь так и кричала однажды, очень, очень громко… И главврач — услыхал. И я — живу.

…Занудный, монотонный звук возникает, как будто в ухе звенит, но все пространство вокруг им заполнено. Здесь все время так гудело-зудело, я не замечала… Комары. Тучи комаров летают и едят меня поедом. Странно, о комарах мама не вспоминала. Может, их и не было здесь, когда бор сосновый стоял… Или все пять лет не до комаров ей было… как и мне сейчас. Вот и дождик мелкий-премелкий сеять стал. Комары его не испугались… и я тоже. Оглядываюсь кругом. Анатолий расчехлил свой фотоаппарат и снимает психушку. В окнах пациенты, как бледные тени, начали возникать, пугливые старушки и навеки усталые юноши, толстые, но бледные тетки… живут своей жизнью. Мы для них — тени забытых предков. Один длинный дядька смотрел,

смотрел равнодушно на Толю, заулыбался вдруг, ожил, да и показал ему не спеша средний палец. День прошел не зря…

Я никак не думала, что перекошенная парадная дверь способна открываться. Но она заскрежетала и открылась. В ослепительно-белом, отглаженном халатике появилась солидная и цветущая женщина. «Сейчас погонят», — шепнул Анатолий. И точно, очень уверенным, звонким голосом она объявила, что сэлфи снимать здесь нельзя, и ходить здесь нельзя, и особенно нельзя искать контактов с больными. Я подошла к ней поближе, поздоровалась, пообещала не искать контактов и даже уйти. И сказала, что после войны был возле этой больницы женский лагерь, в котором я родилась. Спросила, нет ли поблизости остатков лагеря — бараков или заборов?.. Женщина ответила, что работает в этом здании с середины восьмидесятых, при ней тут всегда было, что сейчас есть, а до того, рассказывали, была многопрофильная клиника. Бараки? — да, были. «Вон там, на пустыре, — махнула она в сторону густых зарослей. — В ближнем было когда-то родильное отделение». Анатолий переспросил про пустырь. Она пояснила: «Ну да, сейчас лесом все заросло, а когда я приехала, был пустырь с бараками, ветхими. Сейчас вряд ли что найдется». Мы с Анатолием переглянулись и потянулись под дождиком к пустырю, который успел стать зеленкой…

Кое-что в этом лесу нашлось. Мамин голос всплывал редко, но вовремя:

…Бараков было двенадцать, все одинаковые, пять метров на десять, жилых девять. Возле КПП царство Кати-акушерки — медпункт и родильное отделение; потом столовая, дальше жилые бараки, последний — за отдельным заборчиком — детская зона… В каждом бараке жило по сорок женщин…

Вижу пробитые корнями деревьев и кустов разрушенные фундаменты. Измерила шагами. Да, примерно так и есть, пять на десять метров. Толя нашел еще останки бараков. Вот эта полусгнившая кладка, мокрая щебенка — родильное отделение. Его фундамент лучше других сохранился, сижу на нем, ковыряю камешки из бетона, а они так легко в песок рассыпаются. Один, покрепче, в карман положила… ему, случайному, еще будет время пожить в ардовской коробке, я положу его в мой лагерный носок…

Ну, вот. Это моя зона, я отсюда. И все. Искать больше нечего.

Но и уходить не хотелось. Хотелось пожить. Случайно в зарослях отыскался кусок забора, метров в двадцать. Нет, конечно, не дощатый, не трехметровый с колючей проволокой поверху. Но этот, из бетонных плит, ничего не огораживающий,

наверняка стоит на старом фундаменте. Он словно вырос из корней того, лагерного, чьи доски сгнили.

В зарослях валяется немало разбитых плит, они из другой, не маминой эпохи, а скорее из юности врачихи — вон она, в белой шапочке, до сих пор наблюдает за нами из окна второго этажа больнички…

Откуда эти плиты, эти бетонные заготовки светлого будущего? Из эпохи застоя развитого социализма? Или из эпохи горбачевской перестройки? Видимо, на пустыре, оставшемся от лагерного подразделения п/я 33, собирались что-то значительное построить. Начали, разумеется, как всегда, с забора. На нем и выдохлись…

Как же давно я живу, сколько эпох у меня позади! И ни одна эпоха не додумалась запретить в России заборы. Ах, если бы из всех заборов понаделали бы крыши! Вот это была бы, по нашему климату, очень полезная перестройка… Не моя мысль, кто-то умный давно сказал, но мало кто расслышал…

Из космических пространств зона 33 — величина исчезающе малая. Однако даже часть бесконечности — бесконечность. Сказал тоже кто-то умный.

Думаю, мы с Толей отыскали место не просто совсем небольшое, а страшно тесное узилище. Тесное для всего, что мама о нем годами рассказывала. Толя, изучивший официальную статистику, сказал, что в 1952 году в л/п п/я 33 обитало 408 заключенных, на каждого из них приходилось жилой площади 1,6 квадратного метра… В могилках просторней.

Но для всех насельниц — инвалидов, молодых матерей и беременных женщин — зона была общей, до каждой щепочки обжитой планетой. Старухи и инвалиды, когда кончался срок, слезно просили начальников не выгонять их на волю хотя бы до весны.

А у мамы перед освобождением? Тоже сжималось сердце. В лагерном заборе дырок не было вовсе, запечатанные письма с воли были запрещены, только открытки приходили. Невозможно было понять по этим открыткам — как там, на воле…

Но у мамы там была я. Когда маме оставалось сидеть полтора года, меня, трехлетнюю, забрали в детский дом. Вот тогда, хотя лагерь — все же не тюрьма — там тесно в ширину и в глубину, но над головой бездонное небо… маме стало под этим небом невыносимо. Если бы не театр, единственное в зоне живое дело? Если б не редкие выезды на грузовике «на гастроли» в ДК? Что б с нею сталось?.. Не случайно лагерная больница превратилась в

дом скорби. Такое уж здесь безумное место…

Когда мы с Анатолием уходили из зоны, дождик кончился, солнце брызнуло. И легко, рядом, туда же, куда и мы, шла мама.

Шла пешком со своей планеты, как инопланетянка, по просеке, со взгорья, сквозь сосновый лес, которые с тех пор куда-то подевались… Студеным, январским утром 1953 года — в открытый космос. Она дошла с нами до Дома культуры, и дальше, дальше пошла, к далекому центру города Соликамска, мимо заборов и заборов, к промерзшим соборам без куполов, чтобы двигаться еще дальше — на вокзал, и дальше — паровозом с зелеными вагонами, в далекий родной город. Ко мне, пятилетней. По дороге она спрашивала у редких встречных, как пройти к загсу, чтоб предъявить справку о своем освобождении и клетчатую бумажку о моем рождении. Встречные разглядывали ее фанерный чемодан и понимали, откуда она, они отвечали ей, как пройти, она улыбалась… и они смотрели на нее так примерно, как мы с Толей на улыбающегося дядьку в окне психушки… Многое они про нее понимали, а многое — нет, не могли понять. Она шла дальше и думала какие-то привычные, лагерные еще, мысли… а Вселенная между тем, расширялась.

Мой друг Анатолий прислал мне фотографии. На них все есть: Соликамск с древними соборами и новыми заборами, психушка с ядовитым удавом на фронтоне, зеленка, скрывающая лагерный истлевший мусор… Есть и моя фотография у бетонного забора, который ничего не огораживает, просто стоит как памятник всем русским заборам на фундаменте дощатого, лагерного.

И вот что я разглядела, чего и фотограф Толя не заметил. Рядом со мной в бетонной плите — ДЫРКА! Порядочная, с детский кулак.

Так вот что со мной произошло… Я все равно что заглянула через эту дырку в воронку времени, где маленькое оказывается большим, большое — маленьким, а исчезнувшее живым.

В одном замечательном романе[10] я однажды прочла: человек в конце концов должен найти место на земле, где зарыта его пуповина.

Я нашла.

Сарабанда (2017)

Памяти пианиста Юрия Агафонова

14 апреля преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано Николай Янович Гус шел на занятия и думал о предстоящем дне. Школа была старая, недалеко от Арбата. Еще на дальних подходах к серому мрачному дому прохожие, редкие в узком переулке, начинали вертеть головами и прислушиваться. Им чудилось, что они входят в зал оперного театра после антракта, когда в оркестровой яме начинает вразнобой разминаться оркестр. В сыром и весеннем, никак не театральном воздухе вдруг гобой захнычет гундосо, а поверх арфа раскатисто и мелодично рассмеется, скрипочка отвратительно взвизгнет, и литавры грянут ликующе… Но Гус за двадцать с лишним лет так привык к ежедневным этим воплям, что почти перестал их различать. Вот еще что: чем ближе он подходил к школе, чем громче они становились, тем меньше он их слышал… Странно.

Николай Янович жил возле огромного зоопарка, и нередко под его окном за открытой настежь форточкой возникало нечто подобное. Случались и особые ночи, когда крики животных из вольеров будоражили и не давали спать не только учителю музыки, но и всей округе, и даже небесам — в них средь облаков что-то мерцало и вспыхивало, а то и нежданный дождь гулко проливался… В первые годы после развода-разъезда с женой эта какофония часто будила его, но еще чаще проникала в сон, и тогда ему снилось, что он опаздывает в школу, где заждавшаяся музыка бьет копытами, мычит и гогочет… А вот теперь громкие внешние звуки почти ушли из его жизни, так что он порой пугается, не теряет ли слух. Проверялся несколько раз у врача, вроде все в порядке… Сегодня его осенило. Видимо, именно громкие, назойливые, «чрезмерно взыскующие» звуки стал он попросту пропускать мимо ушей. Все, что вопит, — не важно, все это не важно.

А что же важно?..

Николай Янович перебирал намеченные на сегодня встречи с учениками разных классов, от второго до пятого. Задания, которые они от него получили, он вспоминал не именами композиторов, не названиями пьес и этюдов, не номерами нотных страниц… он вспоминал их напрямую — музыкой. И учеников он

помнил не по фамилиям, а больше по их ушам, розовым или бледным, оттопыренным или аккуратно прижатым, а также по косичкам, челкам и вихрам, маячившим над клавиатурой. И, конечно же, помнились ему разнообразнейшие кисти рук, и особенно пальцы, не попадавшие по черным клавишам, выбивавшиеся из ритма, разрывавшие музыку и замиравшие в испуге от…

Гус вдруг останавливается посреди Большой Никитской, пожимает плечами и говорит именно этим, вдруг им увиденным, испугавшимся и остановившимся кистям рук:

— Грабли!

Говорит вслух. Замечает это, обиженно глядит по сторонам, как бы ожидая сочувствия у мокрых домов и спин прохожих. Не дожидается и идет дальше… Да, он знает за собой кое-какие странности. И еще он практически уверен, что ученики зовут его Гусем. Так Николая Яновича (Коленьку) действительно дразнили. Наверное, и его отца Яна, и деда Станислава, и прадеда Сигизмунда тоже… Но уже давно никто его никак не дразнит. Он старый, скучный, строгий человек, ничуть не похожий на гуся. Скорее уж на небольшого облезлого дятла с твердым носом… Нет, и на него не похож. Сходству с дятлом мешают большие и широко поставленные глаза, светлые, повторяющие цвет неба в любую погоду… только не в безоблачную, не в солнечную. В глазах Гуса с юности стоял некоторый туман, голубая дымка, а теперь и вовсе — бесцветная облачность. Бывает (очень редко), когда он сердится и краснеет, облака в его глазах сгущаются в тучи. Но молния сверкает редко.

Есть все же один ученик, которого он знает не по ушам, а по фамилии. Ти-мо-хис… С самого начала эта фамилия произвела на Гуса странное впечатление. ТИМОХИС ИЗ ГУБАХИ — так этот новый мальчик был представлен ему впервые.

Прошлой осенью мальчика привела в класс завуч школы. Стоял ненастный, со снегом, октябрь, набор новых учеников давно миновал и тут вдруг… «Надо взять, — негромко и значительно произнесла завуч, склонившись над Гусом. — Извините, что прервала урок, мальчика еще предстоит оформить в интернат, а то ему спать сегодня будет негде… Уверяю, это уникальный случай…»

В классе стояло два рояля, за тем, что у окна, сидела смуглая кудрявая девочка-пятиклассница, очень хорошенькая, и рассматривала новенького. Который не обращал внимания ни на нее, ни на что вообще, стоял расхлябанный и безучастный.

— Слава, — окликнула мальчика завуч, — подойди. —

Ученик сделал шаг в ее сторону. Она погладила его по голове и сказала с некоторым нажимом, подчеркнуто-значительно: — Вот, это наш Тимохис из Губахи.

Мальчик смотрел в окно. Там сыпал не по-осеннему уверенный, матерый снег. А в доме напротив, на единственном не застекленном балконе, под снежной канителью стояла пальма в кадке. Наполовину сухая или померзшая, только три густо-зеленых, как будто рваных листа торчали упрямо.

— Слава! — снова окликнула мальчика завуч. — Ты будешь жить в интернате, частном, очень хорошем, для одаренных мальчиков и девочек, учиться, как и у себя в Губахе, в третьем классе общеобразовательной школы. А у нас, в нашей замечательной музыкальной школе, пока что мы записали тебя во второй класс. Посмотрим на твои успехи. Вот твой педагог по фортепиано. Его зовут Николай Янович Гус.

— Гусь? — Тимохис живо повернулся к педагогу, лицо его на миг просветлело. Он Николая Яновича ясно увидел, то есть даже взял да и заглянул в него. Учитель выдержал.

— Моя фамилия Гус-с, — поправил он ученика, просвистев двукратное твердое С. — Впрочем, зачем тебе?.. зови меня просто по имени-отчеству.

Мальчик перевел взгляд на свободный рояль.

— Я сыграю, — внезапно сказал он. — Разрешаете?

— Нам пора в интернат… — начала было не разрешать завуч.

Но Тимохис, уже открывший крышку рояля, не оборачиваясь, сообщил:

— Я быстро…

И тут же он, едва присев на табурет, с ходу в невероятно бойком темпе сбацал на рояле «Танец маленьких лебедей». Как-то странно он это сделал, как деревянными палочками на ксилофоне. Сыграл не полностью. А типа «один куплет». После первого «пара-пара-рам», завершающего основную тему, Тимохис из Губахи приостановился, чтоб, не убирая рук с клавиш, сказать:

— А теперь — обратно…

И в том же несусветном темпе, словно опасаясь, что прервут, «прокрутил» «маленьких лебедей» задом наперед. Он остановился на первой ноте, как на последней.

В «обратном направлении» Чайковский прозвучал неузнаваемо и даже возмутительно. Но Гус каким-то образом и узнал, и понял — сыграно безукоризненно точно, с попаданием во все клавиши… Мальчик закрыл крышку, встал с табурета и снова уставил взгляд в снегопад, за окно, в направлении кадки с пальмой.

Завуч глубоко вздохнула, а Гус с интересом рассматривал

мальчика. Его кисти рук вот уж точно не были граблями. И в то же время, как лапы у совсем юного щенка крупной породы, они казались не по размеру, порядком были великоваты для второклассника… и третьеклассника. Пальцы длинные, нервные и сильные. Ногти, похоже, обкусаны… Николай Янович задумался невесть о чем.

— Ну так что, мне идти одеваться? — как-то неожиданно спросил Тимохис.

Завуч спохватилась, вспомнила про интернат.

— Иди-иди. И подожди меня у гардероба, — сказала она.

Когда мальчик вышел, она снова склонилась над Гусом:

— Удивительный случай, нельзя было не взять… — на этот раз голос ее звучал довольно растерянно. — Понимаете, в этой Губахе шахты, на одной был взрыв, даже по телевизору в новостях… — завуч торопилась все-все объяснить и сама себя перебивала, — у мальчика никого не осталось из взрослых, а он талант… ну, правда, необычный. И владелец шахты решил принять в нем участие…

— Хорошо-хорошо, — сжалился над завучем Гус. — Пусть занимается.

Она ушла вслед за Тимохисом. Николай Янович вспомнил о смуглой девочке, к которой относился особенно — она была особенно способной его ученицей. Учитель увидел, что девочка, уткнувшись в свои ноты, перелистывала их задом наперед. И сразу догадался: «Прикидывает, сможет ли сыграть своего Брамса от конца к началу…» И еще он подумал не без ехидства: «Ну вот, поздравляю вас, госпожа завуч, в школе начинается эпидемия игры на фортепиано шиворот-навыворот…»

Все это было в октябре. За полгода никаких внешних перемен в жизни школы или самого Гуса не произошло. И эпидемии имени Тимохиса не случилось. Ученики Николая Яновича даже попарно редко встречались в фортепианном классе, а все вместе собирались только на занятиях по сольфеджио или на хоре. Почти никто не узнал об «уникальных способностях» Тимохиса из Губахи и не пытался повторить его аттракцион, проделанный с Чайковским. Смуглая пятиклассница, может, и попробовала провернуть тот же фокус с Брамсом, но попытка была, видимо, неудачной и вообще осталась тайной… Девочка она была гордая. Она была… учитель знал, но вечно забывал неуклюжее немецко-латинистое слово[11], недавно стремительно вошедшее в разговорный язык — перси… еще чего-то и еще как-то…нистка. Николай Янович освоить слова не смог, точнее, не захотел смочь, но с некоторым изумлением наблюдал по телевизору, как какой-нибудь хозяин заводов, шахт, пароходов или министр культуры с

гордостью, но, главное, без запинки называли себя этим перфе… фици… еще чего-то… Чудесная, талантливая и кудрявая девочка была как раз из этих несчастных «перфе…»

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ! — вот что внезапно выпало из древних отложений в гусовских мозгах. Так называлось какое-то сложное немецкое время, то ли прошлое в будущем, то ли наоборот, будущее в прошлом… Он когда-то учил немецкий и выучил — на четверку в аттестате зрелости. «Вот!.. этих, жаждущих тотального совершенства, можно звать попросту плюсквамперфекционистами! Чего легче!» — сердито подумал Николай Янович.

Еще он подумал про Тимохиса.

Он про него вспоминал часто. Мальчик особенно-то не блистал, разве что очень быстро выучивал этюды Черни и прочие пьесы для второго класса. Вначале, то есть в октябре еще, для завуча и некоторых учителей выяснилось, что Тимохис был, как говорится, «неразвитый и запущенный». Гус такого рода выражений терпеть не мог, его самого однажды так аттестовали, вот тогда из его туманных глаз, возможно, и вылетело несколько молний в обидчика… Гус вспомнил: это была его теща. Она так шутила. Что-то по поводу его незнания правил поведения за столом. А он и не собирался их знать!.. Но ничего-то он теще не ответил, потому что очень, очень любил ее дочь…

С Тимохисом был случай особый. Как-то прослушав в его исполнении детский чудесный этюдик Шопена, Гус посмотрел на мальчика с тоской и спросил:

— Скажи, ты и Шопена можешь сыграть задом наперед?..

Тимохис кивнул.

— А зачем?.. — как бы удивился учитель.

Ученик молчал.

— Ты думаешь, все можно задом наперед? Все-все?..

Тимохис отвернулся. Николай Янович вздохнул. Но не сдался.

— Ну, ладно. Понимаешь, музыка как стихи. И то и другое — написано людьми и для людей. Все мы живем от начала к концу. И только так, в этом всеобщем направлении мы можем слышать, понимать и музыку, и поэзию, и друг друга… Порядок слов и порядок нот — это очень важно… Давай проверим. Ты какие-нибудь стихи знаешь? Хотя бы Лермонтова?.. Или другого автора, но чтоб стихотворение, настоящее… Прочти мне.

Тимохис как-то напрягся, потом вроде бы глубоко задумался, глядя, как всегда, в окно. И все-таки повернулся к учителю, мельком глянув ему в глаза, ускользая, отворачиваясь.

— Знаю. Про город Губаху.

Ответил и сразу прочел:

Город Губаха не Синяя птица,
В небо ему не взлететь!..
К парку Гагарина сердце приварено,
Здесь нам жить и петь.

Он снова вскользь посмотрел на Гуса и неожиданно, впервые попытался что-то объяснить:

— Дядя Толя написал, напечатали в газете «Шахтер Губахи».

— Это единственное?.. Или он еще чего-то пишет?.. — осторожно спросил Николай Янович.

— Писал… — быстро ответил Тимохис. — Про парус… белеет парус одинокий в тумане моря голубом… Он мне много читал, но я… не запомнил. Только про город Губаху. Напечатали в черной рамке… с портретами всех, кто из Северной не поднялся. Я вырезал. В мае будет год.

От мальчика вдруг холодом пахнуло… И учитель не стал расспрашивать дальше.

В нотном отношении Тимохис оказался безграмотным вполне… Непонятно даже, учился ли он хотя бы в подготовительном классе. Зато он был настоящий «слухач». С этим явлением Гус был знаком и не удивился. В Марьиной Роще, где он родился и где они с мамой долго жили после войны, был один такой слухач, контуженый фронтовик. Услышит Первый концерт Чайковского по радио, и пожалуйста, наяривает, сидя под липой на лавочке, — играет со страстью на трофейном баяне. А где что не удалось запомнить — бурно импровизирует… Но задом наперед тот слухач не играл никогда. И так неплохо зарабатывал и был всегда под мухой. Дядька действительно любил музыку…

А что с Тимохисом? Учитель видел и слышал — этот мальчик еще ни разу не полюбил ни одну из пьес, которые так споро и точно разучивал. Грамоту нотную он, конечно, почти сразу освоил, буквально за неделю, чем обнадежил и утешил завуча, и по сольфеджио пошел лучше многих. А вот в хоре не пел, только вид делал, по принципу «открывает рыба рот, а не слышно, что поет»… Завуч предупредила преподавателей, что у мальчика была психологическая травма, что-то в его Губахе, на шахте Северной… Так что хоровичка к Тимохису с пением не вязалась.

И Николай Янович с «любовью к музыке» к мальчику не вязался. Но ждал. Зачем-то же были даны Тимохису такие руки, такой слух и такая музыкальная память. Что же до любви… Ну,

бывает, что бодливой корове бог рог не дает. А бывает, что рогато есть, а корова не бодливая… Так учитель думал поначалу, пока не услышал стихотворение про город Губаху, который не Синяя птица… Сейчас, апрельским серым днем идя на работу, он пытался припомнить, когда же из уст Тимохиса прозвучало про парк Гагарина?.. И неожиданно догадался, что сердце было приварено к парку не только у дяди Толи, но и у маленького Тимохиса… Гус хлопнул себя по лбу: перед экзаменами за первое полугодие! Вот, все-таки вспомнил — когда… И привычная мысль промелькнула: быстро время бежит… Даже и не мысль, просто вздох вырвался.

Ударил колокол.

И совсем не громко, просто гулко. Гус остановился. Увидел: слева желтеет большая церковь, в ней когда-то венчался Пушкин… Огромный негромкий звук осязаемо отдался во всем старом теле учителя, особенно в ноющем колене, но и в сердце, и в голове. Звук совсем замер, когда снова ударил колокол. «Страстная пятница?» — сам у себя спросил Гус и не смог ответить.

Он знал, что его, с молчаливого согласия партийной матери, крестила няня. Няня и рассказала, когда Николенька уже вырос. В шестидесятые на книжном развале купил Евангелие, иногда его перечитывал. Изумительно короткая и притом огромная книга… А в церкви Гус и не бывал почти.

Колокол ударил в третий раз. В Средние века считалось, что колокольный звон препятствует распространению эпидемий чумы и холеры… — вспомнил Николай Янович. И тут же сказал вслух:

— Верю!

Он посмотрел на часы. И с удивлением обнаружил, что до начала занятий оставалось полчаса, а школа-то оказалась совсем уж рукой подать, можно было совершенно не спешить.

Да ведь он же и так не спешил…

«Как же это?!. — вдруг взволновался Гус. — Совсем я умом еду…»

На светофоре замигал зеленый человечек, но Николай Янович через улицу не пошел, остался стоять. «Что же это? — с глубоким недоумением снова спросил себя он. — Как же случилось, что образовалось „лишнее время“? Когда?..»

Его ноги лучше его самого знали путь и время до школы. Они никогда не ошибались и всегда приводили учителя за пять минут до начала занятий. Он посмотрел на свои ноги. Николай Янович не помнил, чистил ли башмаки сегодня, и убедился, что чистил…

И вдруг, неизвестно почему, но с огромным облегчением догадался: время отмоталось задом наперед — в точности, как «Танец маленьких лебедей» у Тимохиса!..

Он покраснел от волнения — и глаза его стали сизыми, грозовыми.

Вот это — да! Вот это прозрение…

Дело было вот еще в чем.

Вирус Тимохиса в школе все-таки кое-кого затронул. Самого Гуса Николая Яновича. Все зимние месяцы именно Николай Янович Гус, он один из всей школы, как дурак, по вечерам у себя дома пытался задом наперед сыграть хоть какое-нибудь произведение из тех, что прочнее прочного сидели в его памяти, в его узловатых пальцах. Но пальцы, как он ни бился, не могли играть ноты в обратном направлении, просто — не желали! Видимо, они вот уже больше полувека играли не ноты с листа, а — музыку. Как и тот контуженый слухач из послевоенного детства, и он ведь играл не по нотам, которых не знал вовсе, — по музыке… А Тимохис из Губахи? Он, значит, играл и играет только — ноты? Да ведь он же их тоже не знал… Стало быть, по-своему — знал. Пальцы знали, кисти рук знали: каждая клавиша — нота.

Но к самому Тимохису из Губахи прекрасные его руки словно и отношения не имели. Как какому-то механическому пианино, им было все равно в каком направлении играть, что туда, что обратно… Как ногам Гуса — что на работу идти, что домой… «Но все-таки, — продолжал рассуждать потрясенный Гус, — вот я же знаю, зачем иду в школу! Мне все же туда хочется идти. В школе ученики, я помню их уши и пальцы, они — мои ученики!..» Гус оглядел пустую дорогу и перешел наконец на другую сторону на красный свет светофора. Перешел и снова остановился, чтобы вспомнить о том, зачем он после работы хочет домой. А затем, что дома был его собственный старенький и любимый рояль, был кофе — сколько хочешь и любой крепости, коньячок, кое-какая закуска… Книги. Свои, живее живого, воспоминания. И огромный зоопарк под окном…

Вот что случилось: Гус понял Тимохиса из Губахи. У Славы Тимохиса своим было только прошлое. И оно оборвалось, сломалось, исчезло в один страшный миг. Тимохис хотел — туда. ЗА этот миг. Туда, где дядя Толя писал стишки и работал на Северной, и папа с мамой работали там же, ругались-мирились, дарили подарки, отчитывали за двойки-тройки, гордились его музыкальными успехами… просто — жили. ЖИЛИ. И все друзья-товарищи, и расстроенное фортепьяно, и кличка Мацарт, и вся Губаха, и парк Гагарина были свои. А смерти — не было. Вообще никакой смерти.

Руки Тимохиса, отматывая от конца к началу музыку, пытались отмотать время, туда — ЗА смерть, ЗА разлуку, к ЖИЗНИ.

А сам Гус?.. Он не просто так подхватил вирус Тимохиса, каждый день пытаясь хоть что-нибудь да сыграть вспять, к рождению, к НАЧАЛУ, а не к концу… Он бился над этой нелепостью, как давно ни над чем не бился. Ему чудилась в ней не просто «ловкость рук», а — тайна. Как в «Пиковой даме» Пушкина. В совершенно неузнаваемой, зеркальной музыке как будто тайна времени скрывалась… и тайна старости. Немного отмотать времени… Как после войны отматывали электросчетчик…

Снова ударил колокол. Все на той же ноте, с которой начинается траурный марш Шопена. «Конечно, Страстная пятница… день, когда Бог умер, и время остановилось…» — подумал Гус и поспешил к школе.

В этот день у Тимохиса не было занятия по фортепиано, был хор и сольфеджио. Гус, идя на перемене по коридору, встретил его и остановил:

— Тимохис, после хора зайди ко мне на минуту.

Мальчик пришел. И снова смуглая пятиклассница сидела за дальним роялем, а Тимохис почти так же смотрел в окно, как полгода назад. Гусу показалось, что время не то чтобы пошло вспять, но совершило магический круг… И это придало ему уверенности.

Окно на этот раз было открыто — к вечеру с небес брызнуло солнце, а в школе продолжали вовсю топить и, чего уж Николай Янович не мог терпеть, — стояла духота. Он внимательно посмотрел на Тимохиса. Тот подрос, из рукавов синего школьного пиджака торчали уже не только кисти рук, но и тощие запястья.

— Вот что, Тимохис, я дам тебе одну пьесу выучить, вне программы. Ее только в конце третьего класса ученики обычно разучивают. Это Иоганн Себастьян Бах. Называется «Сарабанда». Слышал о Бахе?

— Слышал, — ответил Тимохис. — Бах в переводе с немецкого значит «Ручей».

— Вот-вот. Ручей, — подтвердил Гус. — Выучи «Сарабанду», когда сможешь. Думаю, тебе особого труда не составит… Вещь, в сущности, несложная. Танец.

— Танец? — Тимохис не ждал, брови его поднялись.

— Старинный испанский танец, сначала народный, потом во

дворцах всей Европы стали его танцевать… А Бах на его основе создал… — Гус стремительно сел за рояль. — Вот послушай.

Николай Янович сыграл «Сарабанду» почти до конца, остановился на полуфразе.

— Чувствуешь? Не просто танец, а как будто негромкий разговор между двумя людьми идет, и все вроде бы по кругу, по кругу, и так легко… но про что-то очень важное. Самое важное… Тема повторяется, но как бы вдруг подпрыгнет чуть-чуть и слегка изменится… Послушай…

Гус доиграл до конца.

Тимохис, как показалось Николаю Яновичу, слушал внимательно. И на руки учителя, пока тот играл, смотрел внимательно. Но потом снова повернулся к окну. Николай Янович расстроился.

— Что ты там разглядываешь? — спросил он ученика.

— Пальму.

Гус и смуглая девочка посмотрели туда, куда смотрел Тимохис.

В доме напротив на не застекленном балконе третьего этажа стояла пальма в кадке. В луче закатного солнца она выглядела роскошно: отросшие старые листья блестели, а из макушки нахально торчал пучок совсем свежих побегов, едва начавших раскрываться, как крохотные веера.

— Я ее помню, — неожиданно подняла голос смуглая девочка. — Осенью она тут стояла, совсем облезлая. Я потом думала, ее выбросили.

— Нет, — нахмурившись, сказал Тимохис, он, казалось, был недоволен. — Не выбросили. А за зиму в тепле она вон как очухалась. Хоть бы че.

— Странно, — сказала девочка. — Ты как будто не рад. Радоваться надо.

— Дура! — крикнул Тимохис. Он схватил ноты с «Сарабандой», подбежал к окну и вспрыгнул на низкий подоконник полуоткрытого окна.

— Дура! — крикнул он снова. — Че ты в этом понимаешь!

И выпрыгнул в окно.

Этаж был цокольный, до асфальта метра два или чуть меньше. Старшеклассники, экономя время и просто из озорства таким образом иногда выходили из школы. Гус это отлично знал. Но тихий, замкнутый второклассник? И при учителе… Это был бунт!..

Но бунт — не всегда безобразие. Нет, Николай Янович не был уж очень взволнован. Однако, сидя перед роялем на вращающемся табурете, он почувствовал, что лучше ему не

вставать. Ноги стали внезапно ватными. Он осторожно повернулся к девочке и сказал:

— Ничего-ничего, милая. С мальчиками это бывает… А у этого мальчика около года назад случилось горе. Ничего, это пройдет. Ступай, милая, на сегодня все.

В этот вечер он с трудом добрался до дому, где выпил коньяку чуть больше обычного и рано уснул.

Наутро он проснулся совершенно выспавшийся и бодрый. Может быть, потому, что ему приснилась мать. Ему приснилось, что она в раю и вся светится. Собственно, она не очень-то и была похожа на его маму, партийного работника среднего звена. Но во сне он точно знал, что это — она.

Она ему что-то сказала, что-то важное и неожиданно просто, по-человечески. При жизни за нею это редко водилось, только когда он болел. «Может, я болен?» — спросил у себя Николай Янович. И сам же ответил: «Конечно, болен. Болезнь называется старость». За окном обычной своей утренней жизнью жил зоопарк. Дворник поливал водой из шланга асфальт, смотрители зоопарка расходились по вольерам, перекликаясь между собой и разговаривая с питомцами, слышно было, как хищники, кто с нежным, кто со свирепым урчанием получали мясо, где-то в закрытом помещении трубил слон… День начинался ветреный, ветер рвал облака, и сквозь них пробивались косые лучи апрельского солнца. «Надо будет сходить в церковь», — неожиданно сказал себе Гус. На завтрак он сварил себе овсянки, выпил большую кружку кофе… затем достал из холодильника три яйца, отварил их вкрутую, остудил холодной водой. Затем покрасил их тремя ходовыми своими фламастерами — в красный, синий и зеленый цвета. Покрасил неровной, дырявой штриховкой и сказал себе: «Бог простит!»

И сел за рояль. Когда начал стареть, он положил себе за правило каждым утром проигрывать часть своего старинного репертуара. Сегодня у него было утро Шопена.

Настало время идти в школу. На этот раз он дошел спокойно, не останавливаясь, не разговаривая сам с собой. И день прошел как день, ученики в меру торопились, в меру врали, в меру теряли темп, и, в общем, все старались. Последнее занятие было с Тимохисом. Он пришел хмурый и спокойный, можно сказать, деловитый. Ни ученик, ни учитель о вчерашнем не вспоминали.

— Ну, с чего начнем? — спросил Гус. — С Черни?.. Или с Кобалевского?

— С Баха… — сказал Тимохис.

— Подготовил? Не торопишься?.. — учитель посмотрел на него внимательно. — Значит — «Сарабанда». Давай.

Тимохис, как обычно, небрежно и бочком сел к роялю, открыл крышку и хотел сразу начать, но Гус хлопнул его по спине и строго скомандовал:

— А ну-ка сядь, как я тебя учил! Расправь плечи, дыши свободно. Так… Никуда не спеши. Это танец неспешный, и — главное — разговор, разговор неспешный, понимаешь?.. О жизни и смерти. Вот так. Ну, начинай.

И учитель с учеником погрузились в Баха.

Тимохис за один вечер отлично запомнил ноты, но на этот раз расслышал, похоже, еще что-то. Его длинные, крепкие, точные пальцы играли еще не музыку, но разговор. Бессловесный, бесконечно честный, как это всегда было у Иоганна Себастьяна Баха. Разговор с Богом. Тимохису из Губахи было что сказать Богу, и если раньше он не знал — как, то сейчас, вместе с Бахом, у него начало получаться. У него спрашивали и он отвечал, он спрашивал и ему отвечали. Нет-нет, до музыки было еще далеко, слишком много личного, слишком горьки обида, горе, разлука, безвыходность, окончательность смерти. Но жизнь и любовь уже поджидали, уже давали надежду бессмертной душе. Гус с учеником повторяли отдельные пассажи, учитель сердился:

— Не на ксилофоне играешь, не брякай… Забудь ты ноты, ты их уже знаешь! Музыку слушай!.. Вот здесь вот, тебя спросили — отвечай. Только не ври!

Николай Янович отодвигал руки Тимохиса и сам показывал — как спросили и где начался ответ. И Тимохис его начинал понимать, и они двигались дальше.

Оба были если уж и не счастливы, то заняты бесконечно. И Тимохис заглядывал, заглядывал в глаза учителя, и получал ответ.

В этот вечер в этом мире у него появился его собственный, свой учитель.

Они засиделись допоздна, когда школа почти опустела. Вышли вместе, дошли до церкви, у которой накануне Гус понял Тимохиса из Губахи. В этот вечерний час резко похолодало.

— Давай-ка зайдем, — сказал Гус ученику. — Я сегодня мать во сне видел, что она в раю… Ты в церкви на Пасху бывал?

— Нет, — ответил Тимохис. — Был только, когда сестренку крестили… Она сейчас в детском доме.

— Ну, пойдем.

И они вошли. В просторной, гулкой, высокой церкви было темно, только лампады светились, и народ еще только начал собираться. Молодой священник читал из Евангелия о Крестном пути, о снятии с креста, о положении во гроб, и Гус почувствовал, что мальчик напрягся. Но потом расслабился и как будто

заскучал. Не все было понятно в словах, произносимых под гулким куполом на почти что родном, но загадочном, странном языке, только изредка понятном вполне. Но в этом звучном умалчивании, в этих пропусках понимания, была тайна, и тайна была важна, она содержала, казалось, больше, чем смысл… Но мальчик устал.

— Пойдем, присядем, — позвал Гус.

Они нашли свободную лавочку, и время вдруг побежало незаметно. Николай Янович, как мог, рассказывал Славе Тимохису из Губахи Евангелие, а Слава слушал, слушал и клевал носом, Гус останавливался, но Слава просил рассказывать дальше, и Гус рассказал про Иудов поцелуй, про Пилата, и про двух апостолов, заснувших в Гефсиманском саду, хотя он просил их не спать, и про Петра, трижды отрекшегося от Христа, и как Иисус нес свой крест и был распят и умер. И как воскрес, и даже верующие в него не все и не сразу поверили в его воскресение, и про Фому неверующего, как он убедился и поверил… Церковь между тем полнилась людьми, многие шли с детьми. Николай Янович спохватился и пошел покупать свечи, Слава потянулся за ним, свечи они зажгли и поставили у Распятия — в память всех, кто погиб на Северной шахте, и в память матери, приснившейся накануне Гусу. В центре, под куполом стали собираться священнослужители с хоругвями, вокруг началось брожение, вокруг затеплились свечи, и вдруг все тронулись в полумраке, пошли за хоругвями к выходу. Раздался громкий возглас:

— Господу нашему помоооолимсяааа!

И во всей процессии с огоньками свечек вначале вразнобой, потом все стройнее люди запели короткий стих, слов которого не знал ни учитель, ни ученик, но Гус с изумлением услышал, как Слава стал без слов, подпевать. «Будет петь!» — подумал Николай Янович и перекрестился, сам не зная почему.

Они шли вместе со всеми вкруг церкви, свечи на холодном ветру гасли, но люди передавали друг другу огонь, так что свет в крестном ходе ходил ходуном, но не прекращался, и от этого становилось весело… А в опустевшей темной церкви что-то вдруг произошло, какое-то огромное счастье, и там грянул хор певчих, и начал разгораться свет, радость прошла по тем, что шли в темной холодной ночи вкруг храма, и все запели громче: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав…

Бойкий, радостный перезвон колоколов грянул, а когда Гус с мальчиком подошли к крыльцу, там уже стоял огромный диакон в золотой рясе и возглашал гудящим басом:

— Христос воскресе!

А народ радостно отвечал. Гус услышал, как вместе со всеми громко кричит его ученик:

— Воистину воскресе!

И щедрые потоки святой воды, распадаясь на сверкающие капли, разлетались с как бы малярной кисти пономаря. И радость обретенного бессмертия переполняла всех, каждого…

После крестного хода Гус с Тимохисом в церковь не пошли. Мальчик еле на ногах держался.

— Ты с утра ел что-нибудь?

— Нет, — ответил Тимохис.

Николай Янович вызвал такси, оно пришло через пять минут. По дороге к интернату Гус вспомнил о крашеных яйцах в своем портфеле. Они облупили и съели по яйцу, Тимохису досталось красное, Гусу — синее. А третье, зеленое, они отдали таксисту-киргизу…

— Спасибо, — сказал киргиз и положил яичко в нагрудный карман.

А засыпающий Слава Тимохис неожиданно сказал:

— «Спасибо» значит «спаси Бог». Так бабушка говорила.

notes

Примечания

1

Имеется в виду фраза героини Фаины Раневской: «Иринушка, я возьму с собой „Идиота“, чтобы не скучать в троллейбусе».

2

С 1936 по 1955 год в СССР действовал запрет на аборты.

3

Из стихотворения Александра Межирова.

4

Джадо — порча.

5

Так Берт Тодд называл Е. А. Евтушенко.

л/п — лагерное подразделение.

п/я — почтовый ящик.

8

С 1937 г. аборты в СССР были запрещены.

9

Курдонер — парадный двор дворца, усадебного дома, особняка, образуемый основным корпусом и боковыми флигелями.

10

Роман Александра Григоренко «Ильгет».

11

Скорее всего, речь идет о перфекционистах, людях, убежденных, что несовершенный результат работы не имеет права на существование.